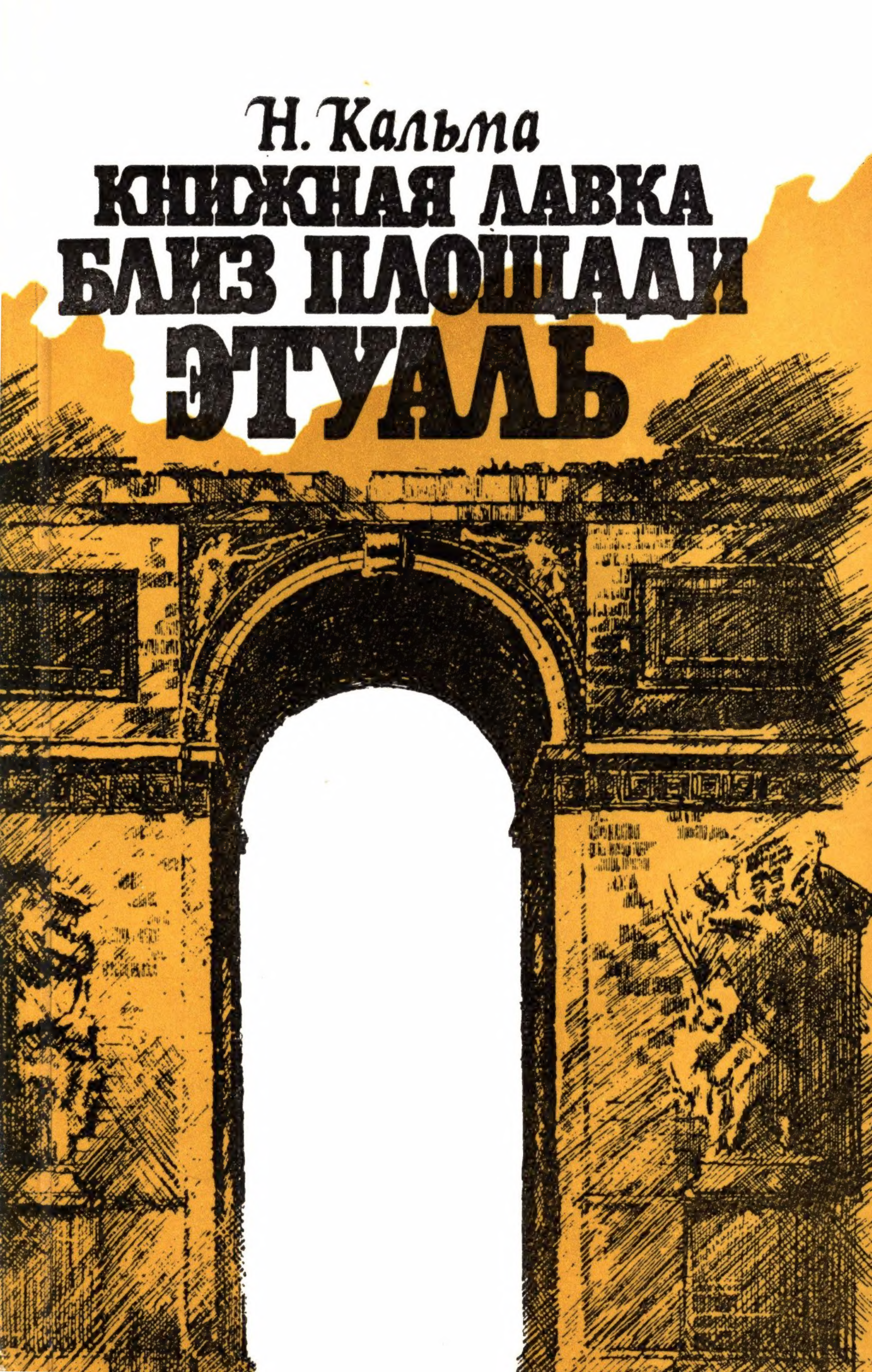
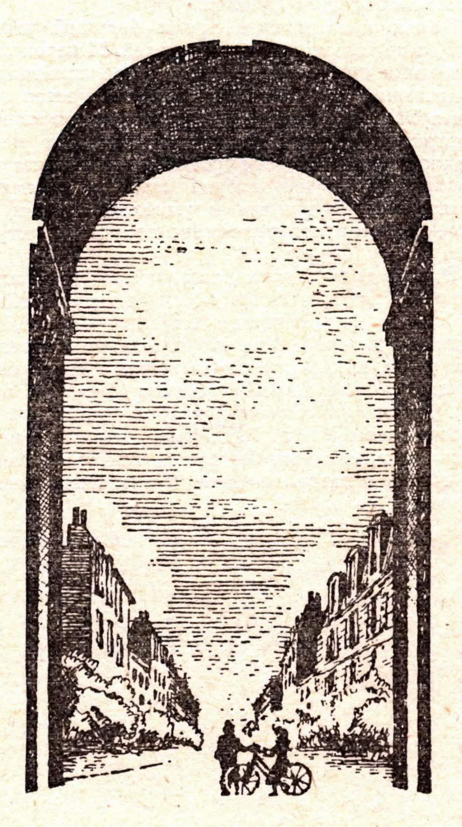

Н. Кальма
КНИЖНАЯ ЛАВКА
БЛИЗ ПЛОЩАДИ
ЭТУАЛЬ

Н. Кальма

КНИЖНАЯ ЛАВКА БЛИЗ ПЛОЩАДИ ЭТУАЛЬ

РОМАН



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1985

Р2
К17

О КНИГЕ

Роман Н. Кальмы «Книжная лавка близ площади Этуаль» — одно из очень немногих и, несомненно, лучшее произведение советской литературы для детей на тему французского Сопротивления в годы второй мировой войны, об участии советских людей, волей судьбы оказавшихся за пределами Родины, в рядах французских борцов с гитлеровскими оккупантами, о боевой дружбе и братской солидарности представителей двух великих народов, равно ненавидящих фашизм.

Роман имел в свое время большой успех у юных (и не только юных) читателей. И переиздание его в наши дни, когда во всем мире капитализма, не исключая и Франции, активизируются силы милитаризма и антикоммунизма, когда сторонникам нагнетания вражды, ненависти, страха и международной напряженности противостоит нарастающая солидарность людей доброй воли в стремлении отстоять мир, сохранить и умножить плоды разрядки, представляется особенно важным и актуальным.

В этом году страна наша отметит сорокалетие великой победы над гитлеровским фашизмом. «Книжная лавка близ площади Этуаль» — яркое, волнующее напоминание новым поколениям советских ребят о том, какую страшную участь готовил нашей стране, народам Европы фашизм и какой ценой была достигнута победа, какими усилиями она завоевывалась. Роман Н. Кальмы ценен и в познавательном отношении. Он важен как книга, вносящая вклад в патриотическое и интернациональное воспитание молодежи.

Игорь Мотяшов

Художник **Л. И. Волчек**

К $\frac{4803010102-256}{М-105(03)85}$ КБ—46—38—1984

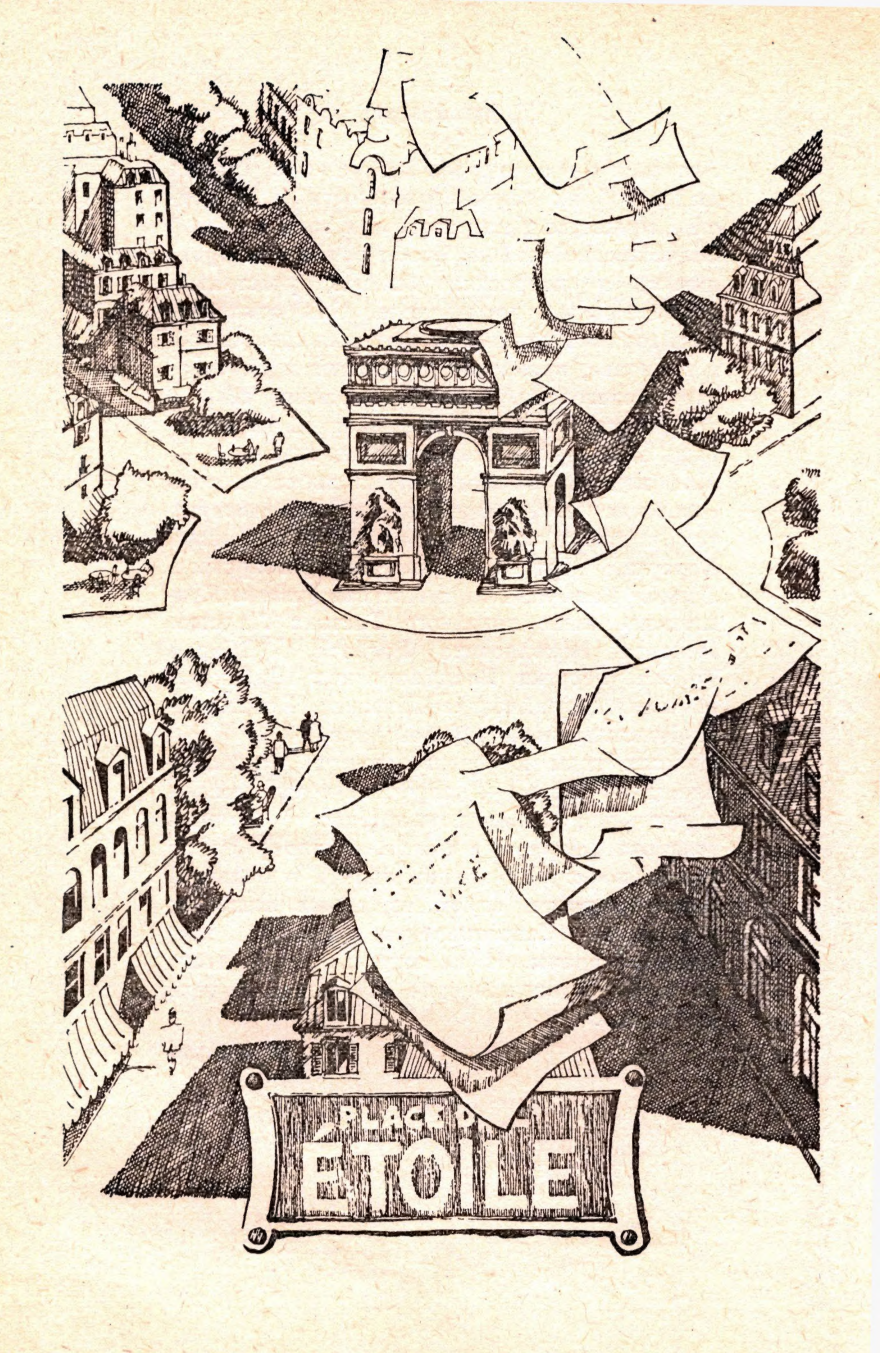
Дорогой друг!

Эта книга — о судьбах молодых и старых людей, об их самоотверженности, благородстве, мужестве и патриотизме в годы Великой Отечественной войны. Чтобы роман был правдивым, я попросила бывших участников Сопротивления помочь мне. Они откликнулись горячо и охотно. Вспоминали свою жизнь в подполье, приносили документы и фотографии, советовали, поправляли меня, если я ошибалась. Некоторых из этих людей ты встретишь здесь — они стали героями книги.

Мне хочется от всей души поблагодарить советских и французских друзей, которые так помогли мне: Вадима Александровича Барсука, Матвея Яковлевича Боярского, Базиля Кальфа, Игоря Александровича Кривошеина, ныне покойного Гастона Лароша, Николая Николаевича Роллера, Шарля Тийона, Георгия Владимировича Шибанова, Михаила Михайловича Штранге, Константина Константиновича Хазановича.

Прошли годы и теперь площадь Этуаль — площадь Звезды — получила новое имя — «Этуаль де Голль» в честь президента Франции генерала Шарля де Голля. Давно умер де Голль, но страна хранит память о большом своем патриоте, одном из самых активных участников Сопротивления, дважды президенте страны. И на металлической доске на стене Арки написано «Площадь Этуаль де Голль».

Н. Кальма


PLACE D
ÉTOILE

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ГЕРОЯМИ

Николь Лавинь

— Но послушай, Николь, нельзя же так! Надо быть более гибкой.

— Нет.

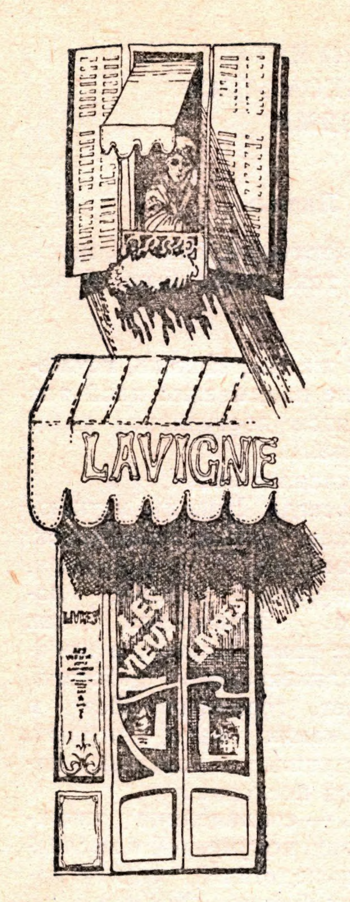
— Как же так, Николь, неужели ты не понимаешь: иной раз приходится поступиться даже принципами.

— Я сказала: нет!

И так всегда. Николь, неуклюжий, как цапля, подросток. Длинноногая, глазастая, непримирима, упряма, порывиста. Взрывается, как мина не замедленного, а самого молниеносного действия, нападает, горячится. Зато и друг, каких мало,— верный, великодушный, готовый поделиться последним.

Николь — совладелица книжной лавки, полученной в наследство от родителей, мелких парижских буржуа. Она стесняется этой «специальности», да что поделаешь: еще не успела она окончить школу, как разразилась война. Умерли родители, и пришлось ей вдвоем с сестрой взять на себя торговлю в лавке. Специальность лавки — старинные книги. И вскоре Николь стала разбираться в древних изданиях ничуть не хуже своего старого друга и клиента — профессора Одрана.





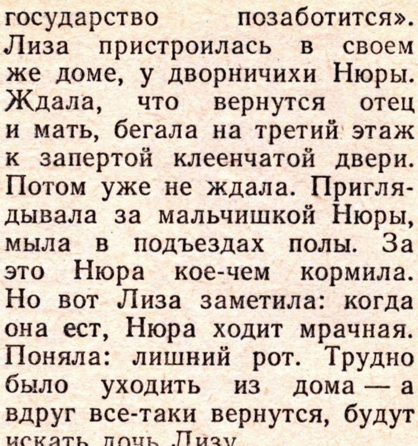
Жермен Лавинь

Полная противоположность младшей сестре. Мягкая, ласковая в обращении, точно кошечка. Коготки? Да, конечно, и преострые, но глубоко скрытые в бархатных лапках. Вообще глубоко скрытые возможности. Никто даже не подозревает, что таит в себе эта кошечка. Робость, боязливость, жеманные ужимки — это до времени. А настанет минута, и Жермен может стать боевым командиром или хозяйкой конспиративной явки, да мало ли кем может стать, если понадобится, эта хрупкая, бледная до прозрачности девушка, кутающаяся в вязаную накидку, которую носила всю жизнь ее мать.

Лиза Каразина

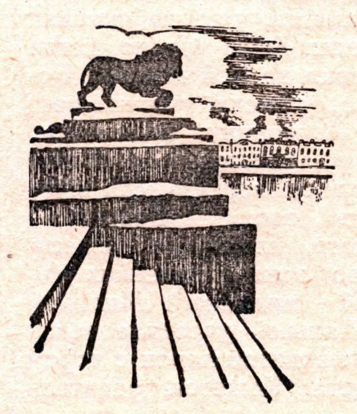
В год, когда начинается книга, ей пятнадцать лет. Родилась в Ленинграде, у Новой Голландии. Сама о себе говорит, что в жизни у нее никаких встреч, одни разлуки. В 1937 году родители, отец — журналист и мать — хирург, по ложному доносу были арестованы. Лизу наспех сунули в детдом. Оттуда она сбежала. Родных — одна тетка по отцу. Тетка зажмурилась, замахала руками: «Не могу, не могу, деточка, у самой семья. И почем я знаю, чем провинились твои родители? А о тебе государство,





государство позаботится». Лиза пристроилась в своем же доме, у дворничихи Нюры. Ждала, что вернутся отец и мать, бегала на третий этаж к запертой клеенчатой двери. Потом уже не ждала. Приглядывала за мальчишкой Нюры, мыла в подъездах полы. За это Нюра кое-чем кормила. Но вот Лиза заметила: когда она ест, Нюра ходит мрачная. Поняла: лишний рот. Трудно было уходить из дома — а вдруг все-таки вернутся, будут искать дочь Лизу...

Ушла. Скиталась по рынкам, по столовым. Давали где ложку творогу, где хлеба, где супцу. А тут холода. Спряталась в подъезде большого учреждения, дождалась, чтоб все ушли, пригрелась у батареи, заснула. Здесь и нашел ее швейцар Евстрат Трофимыч — слава ему во веки веков. Так он шептал, молясь по вечерам в своей комнатенке, пока Лиза укладывалась на деревянном диванчике. А кому слава? Богу? Наверное, богу, кому же еще!

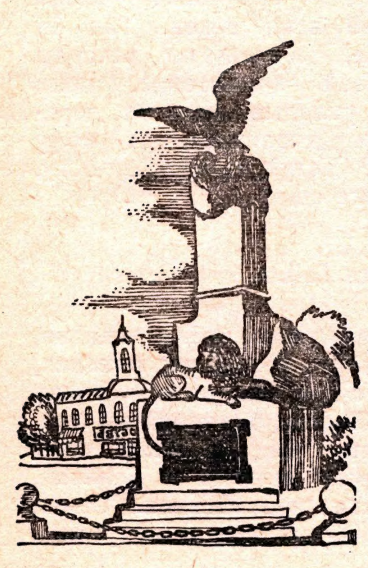


Даниил Гайда

У этого все чисто, гладко, счастливо. И разлук никаких, до того дня, как ушел на войну отец. Легкое, без теней детство. Рыбалки на Ворскле, игры у старых мельниц в Беликах, выдумки про Остапа. Семья спаянная, умная, с полуслова



понимающая друг друга. Едва померещились в Даньке эгоизм, ячество, родители тотчас Даньку окоротили, да не грубой педагогикой, а исподволь, незаметно. Сергей Данилович сумел очень рано приохотить сына к своему предмету — истории, к книгам. Мать, художница-самоучка, водила Даню с собой на этюды, показывала ему закаты над степью, легкое свечение весенней зари, рябь на сизой воде — тыкала, как слепого щенка носом в молоко, в прекрасное. Неведомо, как и почему вырос этакий принц Гамлет — мечтатель и правдолюбец, бесстрашный защитник обиженных, воитель с любой человеческой низостью. «Ох, как трудно ему будем в жизни!» — шептала мама-Дуся. Сергей Данилович усмехался: «Да, нелегко. Но пусть лучше будет такой, чем и нашим и вашим». И правда, Даньке было трудно, когда его за обличительную речь против учителя, склочника и подхалима, чуть не выгнали из школы. Было трудно, когда он вызвал на бой верзилу Коротенко, хамски унижавшего Лелю Воеводину, колченогую девочку из шестого «Б». А еще вздумал он вернуть «на путь истины» ворюгу Костьку — взрослого, плешивого, известного во всех отделениях городской милиции. Милиция и за Данькой учредила тогда надзор: водится пацан с вором неспроста. Кажется, родители





в те поры немного струхнули, но Даня прямо объявил им, что Костька уже стал «человечнее» и что он надеется на успех. Потом Костька исчез из города — может, ему надоел этот парнишка с задумчивыми, вопрошающими глазами, а может, и впрямь решился он навсегда завязать. А Данька... О нем, о том, каким он стал, будет сказано в этой книге.

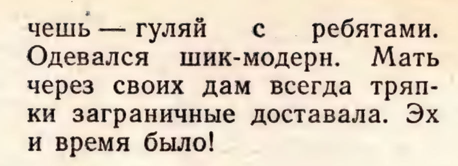
Павел Воронин



Сам он зовет себя Полем. У них в дамских парикмахерских все старые мастера от веку под французов работали. Кто Пьер, кто Леон, а зав, Назар Семеныч Лукин, так вовсе в Макса перекрестился. Так и величают: мсье да мсье Макс. Сначала одни дамы-клиентки, а потом и остальные мастера так стали звать.

А перед войной «Поль» Воронин, простой парикмахерский ученик, научился делать перманент — особенный, крупный, с ондуляцией. К нему даже из-под Москвы клиентки ездили. Бывало, заискивают: «Уж вы, мсье Поль, сделайте мне, как у киноартистки Лаврентьевой. Я слышала, это вы ей делали». Ну, конечно, благодарность соответственно. Да и мать Поля, маникюрша, тоже неплохо подрабатывала. Полдня свободен, делай, чего душа просит: хочешь — в кино, хо-

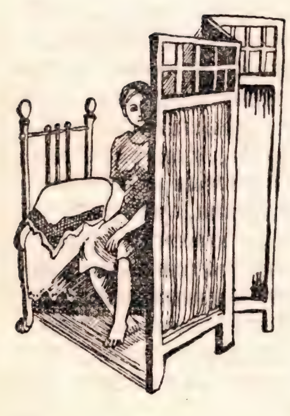




чешь — гуляй с ребятами. Одевался шик-модерн. Мать через своих дам всегда тряпки заграничные доставала. Эх и время было!

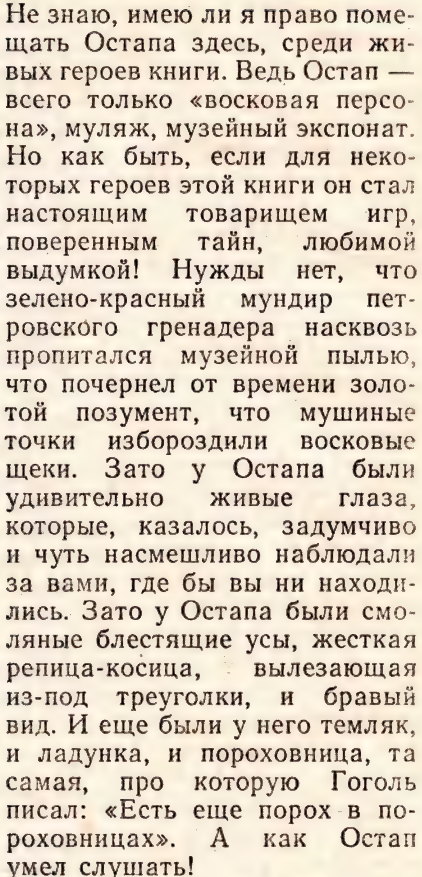
Николай Валашников

Серое недоброе лицо, глаза проваленные, в темных подглазьях. Смотрит исподлобья. Взглядом выковыривает из того, на кого смотрит, все, до самого дна. Кажется, дворянин по происхождению, даже из какого-то особо древнего рода. Живет с матерью — суетливой неумной старушкой, старшей сестрой — заводской работницей и младшей — юродивой красавицей с болезненным румянцем на иконописном лице. От юродивой прячут часы, потому что, услышав тиканье или звон часов, она начинает биться в припадке, кричит неистово: «Боюсь, боюсь!» — и отмахивается, отталкивает всех с нечеловеческой силой, рвется куда-то бежать, потом падает в глубоком обмороке. Откуда этот ужас, никто не знает, хоть и лечили ее самые лучшие врачи. Впрочем, что же это все о Колиной семье? А о нем когда же? О его нелюдимости, о том, что за сутки он цедит всего несколько слов, а иногда замолкает на целые недели, о его большой тайной жизни? Нет, это все после, в книге.





Остап



Не знаю, имею ли я право помещать Остапа здесь, среди живых героев книги. Ведь Остап — всего только «восковая персона», муляж, музейный экспонат. Но как быть, если для некоторых героев этой книги он стал настоящим товарищем игр, поверенным тайн, любимой выдумкой! Нужды нет, что зелено-красный мундир петровского гренадера насквозь пропитался музейной пылью, что почернел от времени золотой позумент, что мушиные точки избороздили восковые щеки. Зато у Остапа были удивительно живые глаза, которые, казалось, задумчиво и чуть насмешливо наблюдали за вами, где бы вы ни находились. Зато у Остапа были смоляные блестящие усы, жесткая репица-косица, вылезающая из-под треуголки, и бравый вид. И еще были у него темляк, и ладунка, и пороховница, та самая, про которую Гоголь писал: «Есть еще порох в пороховницах». А как Остап умел слушать!



Бывало, заберешься к полудню, после уроков первой смены, в музей. Ни души, если под душами разуметь посетителей. Дремлет на стуле у дверей древний сторож, и только мухи носятся в горячем солнечном столбе. Вот тогда-то можно подобраться к Остапу, потрогать его, ощутить пальцами грубую шерсть солдатского

мундира, вдохнуть запах нагретой солнцем материи. И почему-то этот запах, и тишина, и ощущение одиночества, иногда вовсе не мучительного, а, наоборот, счастливого, располагали к откровенности. Выложить шепотом Остапу все маленькие и большие радости или обиды, о чем-то спросить. Да-да, можно было и спрашивать, и, даю слово, Остап отвечал. Конечно, по-своему, по-остаповски: смотрел одобрительно коричневым стеклянным глазом, или, наоборот, осуждающе и холодно, или с явной насмешкой. Скажете, фантазия?

Ну, если не верите, попробуйте сами заглянуть в эти честные, совсем живые глаза. Спросите о чем-нибудь «восковую персону». Но помните: спрашивать надо не о пустяках каких-нибудь и только по-серьезному. Остап слушает лишь тех, кто верит в него. Им он и отвечает.

Саша

Мать убило у него на глазах бомбой на дороге под Харьковом.

Отца своего не помнит. Фамилию не помнит. Где жили до войны, не помнит. Помнит только хату и что в хате было тепло, а на дворе страх как холодно. Еще помнит в хате печь и на лежанке — рядно. Когда мамку убило, его взяли за руку и повели за собой какие-то женщины, но и они потом куда-то пропа-



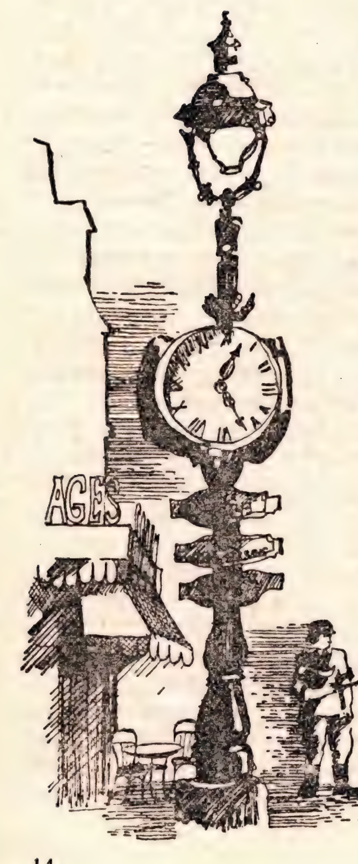
ли. Самолеты все летали, шумели, стреляли по людям, а он все шел. От страха и голода у него отшибло и память и речь, а потом, как поел да отогрелся, оклемался немножко. И совсем оказался смышленый, шустрый такой парнишечка. Даже не по своим десяти годам.

Жан-Пьер Келлер



До чего же здоровенный детина этот приказчик из деревенской лавки под Парижем! Его все знают в Виль-дю-Буа, все водопроводчики, садовники, шоферы — клиенты Келлера. В его лавке можно купить все на свете — от опрыскивателя до швейной иголки. Сам Жан-Пьер — уроженец Эльзаса и говорит по-немецки, как настоящий немец. И пузатый он, как немец-пивохлёб. Но если всмотреться хорошенько в его толстое лицо с умными ироническими глазами, понимаешь, что Келлер не так прост, как это кажется с первого взгляда. И, может, у него есть основания ненавидеть немцев — он их достаточно насмотрелся, насмотрелся на их повадки еще в детстве. И то, что Жан-Пьер чуть ли не с самого начала помогал Сопротивлению, тоже закономерно. И дети у него — дочка Арлетт и сын Андре — тоже очень стоящие ребята, а про жену, Фабьен, и говорить нечего, она всегда и во всем помогает своему Жан-Пьеру.

Гюстав Азайс



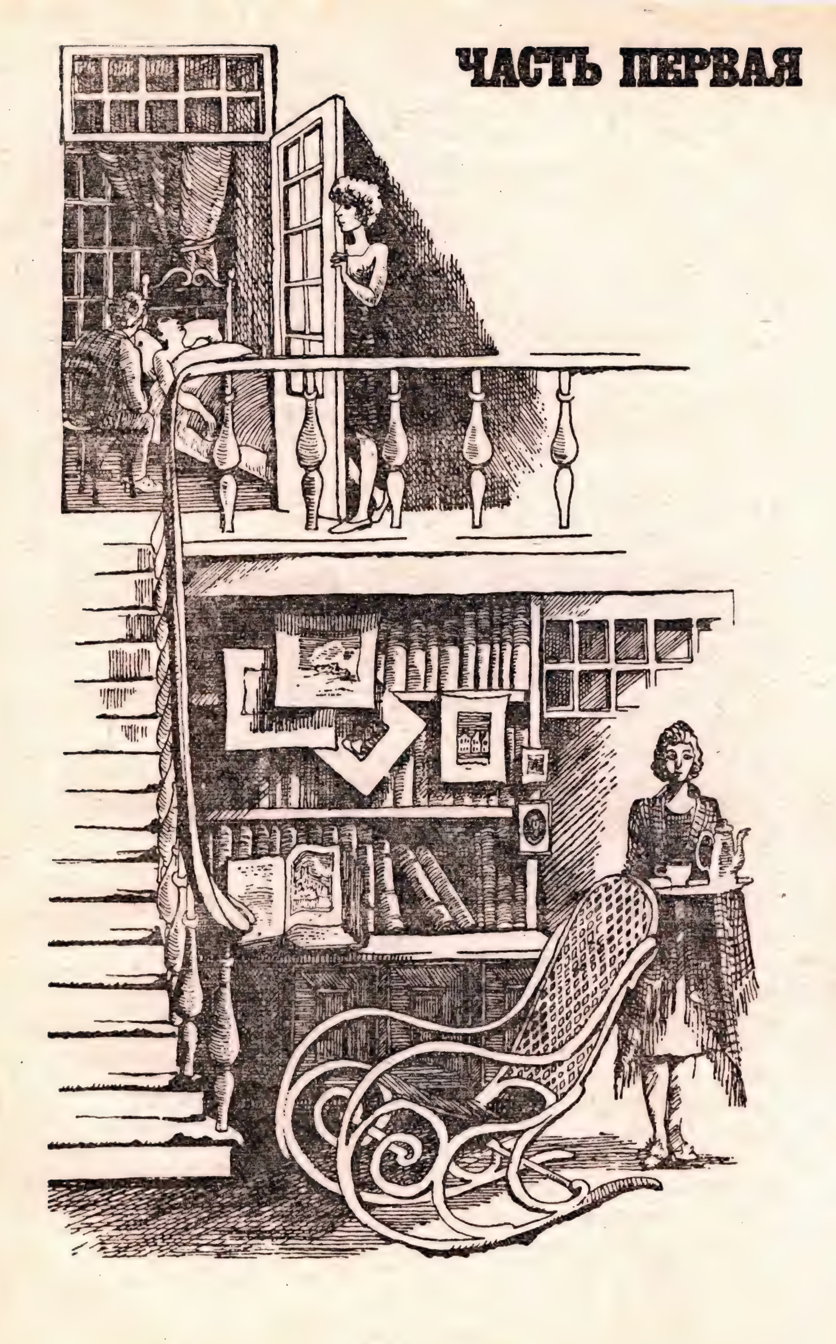
«С этим парнем нужно быть поосмотрительнее. Я в нем не совсем уверен»,— осторожно выбирая слова, говорит Гюстав. Ну а уж если Гюстав так говорит, можете быть уверены: парень наверняка проштрафится. Ох уж этот безошибочный нюх Гюстава! Ох уж эти его всевидящие глаза! И откуда такая проницательность, такое совершенное знание людей у молодого, франтоватого на вид человека, бывшего газетчика, потом рабочего на «Ситроене», а теперь руководителя парижских подпольщиков?! Нет, не зря выбрали люди Гюстава своим командиром: видно, в его натуре заложено понимание людей, обстановки, чутье правды. Где он живет, где спит, где и как питается, никто не знает. Многие считают Гюстава просто каким-то абстрактным понятием. А вот сестрам Лавинь он кажется совершенно конкретным. Гюстав часто забегает в книжную лавку близ площади Этуаль. Сыщики и полицейские, у которых есть фотографии Гюстава и приказ изловить во что бы то ни стало вождя подпольщиков, наверно, не узнали бы Гюстава в тот момент, когда он разговаривает с Жермен. Коричневые глаза Гюстава блестят и расширяются, лицо неузнаваемо хорошеет, белеют молодые ровные зубы, и Жермен кажется, что лучше этого

лица и улыбки она ничего в жизни не видела.

Гюстав ни разу не поцеловал даже руки Жермен. Да это и неважно. Про себя Жермен знает что-то, знает твердо, и это что-то делает ее счастливой, отважной, в ней все время, несмотря на войну, на голод, на топот немецких сапог на улицах, поет радостная птица. Только молчи, об этом ни слова никому! Я поручаю тебе хранить эту тайну, читатель.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



1. СЕСТРЫ ЛАВИНЬ

Выстрел.

Еще один.

Еще.

Грохот прокатился по пустынной улице, ударился о каменные стены, разбился на тысячи кусков.

Жермен вздрогнула под вязаной материнской накидкой.

— Опять! Почти каждый вечер! И они еще пытаются уверить парижан в своих лучших чувствах! Привезли прах Орленка, положили в Инвалидах рядом с Наполеоном, развели вокруг этого парадную шумиху: мы, мол, так уважаем французских патриотов... а сами...

— А сами устраивают на патриотов облавы,— беспечно отозвалась Николь.

Она уютно устроилась в старой качалке и, дрыгая, по своей скверной привычке, ногой в старой туфле, грызла бесконечный сухарь. Туфли носили дома название «Последние в жизни» или «По зубам бошам». Сухарь заглушал голод, постоянный, неутолимый голод здорового, стремительно вытягивающегося подростка.

— Удивительно: некоторые еще не до конца раскусили бошей! — Николь высоко вздернула плечи.— Знаешь, я сама слышала, как какой-то тип в булочной толковал о благородстве великой немецкой нации. А эта «великая» нация организовала всенародную слежку. Теперь у «великой» нации новый способ вылавливать подпольщиков: пускают поезда метро без остановки прямо до Зимнего велодрома, там всех высаживают и по одному процеживают сквозь контроль. Нет документов или что-то не в порядке в бумагах — тащат прямехонько в гестапо или к жандармам, а там уже разберутся. Гюстав говорил: вырваться от них почти невозможно.— Она покосилась на старшую сестру.— Трясешься? Могла бы, кажется, привыкнуть за три года.

— К такому невозможно привыкнуть,— слабо откликнулась Жермен. Она взглянула на деревянные часы с кукушкой.— Какое счастье, Николь, можно уже запирать! Ты бы не смогла...— Она искательно посмотрела на младшую.

— Запру, запру, трусиха несчастная!

Николь выбралась из качалки, и тогда оказалось,

что она очень высокая, прямо-таки долговязая, с тонкой шеей и растрепанной шапкой волос.

— Ты же знаешь, я куда лучше тебя справляюсь со шторой.

— Не забудь про засов,— напомнила старшая сестра.— И я тебя очень прошу, Николь, выгляни сначала в щелку. А то эти выстрелы...

Николь уже не слышала. Ее длинные ноги легко сбежали по ступеням вниз, к наружным дверям лавки.

Стемнело. Не было еще и восьми часов, но стоял такой мрак, что можно было ходить, только вытянув вперед руки.

Снег косо летел по ледяному скользкому асфальту, слепил глаза, колкие твердые снежинки сразу забились за воротник Николь.

Брр!.. Какой холодина! Не скажешь, что уже конец февраля. Как назло, когда трудно с топливом, стоят холодные зимы, а Жермен такой зяблик, так всегда кутается, так часто простужается! Наверно, холод идет из России... Но какие молодцы эти русские! Какая победа у Сталинграда!

Резко белели обведенные мелом углы и края тротуаров. Где-то далеко цедила свой мертвенный тревожный свет синяя лампочка. Дома стояли как слепцы — с темными повязками на глазах,— все окна плотно зашторены, ни один лучик теплого света не пробивается на эту затаившую дыхание улицу.

А когда-то здесь был один из самых оживленных кварталов Парижа. Драгоценным ожерельем играли и переливались огни реклам, а напротив, в розовом и уютном кафе мадам Корбей, до поздней ночи играла музыка. Николь, тогда еще совсем девчонка, любила засыпать под хрипловатый, будто навек прокуренный голос Люсьенн Бойэ: «Все тонет в дыму, в папиросном дыму,— жизнь, любовь, я сама — все только дым, дым, дым...»

Николь замурлыкала про себя песенку. Дым, дым... Мадам Корбей удрала к родственникам в Виши, кафе заколочено, а Люсьенн, говорят, умерла.

Прищурясь, Николь выглядывает на пустынную улицу. Мысленно она пробегает ее всю. В двух шагах отсюда — площадь Этуаль с Триумфальной аркой, от которой так хорошо видны двенадцать широких, обсаженных деревьями улиц, расходящихся правильной

звездой. У выхода из метро Этуаль толпятся тревожные и печальные тени: кого-то ждут, о чем-то думают... Там, внизу, у касс, дежурят фельджандармы, по платформам прохаживаются полицейские. Ловят, потихоньку вытаскивают наверх, отправляют в глухих, затемненных машинах. Тьма спускается на Дом Инвалидов, где лежит Наполеон со своим возвратившимся из Шенбрунна сыном, на пустынный строгий двор Лувра, на аллеи и фонтаны Тюильри. А там, дальше, бесшумно струится Сена, и баржи тихо кланяются черной воде.

Ровно в полночь город замрет (комендантский час) и последние тени растворятся в неизвестности.

Город, город, мой прекрасный, мой царственный город, какой ты неживой, какой притаившийся, как будто испуганный. Неужто это тебя зовут Парижем?!

Нет, Николь твердо знает: Париж не испугался, Париж не может испугаться налетевших из Германии жадных зеленых мух! Ночь надежно укрывает тех, кто... Тсс! Заткнись, девчонка, ты что, ополоумела?! Даже стены домов и те насторожили уши.

Нет, Николь не таковская, ничего от нее не выведаете! Ей, например, очень бы хотелось вот здесь, сейчас выкрикнуть что-нибудь забористое по адресу бошей, нарушить оцепенение улицы, но она себя пересилит.

— Николь, что ты там делаешь? — Это голос старшей сестры.— Почему ты застряла?

Николь подцепляет специальным крюком рифленую железную штору. Ну, теперь немножко поднатужиться, и жалюзи поползет вниз. Последний взгляд на витрину. Николь презрительно фыркает: интересно, кому теперь нужны эти редкие старинные книги и гравюры, которыми торговали еще отец и мать, а теперь торгуют они с Жермен? Уж не бошам ли? Впрочем, однажды зашел-таки немецкий офицер и попросил показать ему эльзевиры. Вскоре он стал наведываться все чаще и чаще, и, конечно, дело оказалось вовсе не в эльзевирах, а в Жермен. Николь с ее длинным носом учуяла это первая и сказала сестре. Жермен тогда всерьез испугалась. Ох, что это за трусиха! Недаром Николь чувствует себя старшей и покровительственно относится к сестре. На их счастье, немца куда-то перевели.

Конечно, иногда заходят и старые клиенты лавки Лавинь. Этих любителей даже война, даже оккупация не смогли отвадить от книг. Например, профессор Од-

ран. Профессор всю жизнь собирает книги по демонологии — о ведьмах и колдунах средневековья, о судах над ведунами. Всю жизнь Одран ищет клавикулы Соломона — формулы заклинаний и заговоров, «Гримуары» папы Гонория. Иногда он что-нибудь читает из этих книг Николь.

— Вот, душечка, послушай, что здесь сказано: «В Шотландии в течение семнадцатого столетия было сожжено более трех тысяч человек за колдовство. В тысяча шестьсот восемнадцатом году две женщины похитили перчатку лорда Росса и похоронили ее в земле. В заключении суда было сказано: «И, подобно тому как гнила перчатка, гнила и разрушалась печень этого лорда». Конечно, двух женщин немедленно сожгли на костре.

Николь смешны такие рассказы.

— Ваши инквизиторы, господин профессор, и в подметки не годятся эсэсовцам. Немцы давно утерли им нос. Средневековые пытки и костры — да это же пустяки в сравнении с «подвигами» гитлеровцев!

— Ты очень страшно и трезво рассуждаешь, дитя мое,— бормочет профессор.— Впрочем, ведь недаром утверждают, что устами младенцев глаголет истина.

И он закутывается в какие-то допотопные пледы, надевает на каждую руку по две-три перчатки, которые сестры успевают ему заштопать, пока он копается в книгах.

Потом отправляется к себе домой.

И все-таки Жермен и Николь каждое утро открывают лавку, подметают пол, обмахивают перьевой метелкой книги, освежают витрину и садятся ждать покупателей. «Так нужно»,— раз навсегда сказала Жермен, и это единственное, в чем ей не перечит младшая сестра.

Сейчас синяя лампочка под специальным козырьком чуть освещает толстые фолианты в переплетах из свиной кожи, раскрытые на старых гравюрах и заставках. Николь минуту смотрит, потом дергает изо всей силы за крюк, и железная штора с грохотом падает до самого тротуара.

— А теперь — засов у двери...

Николь поворачивается и вздрагивает. Плотно прижавшись к дверному косяку, стоят двое. Вернее, стоит один, а второй свисает с его плеча, как куль. В синем брезжущем свете у обоих безглазые лица мертвецов, но,

кажется, оба молоды. На них береты и длинные бесформенные куртки, какие носят рабочие в провинции.

— Мамзель, мамзель... мадам...— бормочет тот, что на ногах. Он хочет что-то сказать, но слова не идут у него с языка.

Николь приходит в себя. Видно, парни испуганы больше, чем она.

— Ну, в чем дело? — строго спрашивает она.— Что вам здесь нужно?

Но тут второй бесшумно скатывается наземь. Он скатывается, как большой тряпичный узел. Товарищ успевает только поддержать его голову.

Внезапно Николь слышит топот. Бегут сюда. Сейчас будут здесь.

Николь рывком распахивает дверь. Толкает того, который на ногах:

— Живее! Тащи его!

Парень с необыкновенной готовностью подхватывает упавшего, пыхтит прямо в затылок Николь. Николь успевает задвинуть засов у двери, взлететь по лестнице, выпалить Жермен:

— Спрячь этих за стеллажами. Сейчас сюда явятся. Видимо, боши. Только, ради бога, не делай такое лицо! Будь покойна, я их отважу.

Она хватает с качалки халат, ерошит рукой свою темную короткую гривку. И, когда раздается требовательный, безостановочный звон старомодного колокольчика, медленно, словно нехотя, спускается по лестнице и громко шаркает своими «Последними в жизни».

— Ну что там еще? Кого нужно? — спрашивает она, зевая.

— Попрошу отворить. Комендантский патруль,— говорит за дверью корректный немецкий голос.

— Какой еще патруль? — Николь чуть приоткрывает дверь, видит рукав запорошенной снегом офицерской шинели, говорит капризно:— Что за спешка, майор Борзиг? Почему вы приходите на ночь глядя? Я отложила вам эльзевир, как вы просили, но приходите за ним завтра. Мы с сестрой давно спим.

Дверь поддается под чужой сильной рукой, распахивается во всю ширь. Острый свет фонарика сверлит глаза Николь. Немецкий офицер и два солдата видят растрепанную девочку-подростка с сонным, совсем детским лицом.

— Это вы — владелица книжного магазина? — спрашивает офицер.

— Да. То есть мы обе — моя сестра Жермен Лавинь и я. А меня, мсье, зовут Николь Лавинь.

Николь в своем халате делает нечто вроде книксена. Офицеру, кажется, хочется улыбнуться: уж очень забавен этот переросток в халате. Однако он тут же вспоминает: только что у него из-под носа удрали два подозрительных субъекта.

— Вы с сестрой проживаете здесь же, при магазине? — спрашивает он еще суше.

— Да, мсье.

— Придется осмотреть ваше помещение,— объявляет офицер.— Есть у вас кто-нибудь посторонний в доме?

— Никого. Только я и сестра. Мы уже давно легли.

— Зелль, Брюкке, осмотреть лавку и жилые комнаты! — командует офицер.— Не забудьте ванную и прочее.

Николь делает приглашающий жест. На ее лице — полное радушие.

— Пожалуйста, входите,— говорит она.— Только прошу вас, мсье, если можно, не будите сестру. Она такая нервная, даже майор Борзиг говорил, что...

Офицер настораживается:

— Вы знаете майора Борзига?

— Конечно, мсье. Майор — наш постоянный клиент. Он собирает старинные издания. И мы припасаем для него самое интересное из наших коллекций. Майор Борзиг бывает у нас в доме.

Офицер насупливается, раздумывает. Кажется, майор Борзиг какая-то персона в штабе. Кроме того, на днях командование еще раз повторило, что не следует восстанавливать французское население против немецкой армии. Ночной обыск в этой лавчонке будет завтра же известен в городе. А что, если там действительно никого не окажется, кроме этой девчонки и ее сестры?

Солдаты, конечно, не удержатся, разболтают, сделают из своего командира посмешище для всей комендатуры...

Офицер напускает на себя самый суровый вид.

— Вы можете дать мне слово, что в доме, кроме вас и сестры, нет никого посторонних и что вы никому не открывали дверь?

— Что вы, мсье! — пугается Николь.— Да мы с се-

строй, чуть стемнеет, запираемся на этот засов и носа не высовываем из нашей конурки! Мы обе большие трусихи, мсье, и вы даже представить себе не можете, как мы благодарны вам за то, что вы охраняете наш покой!

Немец пристально вглядывается в безмятежное личико. Что? Благодарит за охрану? Она в уме, эта девчонка? Или блаженная? Гм... кажется, говорит даже без насмешки?

Он козыряет:

— Отлично, мадемуазель. На первый раз поверю вам на честное слово и не стану осматривать ваше жилье. Зелль, Брюкке, марш!

Солдаты отворачивают от двери.

— Мсье, а кого вы ищете? — спрашивает вдруг Николь.— Ах, простите, я, кажется, задаю бестактный вопрос?

Офицер приостанавливается.

— Нам нечего скрывать, мадемуазель. Разыскиваем двух сбежавших типов, из которых один ранен. Уйти далеко они не могли.

Он снова козыряет и следует за солдатами.

— Спокойной ночи, мсье,— желает ему певучий голос девочки в халате.

Николь закладывает засов, стоит, прислушиваясь к удаляющемуся топоту.

Потом взбегает наверх.

— Так и знала: стоит и трясется! — бросает она Жермен.— Ну, где же наши гости?

— Как тебе удалось избавиться от бошей? — спрашивает, трепеща, Жермен.

— Борзиг помог.

— Как, разве Борзиг вернулся?! — еще больше пугается Жермен.

— Успокойся, его нет. Помогло его имя,— кратко объясняет Николь.— Так куда же ты упрятала тех двоих?

— Они у нас в спальне. О Николь, я боюсь, что один умрет. Он весь в крови и без сознания. Боже, что мы тогда будем делать?

— Глупости! Он просто ранен, вот и все! — отрезает Николь.— Погоди, сейчас все выясним.

За четырьмя рядами широких стеллажей, сплошь уставленных старыми книгами, сохраняющими запах кожи и пергамента,— две жилые комнатки сестер: кух-

ня, она же столовая, а при случае и кабинет, и крохотная спаленка.

Когда Николь вошла в спальню, ей в первое мгновение показалось, что комната пуста. Удивленная, она сделала еще шаг и тут, в узком пространстве между двумя деревянными кроватями, увидела обоих «гостей». Один недвижно распростерся на коврике, другой примостился тут же, на корточках, в напряженной и неестественной позе. Он был светловолос, мелкокудряв, с очень розовым и как будто припухшим лицом. Затравленный, подозрительный взгляд его встретился со взглядом девушки.

— Можешь вылезать, они ушли,— сказала Николь.— Я их спровадила.— Она нагнулась к лежащему.— Гм!.. Кажется, и вправду дрянная история,— пробормотала она.— Ну-ка, любезный блондин, помогите мне поднять вашего дружка. Жермен, берись за ноги, а я поддержу голову.

— Погоди, что ты собираешься делать? — шепнула Жермен.

— В данную минуту положить его на мою кровать.

— Как, ты хочешь, чтоб они остались у нас?! Ты понимаешь, что будет, если их найдут?

Николь оскалила зубы: точь-в-точь волчонок.

— А ты что же, собиралась их выбросить ночью на улицу, чтоб они попались гестаповцам? Так?

— Но мы же совершенно не знаем, кто они такие, откуда,— защищалась Жермен.

— Мы знаем, что за ними гнались боши, стреляли и что один из них ранен и нуждается в нашей помощи. Для меня, по крайней мере, этого вполне достаточно. Остальное узнаем, когда выясним, что с этим беднягой.

— Но... я думаю...— снова начала Жермен.

— Ты слишком много думаешь. В наше время это вредно,— оборвала ее Николь.

Она отвернула одеяло, и по ее знаку кудрявый легко приподнял товарища и положил его на кровать. Свет настольной лампы упал на раненого. Открылось узкое молодое лицо с большим чистым лбом и косо подрезанными темными волосами. Тень от ресниц лежала на впалых щеках.

— Вот красавец! — вырвалось у Николь.— Жермен, пощупай ему пульс. Ты же у нас без пяти минут врач.

Сама она очень осторожно и проворно принялась

стягивать с лежащего куртку. Оказалось, под курткой нет даже рубашки, а только лохмотья, отдаленно напоминающие фуфайку. Николь попыталась снять лохмотья, чтобы осмотреть рану, но юноша болезненно застонал.

Николь отступила.

— Нет, мои лапы не годятся для такой тонкой работы. Тут нужен специалист.

— Пульс очень слабый, еще прощупывается,— объявила Жермен.— Кажется, он в таком состоянии, которое называется коллапс.

— О, нам не хватает только медицинских названий! — с сердцем сказала Николь. Она обратилась к парню, который не отходил от раненого:— Слушай, может, у тебя есть какой-нибудь врач? Конечно, такой, которому можно довериться?

Молчание.

— Эй, к тебе обращаются! — повысила голос Николь.

Снова нет ответа. Кудрявый только мельком глянул на девушку и снова устремил все внимание на товарища.

— Вот так фрукт! Может, он глухонемой?

— А может, это у него от страху? — предположила Жермен.— Мне говорили, что так бывает.

— Бывает у трусов и трусих,— с яростью сказала Николь. Она дернула кудрявого за рукав.— Что же, дружок, так и будем играть в молчанку?

Только тут парень как будто пришел в себя. Он посмотрел на обеих девушек и ткнул себя в грудь:

— Совиет Унион. Ну, Совиет Унион.

Николь широко открыла глаза.

— Советский?! Жермен, ты слышишь, русский! Советские русские!

— Рюсс, рюсс, совиет рюсс! — обрадованно повторял кудрявый.

Жермен почему-то шепотом сказала:

— Вот будет рад Гюстав! Он так хотел встретиться с советскими русскими!

Младшая сестра церемонно представилась:

— Николь Лавинь. А это моя сестра Жермен.

Белокурый расплылся всем своим пухлым лицом: понял.

— А меня Полем звать. Пашка, Поль,— заторопился он. Потом показал на раненого:— А он — Данила, Дени

по-вашему. Дени, видишь, парлэ франсе, а я не парлэ вовсе.

— Дени, Поль,— в волнении повторяла Николь.— Жермен, ты поняла? Раненый знает французский. Ах, как бы хотелось, чтоб он поскорее пришел в себя! Тогда мы все-все о них узнаем, расспросим, как они сюда попали...

И вдруг, словно в ответ на это страстное желание, раненый зашевелился и, не открывая глаз, что-то проговорил. Кудрявый подскочил к нему.

— Данька! Данька, ты меня слышишь? Больно тебе? Ты скажи, где болит? Это я тут с тобой... я...

— А, Лиза,— твердым ясным голосом сказал раненый.— Вот хорошо, что ты здесь, Лиза! Я тебя видел, и Остапа видел. Он в зеленом мундире, как тогда, такой...— И, не договорив, опять потерял сознание.

2. ДЕВЧОНКА В МУЖСКОЙ КУРТКЕ

— С вас магарыч, паненка.

— Нехай дает, шо обецяла.

Девчонка не слышит. Между широченными плечами мужской куртки чуть видна коротко стриженная голова. Голова непокрыта, хотя морозно. Глаза светлые, острые, тоскливые. Нет, девчонка не плачет. Она только ест глазами всякое движение тех двоих. Двое работают сноровисто, привычно, как будто даже в такт. Лопаты с трудом врезаются в неподатливую зимнюю землю, крошат ее, резво отряхиваются. Быстро растет серо-белый холм. Лопаты похлопывают землю, аккуратно, с особым кладбищенским щегольством ровняют холм. Вот и все. Промерзшая земля спрятала маму-Дусю, спрятала ее милые руки, ее длинные темные ресницы, ее парадную белую блузку с перламутровыми пуговками...

Перламутровые пуговки чуть не доконали девчонку. Однако девчонка дернулась разок-другой и кое-как справилась, только накрепко сцепила зубы. Не реветь. Не реветь. Смотреть. Запоминать. Запомнить навсегда. Иначе кто же расскажет Сергею Даниловичу и Даньке, когда они вернутся... Если вернутся... Должны. Обязаны. Не могут не вернуться. И тогда потребуют, чтоб она рассказала про этот страшный день. И она расскажет.

— Дивчина, ты чула, шо я казав?

Это говорит второй могильщик. Он одноногий. В своей черной куртке, с подколотой штаниной он скачет вокруг могилы, подпираясь лопатой. При этом он удивительно похож на грача, слетевшего на пашню.

— Чула чи ни? — повторяет он. Ему не терпится поскорее распить обещанную поллитровку.

— Что? Ах да. Вот вам.

Девчонка торопливо выхватывает из-за пазухи бутылку вишневки. Заветную бутылку, которую мама-Дуся берегла к возвращению Сергея Даниловича, а потом, когда забрали Даню, к возвращению обоих. «Победная наливка»,— шутя называла она ее, потому что вернуться муж и сын должны были, конечно, только с победой.

— Э, сладкая... Нам бы погорше чего! — ворчат могильщики, однако наливку берут.

Одноногий осуждающе поглядывает на девчонку:

— Якась дивчина. А ни слезинки. Як той камень. Ридна маты вмерла, а вона не плаче нияк.

— Вовсе она Гайдам не родная,— равнодушно возражает второй.— Зря ты, Големба, на нее вскинулся. Люди балакали, будто был у учителя дружок смолоду. Тот дружок не то помер, не то заарестовали его и жинку его тоже. Ну, учитель и взял к себе сироту. У него-то с учительшей один сынок был. Данилкой звали. Учительша, царство ей небесное, земля пухом, хорошая была жинка. Меж родным сынком и этой приблудной дивчиной все, бывалоче, поровну делила. Была ей за родную мать...

— Ну, а я шо тоби кажу?! — азартно перебивает его одноногий.— Я кажу: камьянна душа вона!

И он ковыляет к воротам, даже не оглянувшись на девчонку.

Второй минуту мнется, потом притрагивается к картузу:

— Ну, счастливо оставаться,— и торопливо следует за Голембой.

Девчонка потрясена: а может, и впрямь только здесь, на кладбище, она теперь будет счастлива? Здесь лежит мама-Дуся, единственное существо, которое у нее еще оставалось, сюда не приходят немцы (своих они хоронят в центре).

Вдоль кладбища тянется пустынная Пушкаревская

улица, обсаженная с обеих сторон столетними дубами. Улица выходит прямо в поле. Отсюда видны далекие склоны и сизые колхозные сады. Как любили они с Данькой и эти сады, и Пушкаревскую улицу, тенистую даже в самый жаркий день! А здесь, на кладбище, дети пасли коз.

Девчонка опускается на землю у мамы-Дусиного холмика, глубже забивается в куртку. Руки в карманах. Там чуть похрустывают под пальцами сложенные квадратиками пачки. Нет, это не деньги! Это письма. Письма неотправленные, без конвертов, без адреса, написанные торопливо, единым духом, иногда даже ощупью, в темноте, чтобы не разбудить, не потревожить маму-Дусю. И все-таки недавно, совсем незадолго до смерти, мама-Дуся услышала. Это было ночью, ей тогда стало уже совсем плохо. Иногда она забывалась и уже не помнила, где она и кто стоит у ее постели. А тут вдруг очнулась, приподнялась на подушке и ясно так спрашивает:

— Лиза, что это ты там пером скрипишь?

Сказать? Сказать, что письма эти — жизнь, что без них Лиза давно извелась бы с тоски?

В долгие ночи, под стоны умирающей, ей бы ни за что не выдержать, если бы не письма. В них все, чем живет она, чем живут все люди в этом городе, занятом врагами. Наверно, мама-Дуся поняла бы. А может, и сама она писала когда-нибудь такие же письма. Например, когда Сергей Данилович во время гражданской бился с белыми где-то в Сибири. Мама-Дуся была тогда молоденькая девочка, почти как Лиза. И, наверно, наверно же, она писала письма, которые некуда было отправлять. И все-таки Лиза ей не сказала и теперь мучается: почему, почему не сказала?

Серо-синяя птичка сидит на голом молодом тополе и просит: пить-пить. Глупая птица, вон сколько кругом снега: растопи в клюве снежинки, напейся досыта, не рви ты сердце своей жалобой.

Зима. У, какой холод, как замерзло сердце! Низкие крутые облака похожи на надутые паруса. Ветер гонит их, рвет, кажется, вот-вот послышится треск разрываемых полотнищ. И вдруг надвигаются сумерки. Они тесно обступают кладбище, сдвигаются у могильных холмов. Тревожней начинает шуметь ветер. В домике у ворот вспыхивает и мгновенно исчезает за маскировочной што-

рой огонек: там, верно, могильщики допивают «победную» наливку. Как они сказали: «Счастливо оставаться»?

И все-таки нужно уходить. Возвращаться в комнату, где стоит еще не убранная постель мамы-Дуси, где еще слышны ее вздохи.

Ну-ка, Лизавета, вставай, бери себя в руки! Бери, Лизавета!

Девчонка подымается, притрагивается рукой к уже твердеющему земляному холму и, сутулясь, уходит.

3. НОЧНЫЕ ГОСТИ

— Это очень опасно,— сказал профессор Одран. Николь нахмурилась.

— Значит, он все-таки умрет?

— Я говорю не о нем, а о вас, девочки,— серьезно сказал профессор.— Вы многим рискуете. Вы рискуете всем. Думаю, вам не нужно объяснять, что будет, если их найдут у вас. А твое появление ночью у меня и твой крик? — продолжал Одран, обращаясь уже прямо к Николь.— Ты была точь-в-точь как мои любимые средневековые ведьмы. Никаких доводов разума, одно безумие. И потом эта подушка, подвязанная к животу,— ты думаешь, она кого-нибудь обманула? Я, например, вовсе не уверен, что наша новая консьержка не пойдет доносить, что ко мне ходят по ночам подозрительные девицы... А бешеный бег по улицам, когда ночь и всем строго-настрого приказано сидеть по домам? Вдруг шаги — и Николь вталкивает меня в какой-то темный подъезд и чуть не душит от желания защитить и спрятать. До сих пор не могу отдышаться, честное слово... А если бы мы действительно наткнулись на фельджандармов, как бы ты выкрутилась, а, дорогая девочка?..

— А он, господин профессор, что с ним? — весьма невежливо перебила его речь Николь.

Одран покачал головой.

— Пока трудно что-нибудь сказать. Вы знаете, девочки, я же не хирург, а психиатр. Психиатры имеют дело больше с душой, чем с телом. Мне кажется, у юноши дело не в одной только глубокой ране. Он сильно истощен, вероятно, на его долю выпали немалые испытания. Очень нервный, очень эмоциональный субъект. К счастью, пуля прошла далеко от области сердца, но задела ли она

легкое, я определить не берусь. Попробую, когда кончится комендантский час, разыскать одного своего старого товарища, хирурга. Кажется, он остался в городе.

— А на него можно положиться? — осторожно осведомилась Жермен.

— Как на меня, если, конечно, вы мне доверяете.

Вместо ответа Жермен легко клюнула Одрана в розовую щеку.

— А сейчас нельзя пойти за ним? — нетерпеливо спросила Николь.— Я могла бы сбегать, если бы вы мне дали адрес.

— Ну, знаешь, больше я тебе не позволю рисковать! — решительно заявила Жермен.— Это эгоизм. Из-за тебя могут пострадать очень многие.

Николь хотела было возразить, но, взглянув на профессора, сдержалась. С трудом давалась ей эта покорность. Все в ней бурлило. Каждая секунда промедления, казалось ей, грозит раненому смертью.

— Но перевязку-то вы, надеюсь, сумеете сделать? — сердито обратилась она к профессору.

— Мм... м... Это мы проходили еще на первом курсе,— смутился Одран.— Но, конечно, я попытаюсь...

— Перевязку сделаю я,— неожиданно заявила Жермен.

И под настороженным, недоверчивым взглядом Николь старшая сестра разорвала на полосы чистую простыню, ловко приподняла раненого и очень точно и профессионально наложила повязку на его грудь и плечо. Даже Николь втайне призналась себе, что у Жермен руки прирожденного медика. Раненый и во время перевязки не пришел в себя. Губы его запеклись от жара, щеки темно пылали. Под опущенными длинными ресницами глаза, казалось, ввалились еще больше.

До пяти утра, когда разрешалось движение по улицам, оставалось еще добрых полтора часа. Николь отправилась варить для профессора некую гущу, пышно называемую кофе. Пережаренный маис с ячменем. Сахарин на маленьком блюдечке. На настоящий кофе, который добывался теперь только на черном рынке, у сестер не было денег. Николь поминутно смотрела на часы. Ей пришло в голову, что надо бы дать раненому чего-нибудь подкрепляющего. Она принялась рыться в старом шкафчике отца, где он, бывало, держал бутылку отборного вина. Увы, вина не было и в помине!

Между тем Одран примостился на качалке и расспрашивал Жермен о ночных гостях:

— Растолкуйте мне, кто они такие. От Николь я почти ничего не добился. Знаю только, что они русские, из Союза. А где, кстати, второй?

— Отсыпается в кухне,— отвечала Жермен.— Кажется, они прошли пешком около трехсот километров. У них с собой карта, и он показал нам город Бетюн. Это на севере, в департаменте Па-де-Кале, старый фламандский город. У меня в школе была близкая подруга родом из Бетюна. По-видимому, оба парня работали там в шахтах — у того, который спит, на руках угольная пыль, как у шахтеров.

— Да, я слышал, что на севере некоторые владельцы шахт начали бойко сотрудничать с немцами,— кивнул профессор.— У немцев давно не хватает рабочих рук, и они вывозят молодежь из всех оккупированных стран. Наверно, и ваших двух «гостей» они забрали из России для работы. По возрасту, мне кажется, раненый еще не мог быть в армии. Он совсем мальчик.

— Тот, здоровый, ничего не мог нам толком объяснить,— сказала Жермен.— Мы с ним, как с глухонемым, на пальцах разговариваем. Николь прямо не терпится, чтобы поскорее очнулся раненый,— он, видимо, свободно говорит по-французски.

— Кажется, это будет не скоро,— вздохнул Одран.— Мне не хотелось говорить при Николь, она как будто принимает это близко к сердцу, но ваш раненый в очень плохом состоянии. Поскорее бы удалось разыскать Древе́!

— Боже мой, что мы станем делать, если он вдруг умрет! — всплеснула руками Жермен.— Это же сразу обнаружится!

Одран потрепал ее по плечу.

— Ну-ну, побольше смелости. Вы же мужественная девушка, моя маленькая Жермен. Я кое-что знаю о вас.

— Я?! — Жермен широко открыла и без того большие глаза.— Но, мсье, я же такая трусиха! И что вы могли слышать обо мне?

Раненый чуть слышно застонал. Одран живо нагнулся над ним.

— Эх, бедняга, где теперь странствует твоя душа? — шепнул он.— По каким темным путям? В каких безднах сознания?

4. ПО ТЕМНЫМ ПУТЯМ

Что мы знаем о нашем сознании? Что мы знаем о тех удивительных, порой фантастических, а порой почти осязаемых картинах, которые видятся нам в наших снах? То что-то мохнатое, тяжкое наваливается, душит, хватает жаркими руками, то вдруг явится нам самое дорогое в мире, навек уже исчезнувшее лицо, то бешеный бег на поезд, и уже опаздываем, и от ужаса и тревоги нас подкидывает на постели. А внезапно откуда-то, из самых глубин, возникает наше детство, знакомая комната, знакомый ласковый голос, баюкающие руки. И что-то плывет и качает, и невольно усмехаются губы, и что-то по-детски бормочет спящий. Или вдруг долгие-долгие, бесконечно длящиеся часы ищем мы кого-то, и этот кто-то во сне нужнее всех на свете, и для чего-то нужно во что бы то ни стало отыскать его. Чередой мелькают бесконечные покои, леса, запутанные лабиринты дорог, а того, кто нужен, нет и нет. И в этих поисках изнемогают душа и тело, и, очнувшись, весь разбит, как после тяжкой болезни.

А если вдобавок сознание затемнено жаром, если оно больное, это сознание, то уж и вовсе невозможно разобраться во всех обрывках, которые то наплывают, как волшебные кораблики, то терзают немыслимой болью.

Бьется, бьется синяя жилка на виске раненого. Закушены сухие, горячие губы. Где-то он, где он теперь?

* * *

Он спрашивал отца:

— А она насовсем у нас останется?

Сергей Данилович хмуро кивал.

— Наверно, насовсем, Даня. И, знаешь, ты должен быть ей старшим братом. Должен всегда защищать, потому что ее сильно обидели.

— Кто обидел?

Отец опять хмурился.

— Судьба. Жизнь. А больше всего, наверно, люди.

— Какие люди? Кому понадобилось трогать ее, девчонку?..

— Разные бывают люди, Даня. Есть и низкие, завистливые, всякие... Тебе повезло, ты пока таких не знаешь.

Отец говорил как бы нерешительно, раздумывая. Может, и сам он был не уверен в том, что говорил? Данька смотрел на него. Смотрел, недоумевая.

Он привык верить отцу, каждому его слову — отец еще никогда ни в чем его не обманул. Но самому Даньке и впрямь не приходилось встречать дурных, низких людей.

С тех пор как он помнил себя, кругом был все тот же знакомый, уютный мир. Был старинный тихий город с садами, со столетними осокорями и каштанами на безлюдных улицах, с обелиском Славы в Корпусном саду. Далеко виден золотой орел на обелиске, держащий в клюве лавровый венок. И еще была тенистая, мутноватая Ворскла, где он купался с дружками, плавал лягушкой и саженками, а после обучался кролю и баттерфляю у тренера Сени Тимошенко. Был центр ребячьей жизни — белый, широко разлегшийся среди зелени Дворец пионеров. Там, в длинном коридоре, который вел в библиотеку, почему-то разгорались самые увлекательные споры, там разговаривали о книгах, о футболе, о будущем, позже — о девочках. И, конечно, была школа с пионерскими сборами, суматошными и не всегда интересными. Были уроки истории — самое важное в школе, как полагал Данька, и не только потому, что уроки эти вел его отец, но и потому, что каждый урок превращался в путешествие по знакомой старине. Иногда толпой, забыв о партах и классной дисциплине, окружали Сергея Даниловича, и он рассказывал о русской истории, о Петре Первом, показывал портреты его сподвижников, вводил ребят, почти как в современность, в события двухсотлетней давности, героические или мрачные.

Наконец, был дом с книжками, с волшебным фонарем, с молодой смешливой и ласковой мамой-Дусей, с воскресными прогулками всей семьей то по гоголевским, то по короленковским местам. А вечерами приходили друзья — доктор Александр Исаевич Горобец, сивый и бородатый, как Черномор, молодой физик Мартыненко, которого все звали просто Лешей, мамина школьная подруга Люба Шухаева. Отец вынимал старую, еще дедовскую, скрипку, мама-Дуся садилась за пианино, и доктор Горобец бережно, как больного ребенка, вносил из прихожей закутанную виолончель. И Даня помнит, что первые в его жизни слезы вызвала

2 Заказ 1424

музыка — томительная, будоражащая, безмерно грустная.

Отец пытливо смотрел на него.

— Тебе ведь уже двенадцать, тринадцатый пошел, Данька. Как тебе кажется, сможешь ты понять большой, мужской разговор?

Мама-Дуся сказала тревожно:

— Сергей, а не рано ли? Ведь он еще совсем ребенок.

Сергей Данилович ответил твердо:

— Не рано, Дуся. Пускай, как говорится, всосет это с молоком матери. Может, поймет, как ему надо относиться к девочке.

Так произошел большой мужской разговор с отцом. Данька узнал, что худенькая, будто навек чем-то испуганная девочка, которую отец привез недавно из Ленинграда,— дочь старого друга Сергея Даниловича, талантливого журналиста. По лживому доносу родителей Лизы арестовали, а Лизу отправили в детский дом. Лиза оттуда сбежала, долго скиталась по Ленинграду, пока наконец ее не подобрал старик швейцар из какого-то учреждения. Швейцар выходил девочку, расспросил о семье и случайно, в разговоре, узнал, что в Полтаве живет большой друг Лизиного отца. Старик написал Сергею Даниловичу. Так Лиза Каразина оказалась в семье Гайда.

Длинные-длинные, тонкие-тонкие ножки в коричневых в резинку чулках, сумрачные недоверчивые глаза, повадки настороженной дикарки — как все это сразу сделалось другим!.. А ведь еще накануне «мужского разговора» Данька негодовал про себя: «И зачем только понадобилось привозить эту девчонку? Так мы хорошо жили втроем! А теперь шмыгает по дому какая-то злючка, а может, воображала. Все молчком, все по углам прячется... Эх, папа, и зачем ты ее взял, к чему нам она?!»

Трудно, мучительно мальчику в двенадцать лет сделать первый шаг к девчонке. И как подступиться к такой? Вон забилась в угол за шкафом, что-то перебирает там в коробке из-под печенья. Даже головы не поднимет, хотя Данька уже два или три раза прошел мимо. Наконец:

— Слушай, ты «Двух капитанов» читала? Хочешь, я тебе дам? Ух, вот это книга!

— Я читала,— сказала и опять головы не подняла.

Руками что-то все вертит, а руки, как обструганные прутики,— тонкие, белые, без кровинки.

— А «Судьбу барабанщика» читала?

Она помотала головой.

— Нет? Тогда я тебе сейчас дам. Это, знаешь, тоже такая книга...

— А ты «Дикую собаку Динго» читал?

Он почему-то смутился. Сказал пренебрежительно:

— Ну, это чтение для девчонок.

Она в первый раз подняла глаза — светлые, нестерпимо презрительные.

— У... Ничего-то вы, мальчишки, не понимаете!..

Данька вспыхнул. В его лице был оскорблен весь мальчишечий род. Закипела обида, он уже готов был выплеснуть на эту девчонку самые злые слова. Они стояли — оба — на краю ссоры, которая могла стать окончательной, непоправимой.

Но в следующее мгновение Данька вспомнил «большой мужской разговор». Взгляд его невольно скользнул опять по рукам-прутикам. Он тяжело сглотнул гнев, буркнул:

— Видно, только одна умная нашлась! Пожалуйста! А «Судьбу барабанщика» ты все-таки прочитай. Я тебе сейчас дам.

Сколько их было, таких ссор, готовых перейти в непримиримую вражду, злых слез, обидных прозвищ! Иногда они по три-четыре дня не разговаривали, не смотрели друг на друга. Мама-Дуся — та как будто и внимания не обращала на эти вспышки. Зато Сергей Данилович, переждав несколько дней, начинал вскользь говорить о людях, которые не держат слова, не могут сдержать и самих себя, плохо управляют своими чувствами. Даньке было тяжело, душно, он злился на отца, на Лизу, на весь мир — мир был неуютен, хмур, ничто в нем не веселило. Сделать первый шаг? Ни за что! Кланяться какой-то девчонке, упрямой и неумной?!

Вон стоит у окна, повернулась спиной, и даже в спине упрямство и злость. Ни за что!

Он повторял это «ни за что» до тех пор, покуда вдруг оба они не оказывались лицом к лицу с каким-нибудь незначительным словцом для начала:

— Чернильной резинки нет?

Или обращенное словно в пространство:

— А Таиса сказала, что в кино сегодня замечательная картина.

— Какая?

— Не знаю. Если хочешь, сбегаем посмотрим...

5. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ПИСЕМ ЛИЗЫ КАРАЗИНОЙ

Письмо первое

Данька, Данька, что мне делать? Что мне делать? Ведь вижу — плохо, очень плохо, может, даже уже и нет надежды, может, Александр Исаевич просто так, в утешение мне, говорит, что должен быть перелом к лучшему. Но я-то знаю, наверное знаю, что это я во всем виновата: недосмотрела, упустила, не захватила вовремя! И еще знаю, что ты, когда вернешься, и Сергей Данилович, когда вернется, будете думать, что это я виновата во всем.

Сказать, конечно, не скажете, а думать будете. И, может, это навсегда ляжет между нами. Но подумай сам, что́ я могла сделать?! Ведь когда мы попали в облаву там, на Пушкинской, и когда ты меня вытолкнул и закричал: «Беги!» — я просто ничего не поняла, послушалась тебя и опрометью побежала домой. И, конечно, сразу же крикнула, что тебя забрали. Мама-Дуся только ахнула, схватила твое пальто, сапоги, какую-то еду, и мы с ней помчались к школе, куда вас всех загнали. Она даже платка не накинула, стояла в одной кофточке, а холод, помнишь, был такой, что зуб на зуб не попадал. Стояли мы так часов пять. Я ее обхватила, чтоб хоть как-то от ветра укрыть, но она рассердилась, вырвалась. Сказала, что вас скоро будут выводить, что она это слышала от верных людей, что надо успеть передать тебе вещи и еду. Лицо у нее совсем посинело. Конечно, вас не вывели, а потом прошел слух, что вас повезут на вокзал завтра с утра. Я насилу уговорила маму-Дусю пойти домой. Дома сразу стало худо: ее затрясло, щеки загорелись. Я сунула термометр — тридцать девять и шесть. Она начала бредить, все вскакивала с постели, рвалась бежать — помогать тебе. И такая вдруг сила в ней появилась, что я еле ее удерживала. Закутала ее

в два одеяла, заперла в комнате и побежала за Александром Исаевичем. А он, как нарочно, в госпитале. Я думала, сойду с ума, покуда дожидалась. Но он пришел, и сразу стало как-то спокойнее. Засопел, как всегда, прослушал красным своим ухом спину, грудь, сам ее растер, дал лекарства (с собой принес). Ничего не сказал тогда, но обещал приходить часто.

Сегодня ровно две недели, как взяли тебя и заболела мама-Дуся. Так и не удалось увидеть тебя, передать тебе вещи. Может, если бы удалось, стало бы легче маме-Дусе. Мучается она очень, что ты в одной серой куртке и летних полуботинках. И в бреду и когда в памяти — все об этом говорит. Малюченки видели, как Петро, и тебя, и других ребят запихивали в закрытый грузовик и повезли к вокзалу. Кинулись туда, но, покуда добрались, состав уже ушел. И они тоже своему Петрусю ничего не успели передать.

Мне все не верится, что тебя нет. Вечерами жду: вот-вот раздадутся твои шаги на крыльце и ты войдешь. Данька, неужели мы с тобой не увидимся до самого конца войны? А сколько она продлится? Год? Два года? Десять лет? Через десять лет я буду уже пожилая, ты понимаешь. Ну, хватит об этом.

Письмо второе

Сегодня выбегала на минуточку подышать воздухом, пока Таиса сидела у мамы-Дуси. Прошлась мимо музея. Туда, говорят, немцы собирают тех, кто хочет «возродить народное украинское искусство». Где собираются эти любители искусства, неизвестно. Часть окон заколочена наглухо, другие выбиты. Заглянуть внутрь — высоко да и страшно: поймают.

Гербы бывших полтавских уездов (помнишь, такие красивые, разноцветные) побиты, керамика покалечена. Но вокруг музея какая-то тайна. Уже два раза немцы поджигали его, и оба раза кто-то тушил пожар. Где теперь наш Остап? Честное слово, я думаю о нем, как о живом друге, пропавшем без вести, даром что я уже давно взрослая дуреха.

Муляж! Вот странно! Когда мы узнали, что в каталоге музея Остап числится «муляжом солдата Петровской эпохи», мы долго не хотели верить. Наш Остап —

муляж?! Господи, чепуха какая! А может, все это потому, что мне почти не пришлось играть в куклы, а воображение требовало какого-то исхода. Я даже не помню, кто из нас придумал Остапа. Помню только, что было это после наших «гоголевских чтений». Как удивительно читал Гоголя Сергей Данилович! Он и в театр нас водил, и в кино мы смотрели «Майскую ночь», но никто не мог так «вжить» в нас Гоголя, как Сергей Данилович своим чтением. Спроси меня хоть ночью, я наизусь помню то место из «Тараса», где казнят Остапа. «Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,— ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

И помню твое лицо, когда Сергей Данилович читал нам это место. Ты спросил:

— А у Тараса остались внуки — сыновья Остапа?

Сергей Данилович кивнул.

— Конечно. Все мы — их внуки и правнуки.

— Нет, я говорю о настоящих сыновьях Остапа...

— Этого я не знаю.

Наверно, вскоре после того вечера и появился наш Остап. Сергей Данилович повел нас в музей и заговорился со старым сторожем Денисом. А мы побежали к солдату в преображенском мундире. Удивительное у него было лицо. Наверно, хороший художник делал этот «муляж»: смуглые щеки, усталые морщины у рта, смоляные усы, чуть прищуренные добрые глаза. Я первая сказала:

— Солдат, а солдат, здравствуй. Как тебя зовут? Давай водиться, солдат!

А ты посмотрел на него, потрогал его сумку патронную и сказал:

— А может, он и есть сын Остапа? Ведь Остапов сын мог же оказаться в петровском войске?

Мы притащили Сергея Даниловича к нашему солдату.

— Пожалуй, хотя с хронологией это и не очень сходится,— сказал он.

— Тогда он, значит, тоже Остап,— сказал ты.— Дед

Тарас непременно назвал бы его так в память сына...

Сергей Данилович не разочаровывал нас, не смеялся над нашей выдумкой, а посмотрел на Остапа и сказал:

— Какое, однако, живое и честное лицо!

И тут же мы все трое придумали Остапу подходящую биографию.

Его скрыла и тайно воспитала на Запорожье одна казачка, именно тайно, чтоб не истребили враги Тарасов корень. И вот однажды приехал неизвестный человек и передал маленькому Остапу саблю отца. С той поры мальчик поклялся стать воином. А как стали набирать маленькому царю Петру потешное войско, кто-то и привез с Украины сиротку-казачонка. И стал Остап-младший боевым товарищем и любимым солдатом Петра. В Полтавском бою сопровождал его как вестовой, оберегал Петра от пуль, оттеснял от него врагов.

Помнишь, каждый из нас торопился изо всех сил, старался придумать еще какой-нибудь правдоподобный случай из жизни Остапа. Я например, придумала, что в Диканьке у Остапа есть невеста — красавица и умница Ганна, и в лунные ночи, когда в музее нет даже сторожей, Остап ходит на свидание к своей девушке. И, только выдумав про Ганну, я уже сама в нее вполне поверила. Мне даже показалось, что Остап пристально глянул на меня и губы его под усами шевельнулись. Я никому из вас тогда об этом не сказала.

Вот с той поры мы и взяли в товарищи Остапа. Кажется, я первая шепнула тебе, что необходимо из школы зайти в музей: Ганна поручила мне передать Остапу записку. Ты принял игру, сказал, что тебе тоже нужно непременно повидать Остапа. Так мы повадились ходить в гости к Остапу очень часто, и Денис уже привык к нам, не глядел с подозрением, а читал газету или даже уходил по своим делам, а нам наказывал покараулить в зале за него. «Только руками ничего не трогать, ребята,— строго говорил он.— Музейное имущество — неприкасаемое».

Но мы все-таки иногда засовывали за обшлаг Остапова рукава наши записки или рисунки якобы от Ганны. А потом ты однажды написал записку от имени Остапа. Игра все разгоралась. Остап уже совершенно вошел в нашу жизнь. И помнишь тот день, когда Володька Каплун сказал Наталке Гудзий:

— И чего это ты все лижешься с Каразиной, все шепчешься с ней? Ты что, не слыхала, что она дочь арестованных врагов?

А Наталка ему:

— Ну и что ж тут такого? Ведь не она, а родители ее враги, а она очень даже хорошая девчонка и товарищ что надо.

Володька Каплун ей язык показал:

— Простофиля ты, я вижу. Вот погоди, скажу старшему пионервожатому, он тебе мозги прочистит.

Я тогда из школы убежала, себя не помнила. Бежала по улице, и внутри у меня так все горело и болело, что не было сил вздохнуть. Я поняла, почему, когда в классе ребята иногда шептались, а подходила я — все тотчас расходились. Я поняла, почему, когда я спрашивала, скоро ли нам подавать в комсомол, все вдруг начинали куда-то торопиться и не отвечали мне. Дочь врагов! А ведь у вас я уже успела немного забыться, отвыкнуть от этой клички. Кличка преследовала меня и в нашем дворе, в Ленинграде, и в детдоме. Эти слова раздались там, как только меня привезли. Правда, заведующая сказала их очень тихо, но я все-таки услышала. А потом не знаю уж как, но узнали все ребята.

В ту же ночь я убежала из детдома. И вдруг теперь, когда уже позабыла, будто удар в спину — опять эти слова!

Домой с таким лицом прийти нельзя. Я побежала в музей, спряталась за Остапа и давай ему про все шептать. Шептала, выкладывала ему свою беду, обревелась вся страшно, но понемногу мне стало легче. Мне тогда казалось, что Остап все понимает лучше всех, что и он со мной все переживает. И когда я уже совсем выдохлась, и наревелась всласть, и, распухшая от слез, вылезла из-за спины Остапа, я увидела тебя.

Ты стоял у окна и делал вид, что зашел мимоходом.

— Ты чего здесь застряла? Не знаешь, что ли, что обедать пора? Теперь нагорит нам от мамы!

А сам тянул меня за рукав и не смотрел на меня. А потом я узнала, что ты дал в морду Каплуну и поругался в дым с Соболевским, и тебя прорабатывали на бюро, и папу твоего вызывали. Кажется, ему даже грозило увольнение из школы, и долго все это тянулось. Но об этом я узнала уже позднее.

Письмо третье

Хоть у нас и недружный был класс, я все-таки любила, очень любила нашу школу. А может, потому, что ты в ней учился и учил нас Сергей Данилович? Как-то все вспоминаешь с нежностью: и щербатый пол в актовом зале, и облезлые рамы на окнах, которые мы после сами окрасили, и коридор, заставленный геранями и фикусами. Но больше всего я любила учителя литературы Павло Ивановича Кучеренко. Голая, как коленка, голова, умнющие маленькие глазки, сам весь коренастый, как дубок, и ручки коротенькие, и смешной редкозубый рот, а нам он казался красивей всех красавцев, и ходили мы за ним хвостом, и, если он что-нибудь предлагал и начинал: «Вот, други мои, есть у меня одна придумка», мы, еще не дослушав, орали всем классом: «Замечательно! Давайте, давайте! Чудесная придумка!» И только потом выслушивали, и, конечно, придумка оказывалась и впрямь отличной. То это были шевченковские чтения, и мы с жаром учили стихи, читали биографию и готовили доклады о жизни и творчестве Тараса. То — общественный суд над Онегиным, и мы распределяли, кому быть прокурором, кому защитником, кому свидетелями, и полегоньку, незаметно для самих себя, заучивали наизусть чуть ли не весь роман. То Кучеренко предлагал нам нечто вроде «психологических портретов» — самим установить, кто у нас в классе похож на Швабрина, а кто — на Гринева и почему, из каких черт складывается это сходство. И ведь все не по программе, это мы уж сами установили, когда однажды поинтересовались программой-минимумом для восьмых классов. И даже самые отпетые из нас, которым и в голову не пришло бы почитать что-нибудь вне уроков, и те заражались общим увлечением, и оставались после занятий, когда Павло Иванович обещал прочитать, как он говорил, «кусочек чего-то замечательного». И смотрели как завороженные в редкозубый рот, из которого вылетали изумительные пушкинские строки или толстовская проза. Наверно, я и сейчас могу сказать наизусть предисловие к «Хаджи Мурату» о бессмертии татарника. А может, в этих строках есть такое, что не дает падать духом? Может, в каждом из нас есть цепкость и стойкость того татарника? Ну да ладно, довольно литературностей. Кто-то стучится в дверь. Наверно, Александр Исаевич пришел.

Письмо четвертое

Сегодня немцы передали по радио: заняли Ленинград. Не могу больше писать.

Письмо пятое

Пробую представить себе и все никак не могу, не укладывается в голове: Ленинград, самый красивый, самый торжественный, драгоценный мой город, сдался немцам?! Не может этого быть! Не верю! Ведь они часто, наверно даже всегда, врут по радио, и в листовках, и в «Голосе Полтавщины», врут о своих победах над нами, чтобы все поверили, что уже нет никакой надежды, что вся страна им покорилась. А главное, чтобы у всех опустились руки.

А вдруг все-таки правда?! Ведь заняли же они Харьков и Киев и другие большие города! Вдруг по Невскому, по Дворцовой набережной, по Марсову полю ходят немцы?! Как представлю себе это, прямо жжет сердце, дышать нечем и такая ненависть к ним пронзает, хочется схватить топор и бежать рубить, колоть каждого врага!

Но нельзя, нельзя мне думать об этом! Я запрещаю себе. Запрещаю на все время, пока не поправится мама-Дуся. Сейчас все мысли, все дела в одном: вытащить маму-Дусю из болезни, выходить ее. Она все время почти в забытьи, иногда только ночью приходит в себя, и я должна быть все время рядом: вдруг ей захочется чего-то, может, спросить или сказать. Вчера ночью вдруг позвала меня таким громким, совсем свежим голосом:

— Лиза, Лиза, обещай мне, дай слово, что никуда не уйдешь, останешься здесь, дождешься дядю Сережу и Даню.— И смотрит, смотрит так остро, в самую душу.

Я хотела было сказать: «Вы сами их дождетесь», как говорят в таких случаях, но у меня язык не повернулся. Я только кивнула и сказала.

— Слово даю, мама-Дуся, можете не беспокоиться, никуда я отсюда не уйду.

— Дождешься их?

— Дождусь, мама-Дуся.

— Ну, вот и хорошо, и ладно, и спасибо тебе за все, дочка моя, голубчик мой.

И опять куда-то провалилась, зашептала что-то свое. Она ничего не ест, только пьет иногда по ложеч-

ке чай с вареньем. Дома у нас ничего нет, все, что нужно, приносит Таиса от Горобца. Она очень хорошая, эта Таиса, и ужасно любит Александра Исаевича, прямо молится на него, говорит, что в больнице все санитарки, фельдшерицы и больные его обожают, считают гениальным врачом. Только боятся за него страшно: по паспорту Горобец украинец, но отец у него был крещеный еврей, и по немецким законам он тоже считается евреем. Если какой-нибудь подлец донесет, Горобцу не уцелеть. Таиса придупреждала меня, чтоб я не выходила никуда — немцы хватают девушек и куда-то увозят. Сама Таиса ходит до глаз закутанная в платки, а лицо вымазано сажей, «чтоб никто не польстился», как она говорит. И все-таки сегодня мне пришлось пойти с моим маркизетовым синим платьицем на рынок. Мама-Дуся вдруг попросила чего-нибудь кисленького, а кисленького ничего и нет. Ох, если бы ты знал, что́ такое сейчас рынок! Это центр, самое средоточие, единственное место в городе, где кипит жизнь. Но жизнь темная, грязная, вороватая. Вылезли откуда-то странные типы, будто из каких-то фильмов о старой жизни: в фуражках, украинских рубашках вышитых, в каких-то залихватских кепчонках. Что-то продают, выменивают из-под полы, что-то тащат, торгуются, выпрашивают. В ходу водка, немецкие марки, немецкие сигареты, даже французские коньяки. На мое платьишко и смотреть не хотели, а тут вдруг подвернулась Галка Лялько.

— Давай променяю. Тебе что надо-то?

И чуть ли не через десять минут несет мне глиняную чашку с маринованной сливой да еще бутылку вишен.

— Вот тебе. Поменяла твое барахлишко.

Я схватила, поблагодарила ее — и бежать. До того страшно было мне на рынке, прямо дрожь взяла.

Письмо шестое

Никакого улучшения. Александр Исаевич хотел взять маму-Дусю к себе в госпиталь, но там хозяйничают немцы, а это значит, что они могут в любую минуту просто выбросить ее на улицу (они уже делали так с нашими больными). Мама-Дуся вся горит, часто бредит и не узнает даже меня. Горобец приходит по два раза в день, но у него своя беда: забрали его брата, юриста, и он не может узнать, на работы увезли или куда

похуже. Кажется, дознались, что они евреи, а может, кто-то донес. Всех евреев у нас переписали, и они ходят теперь с желтыми звездами. Александра Исаевича пока не заставляют ходить со звездой и не трогают, может, потому, что у него лечатся самые важные немецкие офицеры, а Софью Исидоровну он прячет дома и никуда не пускает, чтоб не попалась на глаза немцам.

Только что мама-Дуся позвала меня. Говорит, ей полегче. Жар спал, и грудь не давит. Я обрадовалась бог знает как, а она вдруг говорит:

— Дай мне, Лиза, листок бумаги и карандаш.

— Зачем? — спрашиваю.— Вам нельзя напрягаться. Александр Исаевич не позволяет даже голову подымать с подушки.

Она:

— Милый Горобец! Хороший Горобец! — И опять:— Дай, Лиза. Мне нужно. Непременно.

И смотрит так, что не дать нельзя.

Потом долго что-то писала, рвала бумажку. Опять что-то писала. Я слышала, как она тяжело, хрипло дышит, кашляет, кажется, плачет. Не смела подойти. Потом подозвала меня: «Вот, Лиза, передашь это Сергею Даниловичу. А если он не вернется — Дане». Притянула меня к себе: «Как ты тут будешь, девочка? Это меня больше всего мучает».

Кажется, нужно в таких случаях что-то фальшивить, говорить: «Чтó вы, пустяки какие выдумали! Умирать собрались, что ли? Фу, глупость какая!»

Я не могла. Я видела, какие у нее глаза, слышала ее голос и не могла.

Взяла записку. Спрятала. Я знала, чтó в ней.

Письмо седьмое

С той ночи у нас все хуже и хуже. Она уже почти не приходит в себя. Горобец тоже ничего не обещает. Приходит так же часто, иногда даже не выслушивает, а просто посмотрит на нее и уходит в прихожую. Закроет дверь плотно и курит, курит... Когда не дежурит в больнице, даже на ночь остается у нас. Вскипячу ему чайник, постелю на диване Сергея Даниловича, но знаю, что он не ляжет. И сидим с ним всю ночь, и оба все молчим. Я-то знаю, как ему тяжело: о брате ничего не

известно, а Гайда, которые были его самыми близкими друзьями... Господи, что это я пишу «были»?! Значит, я уже ни во что не верю? Не верю, что вернется Сергей Данилович, что вернется Даня, что выздоровеет мама-Дуся? Почему я так пишу? Когда я перестала верить? Когда это случилось?!

Нет, нет, не может быть! Я не хочу! Не хочу!

Письмо восьмое

Опять ночь. Сегодня я одна. Александр Исаевич сказал, что привезли в госпиталь важного немецкого офицера и он будет занят до утра. Маме-Дусе как будто чуть-чуть полегче. Она, правда, в забытьи, но дыхание чище и лицо спокойное, гладкое. Все морщинки куда-то исчезли. Она теперь часто бывает похожа на девочку лет тринадцати — чистое такое выражение.

Иногда лежит тихо и как будто улыбается. Я боюсь вздохнуть. Смотрю на нее, и все у меня внутри стонет, просит: «Выздоровей, ну выздоровей же! Встань, засмейся, как раньше, заговори со мной! Пусть все будет как прежде! Пусть все станет хорошо!»

И я вспоминаю наши ночи, когда мы, бывало, до белого света говорили с ней о тебе, Данька, и она вспоминала твои смешные детские словца: «Папа, какая у тебя глазастая голова», или: «Я тоже работаю, как папа и мама. Работаю ребенком в детском садике». И еще много-много всякого смешного и милого.

Ах, Данька, как мне все это нужно, как трудно быть одной, как трудно не вспоминать... Ну, извини, извини за слабость, за девчонство, но надо же когда-нибудь поплакать в жилетку.

Вот и сейчас вижу перед собой ярко-желтую песчаную косу на Ворскле в Беликах. Мы приехали туда с Сергеем Даниловичем и мамой-Дусей уже к ночи. В темноте ввалились в хату Диденок, ваших приятелей; и нам с тобой дали, чтоб укрыться, по лошадиной шерстяной попонке. В попонках оказалась тьма блох, кожа у меня горела от укусов, я не могла спать и чуть свет поднялась и побежала осматривать село. Над рекой стоял молочный парок, точно где-то подогревали воду, а на другом берегу за ветлами пыхтела молотилка (будто это она и подогревала) и слышался говор. Я ре-

шила искупаться. У косы оказалось совсем мелко — по щиколотку. Я стала искать места поглубже, и в это время прибежал ты — в трусах, с полотенцем через плечо. Я закричала: «Иди сюда, тут по шейку!» И вдруг поняла, что меня кружит и что выбраться из этого круженья мне никак не удается. Я изо всех сил плыла, но получалось какое-то бессмысленное барахтанье, и сил у меня становилось все меньше. «Даня, здесь омут!» — закричала я. Ты засмеялся — не поверил. Ведь под ногами сиял чистый желтый песок. А я уже совсем выбилась из сил. «Даня, помоги!» И ушла под воду.

Очнулась в какой-то чудесной, ленивой слабости. Разлепила веки — рядом ты, в мокрых трусах, зеленый, задыхающийся: «Жива?!» И: «Дышит! Дышит!» И над нами обоими — кто-то голый, корявый, чужой, с мокрым багром в руках. И этот кто-то поносит нас последними словами по-украински, матерится же по-русски — страшно и малопонятно. «Бисовы диты! Суются, так их и так, в омута, таскай их, так их и так, оттуда! И черт с ними, и тонули бы, коли, не спросясь, лезут в воду! Тут уж утопли за лето трое приезжих. Хорошо, что люди на молотьбе были, услыхали, как они пузыри пущают!» А мы с тобой лежали смирно и смотрели один на другого, и был в нас полный покой и отдых. И, может, с этого утра (ведь ты тогда, помнишь, бросился меня вытаскивать и сам ушел под воду) у нас с тобой как-то все прояснилось и пошло крепче и крепче.

Правда, и тогда мы с тобой еще ссорились иногда по пустякам, не разговаривали, дулись дня по два, по три (помнишь, как ты однажды шутя стал дергать меня вечером за косы, а я вдруг до слез обиделась!). И один раз после такой ссоры, когда я, злющая-презлющая, убежала с книжкой к млинам, на вершину холма за селом, ты подошел ко мне и сказал: «Давай не портить друг другу всякими нелепостями эти места и вообще эти дни, ладно?» И я уже забыла свою злобу и дала тебе руку. И вдруг ты нагнулся и руку мою поцеловал.

Я так удивилась! Я же знала твое отношение к девчонкам и всяким «воздыханиям». Посмотрела на тебя и увидела твои глаза, как у жеребенка (так говорила мама-Дуся), совсем другие, очень мои глаза. Поняла: скажи я, вели что-нибудь, и ты на все для меня пойдешь. Конечно, и у меня, наверно, вид был соответственный, потому что ты вдруг, не сказав больше ни слова, удрал

к Кочубеевскому лесу. А я осталась, и все во мне переливалось, и пело, и блестело, как вода в маленькой счастливой речке.

Зато вечером, когда вылезла луна и мы все сидели под сливой в саду Диденок, ты объявил родителям: «Ну мы с Лизой пошли бродить!» И я встала с самым непринужденным видом и вышла вслед за тобой. И, как только мы очутились под этим белым медовым светом, мы взялись за руки и побежали все вверх, вверх, к тем полынным холмам за селом, где стояли мои любимые млины. Крылья млинов отбрасывали черную тень, точно те большие старинные кресты над могилами Синеуса и Трувора, о которых ты мне рассказывал. Мы сели с тобой в этой тени на сухие бревна. Далеко, у Ворсклы, пели красиво, точно соловьи, лягушки, потом далекий голос запел песню про то, как ехали казаки и взяли в седло красавицу Галю. Позади млина, на кладбище, шелестели деревья. И мы даже не разговаривали — просто сидели и слушали и следили, как тает, растворяется в небе луна, как чуть начинает проступать на самом горизонте воздушная розовость. И я себе дала крепчайшую клятву: всегда, до самой смерти, помнить эту ночь, и все запахи, и все звуки, и твое лицо.

Вот что было в ту ночь, и, видишь, я и вправду все-все как есть запомнила, «закрепила на сетчатке», как ты говорил. И все то лето в Беликах, знойное, тяжелое, со жгучими суховеями, с запахами перегорелых трав, с твоей работой на колхозной молотилке и нашими ночными купаниями на косе,— все это навсегда во мне, и, наверно, нет, не наверно, а по самому большому счету, это лучшее изо всей моей жизни. И вспоминать это сейчас так нужно!

Письмо девятое

Сбудется ли? Неужто возможно такое счастье?! Говорят, немцы бегут. Понимаешь, Данька, что́ это значит: **бегут немцы?!!** Наши войска взяли Барвенково и другие города и продолжают наступать. Александр Исаевич прибежал сам не свой: ему удалось в госпитале подслушать разговор какого-то важного немца с его раненым приятелем: «Так что, вы уже сматываете удочки?» — спросил раненый. Тот кивнул: «Кажется,

придется. О себе ты не беспокойся, всех вас вывезут, есть уже приказ». Господи, сердце заходится при одной мысли, что их могут прогнать отсюда и вообще из нашей страны! Через город мчатся на запад машины, полные награбленных вещей. Едут какие-то полицаи, чиновники, офицеры. Алесандр Исаевич говорит, что у всех плачевный вид. Только бы закрепиться нашим! Только бы эти слухи оказались правдой!

Письмо десятое

Такое ощущение, будто тебя на миг вытащили из глубокой ямы, показали небо, солнце, волю, а когда ты уже начал все это впивать в себя, снова сбросили в яму, где не видно даже света. Все кончилось! Опять висят приказы коменданта и бургомистра, опять люди ходят крадучись, опять в начальных школах преподают закон божий. Видно, наступление наших остановилось. Ледяной ветер гуляет по улицам, забирается под куртку, кажется, студит сердце. И дома тяжко, а на улице... Вдобавок сегодня я чуть было не попалась. Побежала на базар, а там облава. Всех гуртом — в машины и в шестнадцатую школу. Втолкнули в коридор. В одном из классов идет проверка, и мало кто оттуда возвращается. У меня при себе ничегошеньки, одна корзинка. Ну, думаю, пропала я, как же теперь с мамой-Дусей? Кто будет за ней ходить? Только маленькая мыслишка была: «А вдруг пошлют туда же, где Данька,— вот будет счастье!» Но я затолкнула эту мыслишку обратно, запретила себе так думать. Значит, надо как-то выкручиваться. А тут один пацан меня за полу дергает, тащит куда-то в коридор. Коридор темноватый, вдали дверка и возле дверки аккуратная надпись: «Nach Hause» и часовой. Смекаешь, Данька? Пацан шепчет: «Тикаем?» И вот мы с ним топаем по коридору с самым небрежным видом. Часовой хватает нас: «Wohin gehen sie?» А мы дуэтом: «Nach Hause». И, представляешь, он нас пропустил. Наверно, не подумал, что найдутся такие ловкачи желторотые. Пока бежала домой, была спокойная, как будто все так и должно быть. Зато дома напала на меня трясучка — до сих пор отойти не могу. Хорошо, что мама-Дуся ничего этого не знает, а то ей стало бы еще хуже.

Письмо одиннадцатое

Сейчас мне кажется, что я давно уже замечала тревогу в нашем ленинградском доме, сумрачное настроение мамы и папы, их приглушенные ночные разговоры. Но это не так. Ничегошеньки я не замечала.

В раннем детстве я была нервная, боялась темноты, и с той поры они никогда не закрывали плотно дверь из своей комнаты в мою. Лучик света лежал на полу, и я долго, пока не засну, гляжу, прижмурившись, на этот лучик, и от него ко мне тянутся золотые, а иногда ярко-оранжевые пики, упираются остриями в меня, в край моей постели, но это ничуть не страшно, а красиво. Это — свое.

Помню, когда я подросла, лучик стал моим тайным помощником. Ведь мне строго-настрого запрещали читать в постели («Глаза испортишь»), ну, я и стала, как только наши уйдут к себе и начнут свою взрослую жизнь, вылезать из постели, беззвучно брать книгу и, стоя в луче, читать. Если книга была увлекательная, я не чувствовала ни холода, ни затекших до каменности ног, пока вдруг у самой двери не раздадутся голоса родителей. Это они ко мне — посмотреть, как я сплю. Тут я опоминалась, в панике одним махом прыгала в постель и с головой укрывалась одеялом. И долго еще лежала, слушала — бух-бух-бух! — удары сердца, чувствовала, как оживают и бегут по онемевшему телу мурашки, как медленно отходят и согреваются заледеневшие ноги.

Но однажды я все-таки попалась. Кажется, это была «Хижина дяди Тома». Да, да, именно она, я теперь все-все вспомнила! За чтением я тогда позабыла все на свете, громко сопела от жалости, слепла от слез, и рукав рубашки у меня промок насквозь, потому что я им утиралась. И вдруг дверь распахнулась. Она больно ушибла мне ногу, я охнула и села на пол. Так и села — с книгой в руках.

Это был папа. Он подхватил меня на руки.

— Что?! Что с тобой?! — И в ту же минуту увидел книгу и все понял.— Ляля, поди сюда, посмотри, чем занимается твоя дочь, когда мы думаем, что она спит!

Прибежала мама, заглянула в «Хижину», спросила:

— Ревела? Ну, правильно. Я тоже была вся зареванная, когда ее читала. Только я читала сидя, а не стоя, и не голая, как ты, а одетая.

Она потерла мне ушибленную ногу, дала сухую рубашку, укрыла одеялом.

— Ну, что будем делать с девчонкой? — спросил папа.

Я решилась и сказала:

— Будем давать девчонке капельку читать перед сном.

Папа и мама переглянулись.

— Полчаса,— сказал папа.— Пускай ложится на полчаса позже.

— Но отрывать полчаса у сна...— начала было мама.

— Ничего. Только чтобы книги были настоящие,— сказал папа.

И начались мои счастливейшие часы перед сном.

Сколько я перечитала за эти получасы! «Детство и отрочество» и «Старшины Вильбайской школы», «Республика Шкид» и «Сказки» Киплинга, «Оливер Твист» и «Дневник Марии Башкирцевой», и «Военная тайна», и еще много-много других, из тех, что папа считал настоящими и сам приносил мне.

Наверно, за этим чтением я пропустила что-то из жизни нашего дома, потому что однажды вечером очнулась от глухого папиного голоса в прихожей:

— Ляля! Ночью взяли Ивана!

И мамин вскрик:

— Как же это? Почему?! Ведь он был в ссылке с самим Лениным.

Иван — это был мой «крестный», как он сам себя в шутку называл. Иван Николаевич Власов. Партийная кличка его была Туляк, родители мои иногда звали его Туляком, и он это очень любил. Приходил он к нам чуть ли не каждый день, как совершенно свой человек. Это он научил меня читать и подарил первую в моей жизни пластинку «Щелкунчик» и сказал, что музыка в жизни человека, пожалуй, важнее чтения.

Я знала его всего — от старой серой тужурочки до суконных стариковских сапог, единственно для него возможных, потому что в ссылке он навсегда застудил ноги. И запах его трубки, и его хриплый, будто насквозь продымленный бас...

— Что это «взяли»? — спросила я.

Родители как-то вяло переглянулись. Папа медлил, мама взяла меня за руку.

— Лиза, мы еще сами плохо понимаем сейчас. Обещаю: как только разберемся, объясним и тебе.

Больше в нашем доме об Иване Николаевиче не говорили. То есть, конечно, говорили, не могли не говорить, но, видно, не при мне.

Вот я подошла к той ночи. К последней ночи, когда у меня еще были папа и мама.

Перед той ночью все было как всегда. Мои полчаса — и «Белеет парус». Но я так никогда и не узнала, чем окончился поход Пети и Гаврика на Ближние Мельницы,— видеть уже не могла эту книгу.

Письмо двенадцатое

Бам-бам-бам!

Что это такое?

Это наш «воскресный благовест». Мы просыпаемся утром выходного под такой благовест: Сергей Данилович бьет суповой ложкой в темный таз для варенья. Выходной! Наш день! День, когда нам принадлежат и мама-Дуся, и Сергей Данилович, и вообще весь мир! Это у нас с тобой было тогда такое ощущение.

Мы в пять минут умываемся и одеваемся. Мы готовы и выступаем в поход. Это уже не семья, а целая организация — так шутит мама-Дуся. Впереди — мы с рюкзаками, позади — мама-Дуся с этюдником и Сергей Данилович с планшетом, в котором, мы это знаем, лежат старые карты и гравюры и схемы. Из рюкзаков потрясающе пахнет пирожками и жареной курицей. Ох, как бы я сейчас набросилась на эти пирожки, на эту курицу! Кажется, ела бы и ела, пока не останется даже косточек. А ведь передо мной лежит лакомство — две черные-пречерные лепешки не то из картофельных очисток, не то из макухи, да и те Коля сунул мне потихоньку от своих, и я уверена, что это его порция.

Но не хочу сейчас об этом.

И вот мы идем по уже просохшей, серо-черной дороге, на которой выдавлена узорчатая прошлогодняя колея. Вон оно, Полтавское поле, уходящее за горизонт, уже зеленеющие острыми язычками травы, среди которой сияют первые одуванчики. А как пахнут трава и земля! Мы балдеем и от простора, и от запахов, мы бегаем, как шалые щенята, мы закидываем головы

и ищем в небе первого жаворонка. А жаворонок — вот он, кувыркается, плещется в океане, пьет эту синь, и кажется, что она переливается, журчит у него в горлышке — такая счастливая, синяя его песня.

Сергей Данилович такой же, как мы, шалый и веселый, у него блестят глаза, он сбрасывает пиджак и расстегивает воротник рубашки, чтоб быть ближе к этой шири, к солнцу, к весне. Ему не терпится поскорее добраться вон до тех холмов, где двести тридцать лет назад были петровские редуты. Сергей Данилович подымается на холм.

— Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, за род свой, за Отечество... А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего!

Мы смеемся и громко аплодируем, но каждого из нас трогают слова Петра. (А как они меня пронзают сейчас, если бы ты только знал! До мурашек на спине!)

Мы уже все-все знаем о двадцать седьмом июне тысяча семьсот девятого года. Знаем, как были одеты преображенцы и семеновцы, мы повторяем с особым удовольствием старинные слова «фузея», «багинет», «палаш». Сергей Данилович поддает нам жару:

— Вы, ребята, только представьте себе: под вашими ногами та самая земля, откуда пошла слава России. И ваш Остап тут сражался и, наверное, мой прапрадед Симеон Гайда. Изменник Мазепа обещал Карлу Двенадцатому, что на Украине к нему перейдут казацкие полки и он сможет тогда взять Москву. Но расчеты Мазепы рухнули — Украина не пошла за ним, народ подымался на борьбу с врагами, и Карл бесплодно растрачивал свои силы, в то время как русская армия все пополнялась и крепла. И вот весной тысяча семьсот девятого года шведская армия подошла к нашей Полтаве и попыталась взять ее штурмом. Гарнизон в Полтаве был маленький, но на помощь пришли вооруженные полтавчане. Они отбили все приступы шведов и продержались до прихода главных русских сил.

— Молодцы полтавчане! — орем мы.— Орлы наши предки!

— Эй, потомки, нельзя ли потише? — унимает нас мама-Дуся.— Даже птиц всех распугали.

— Не мешай им, Дуся, пускай поорут на воле. Это у них от здорового патриотизма.

— Вот это да! А разве бывает нездоровый патриотизм? — наскакиваешь ты на отца.

— Два — ноль в твою пользу,— признает Сергей Данилович.— Посрамил меня, сынку мий. Патриотизм — всегда здоровое и нормальное человеческое чувство.

Розоватый гранит обелисков. Теплая земля. Золотистая дымка пыли над далеким уже городом. Что-то глухо рокочет вдали. Гроза? А может, выстрелы? Мы уже видим, явственно видим перед собой две могучие армии, которые выстроились лицом к лицу у Будищенского леса. Несут на носилках раненного накануне Карла. Над ним колышется серовато-зеленое полотнище знамени, перекрещенное золотыми ветвями и лентами с надписью: «Не знает заката». А рядом с нами на белом могучем коне сам Петр в преображенском мундире с трехцветным шарфом, в пробитой пулею треуголке. Нам даже кажется сейчас, что Сергей Данилович похож немного на Петра. И рост у него дай боже!

— Вот здесь, рядом с нами, был решающий бой. Карл первым начал сражение и прорвался к центру русских войск. Но Петр ввел в бой резервные батальоны и опрокинул врага. Около трех часов длился этот бой и окончился полным поражением шведов. Они бежали, оставив многих своих полководцев в руках русских. Лучшая в Европе армия, которая не знала еще ни одного поражения, потерпела здесь, у Полтавы, невиданный разгром.

Так говорит Сергей Данилович и вынимает карты и гравюры и показывает нам, где именно стоял Петр и где шел бой. И мы уже не орем, не бесимся, а стоим тихие и торжественные. Нам хорошо, мы немного гордимся тем, что стоим здесь, а ты еще горд потому, что тебя зовут Гайда, и ты родился в Полтаве, и, может быть, потомок тех самых победителей.

Пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу, не удивляйся, что я так подробно, чуть ли не с историческими цитатами вспоминаю наши походы. Мне это так нужно сейчас, понимаешь?! Ну, да что тебе объяснять, ты же помнишь тот день, когда в Полтаву вошли немцы. Мы стояли тогда с тобой за закрытыми ставнями в комнате и смотрели в щелку на них, и такая была страшная в нас тоска!

А мама-Дуся подошла сзади и шепчет:

— Не может быть! Не может быть! Нельзя поверить!

И ты тогда вытащил из шкафа какой-то исторический справочник и громко прочитал нам то место, где говорится: «Шведская армия, не знавшая ни одной неудачи, вступила в единоборство со сражавшимися за родную землю русскими солдатами, потерпела полнейшее поражение, которое привело Швецию к упадку». Помнишь? И почему-то это нас успокоило немного; во всяком случае, мы пришли в себя. Но это я отвлеклась.

Мы сидим, все четверо, неподалеку от шведской могилы.

Я развязываю рюкзак и с вожделением заглядываю в него, а ты ворчишь:

— Тризна на могиле поверженных врагов...

Сергей Данилович басит:

— И вовсе не тризна. Исстари русские люди приходят вот так, на могилки, с разной снедью, и это никакое не осквернение, а, наоборот, считается, по обычаю, даже чем-то хорошим — потрапезовать рядом с ушедшими, вроде как помянуть их.

И мы, уже не смущаясь, набрасываемся на еду и, как дикари, разрываем на части румяную курицу. И пьем из металлической крышки термоса сладкий чай с леденцами, пахнущий металлом и духами.

Письмо тринадцатое

Мама-Дуся умерла вчера, 6 января 1942 года, в десять часов двадцать две минуты вечера. Когда прекратилось дыхание, я нарочно посмотрела на часы. Я была одна с ней в это время. Помнила, что нужно закрыть глаза и положить на веки медяки. Где-то читала про это. Я закрыла ей глаза, и вдруг веки дрогнули, глаза снова открылись и взглянули на меня живым взглядом. Наверно, я закричала, потому что ворвалась Таиса, стала причитать, прикладывать ей к губам зеркало, и зеркало уже не замутилось. Таиса тоже хотела закрыть ей глаза, но я не дала, опять тронула веки, и на этот раз глаза закрылись и лицо стало какое-то воздушное, неземное. Потом Таиса помогла мне обмыть ее — тоненькую, беленькую, точеную, совсем как девушка-подросток. Таиса все предлагала остаться на ночь: «Ты со страху с ума сой-

дешь». Но я не захотела. Был комендантский час, я знала что Александр Исаевич уже не сможет ко мне прийти, но мне это было все равно. Я даже рада была, что останусь одна. Даня, я все-все запомнила, у меня в голове точно кинокадры, самые четкие, самые яркие, будто самые лучшие съемки. Все мгновения с того самого дня, как она слегла. И как она попросила альбом с вашими фотографиями, как смотрела на них каждый день, пока в силах была держать альбом. И что говорила, и как глядела, и какие лекарства я ей давала, и какой свет был у нас в комнате, и занавески как на окне шевелились, когда я открывала форточку. Клянусь все это сберечь, все донести, сохранить до вас, спрятать в себе каждую мелочь, потому что ведь это вовсе не мелочь, раз это про нее. Я ведь понимаю, как это нужно будет вам обоим, когда вы оба вернетесь. Даня, вернись, прошу тебя памятью мамы, ее именем. Вернись, вернись от них, я тебя спрячу, я тебя не дам им, жизнью своей клянусь! Данька, мой самый нужный, мой самый родной...

Письмо четырнадцатое

Прибегали Александр Исаевич и Софья Исидоровна, приходили соседки — сестры Нестеренко. Завели плач в два голоса. Я не вытерпела — попросила замолчать, а потом мне так неудобно стало: ведь они не только по маме-Дусе плакали, а каждая — о своем. Мужья — на фронте, то ли погибли, то ли пропали без вести, жизнь тяжкая, голодная, в городе — враги, все неизвестно, все давит, а тут еще я со своей грубостью. Софья Исидоровна так убивалась, что мы с Александром Исаевичем дали ей капель успокоительных. И она тоже, бедная, оплакивала и себя и Александра Исаевича.

О себе не буду писать, Данька, не хочу. Ты сам понимаешь, что было со мной, но я все замечала, все помнила, все делала, как надо, так что и ты и Сергей Данилович остались бы довольны. Когда понесли на кладбище, я осталась одна. Горобца вызвали в больницу, Софья Исидоровна не смогла проводить из-за больной ноги. Нестеренки побежали домой по хозяйству, а Таиса — тоже в больницу.

— Ты теперь перебирайся к нам,— сказал мне Александр Исаевич,— нечего тебе одной тут оставаться. Да и нам с Софьей Исидоровной повеселей будет.

Но я поблагодарила его и отказалась. Он пробовал меня уговаривать, напоминал, что он старинный друг Сергея Даниловича, говорил, что и Сергей Данилович и ты были бы рады и довольны, что я останусь у них. А я на все его доводы только головой мотала. Кажется, наконец он догадался.

— Ты что, боишься, что вдруг вернутся Даня или Сергей Данилович, а тебя здесь не будет? Да? Так ведь они непременно придут к нам, чудачка ты этакая!

Это-то я и без него понимала. Но уйти из нашей с мамой-Дусей комнаты, из нашего дома, от твоих книг, инструментов, наших с тобой мелочей я просто не могла.

— Ну хоть сегодня-то переночуй у нас,— сказал он наконец,— или хочешь, я Таисию пришлю?

Я опять отказалась. Он меня вдруг обнял, прижал к себе. Тут я увидела, что он стал совсем седой, виски прямо белые, а до этого я никогда, кажется, не замечала. И глаза под очками совсем женские, красивые и грустные.

— Ну, как хочешь, девочка,— сказал он тихонько.— Только бы тебе было хорошо.

И вот все кончилось. Я одна в доме. Заперлась на все запоры. Зажгла лампу на твоем столе. Держусь, Данька.

Письмо пятнадцатое

— Ты повинна убраться отсюда.

— Убраться? Куда?

— Куды хочешь. Твои кимнаты потрибни для большого гостя з Ниметчины. Я мусив тоби зразу сказаты все. Треба выехаты швидче. Треба пидготуваты до його приизду.

Это наш разговор с Тузенко. Он пришел розовый, с расчесанной серебряной бородой, новом картузе и блестящих сапогах — точь-в-точь купец из фильма о дореволюционной России. Сейчас все кварталы в городе разбиты на сотни, и в каждой — свой сотенный начальник. У нас — Тузенко. Говорят, он уже составил списки всех «красных» и всех евреев и свел счеты со своим соседом по дому — столяром Каневским и его семьей.

На прошлой неделе Каневских забрали как коммунистов, хотя сам Каневский, кажется, не был членом

партии. А все потому, что Тузенке понадобился целый дом.

Знаешь, я сначала не хотела верить этим слухам — не верилось в такую человеческую подлость. Но вот он пришел, я увидела его маленькие глазки, потонувшие в розовых щеках, услышала его «добросердечный» голос — и вдруг сразу поверила. А он и на меня поглядывает.

— Ось, яка гарна дивчина серед нас живе! — и потянулся погладить меня по щеке.

Я отскочила, а он знай похохатывает. Но это не помешало ему опять повторить, чтоб я освободила квартиру не позже послезавтрашнего дня.

Я сказала:

— Товарищ Тузенко, мне нельзя отсюда уезжать. Я должна остаться здесь.

Он вдруг покраснел, как помидор, обозлился.

— Гусь свинье товарищ, а я тоби не товарищ, а господин Тузенко! Чому ты не можешь уехать?

— Я обещала Евдокии Никаноровне, что останусь, никуда отсюда не уйду.

Зачем я это сказала, сама не знаю. Просто вырвалось. Тузенко загоготал:

— Го-го-го! Мертвякам обицяння — не обовъязкови... Швидко убирайся!

И пошел, все поглядывая на меня, как кот на блинчик.

Думаешь, я заплакала, загоревала? Ничуть. Нет, Данька, после того, как не стало мамы-Дуси, меня уже ничто не трогает. Такое ощущение, будто не со мной все это происходит, а с кем-то, до кого мне почти нет никакого дела. Обидно только, что обещание, которое я дала маме-Дусе, сразу приходится нарушить. Но я себя успокаиваю: в городе-то я останусь, а здесь вы оба всегда меня найдете. Придется, видно, согласиться на предложение Александра Исаевича — буду жить у Горобцов.

Письмо шестнадцатое

Что-то ничего я не пойму. Ведь они меня так приглашали к себе — и Александр Исаевич и Софья Исидоровна! Александр Исаевич даже много раз повторял, что им со мной будет веселее и счастливее жить, что

Софья Исидоровна очень этого хочет. А вчера, когда я пришла к ним, Софья Исидоровна встретила меня ласково, но как-то словно рассеянно. Рассеянно погладила меня по плечу, рассеянно выслушала про то, что Тузенко выселяет меня. Вздохнула.

— Да-да, это большая неприятность, Лизанька... Вот какие времена...

Я ждала, что она сейчас же скажет: «Ну вот, теперь ты наконец поселишься у нас» — и прибавит что-нибудь еще хорошее. Но она ничего такого не сказала. Александра Исаевича не было дома, он задерживался в больнице, а Софья Исидоровна расхаживала по комнате, что-то все брала в руки — то вешалку, то солонку — и все потом ставила куда ни попало. Наконец я решилась:

— А можно мне теперь жить у вас, Софья Исидоровна? Вы ведь мне предлагали.

Она встрепенулась и странно так, робко посмотрела на меня.

— Жить у нас? Да, Лиза, конечно, конечно, мы тебе предлагали жить у нас... Только знаешь что, девочка, может, не сейчас, может, через несколько дней?

Что такое? Почему через несколько дней?!

Я повторила ей громко, как глухой:

— Мне негде жить. Тузенко послезавтра выкидывает меня на улицу.

— Ах, уже послезавтра! Послезавтра!— И она опять заходила по комнате, что-то забормотала про себя, потом остановилась возле.— Послушай, Лиза, нужно поговорить с Таисой. Может, она тебя приютит? Видишь ли, у нас сейчас такие обстоятельства... Возможно, тебе лучше некоторое время даже не приходить сюда... Александр Исаевич тебе все-все объяснит...

Она очень волновалась, даже руки у нее дрожали, и старалась на меня не смотреть. Я встала. В голове у меня что-то не укладывалось: Горобцы, наши самые близкие друзья, гонят меня?!

Я сказала:

— Ничего не нужно объяснять, Софья Исидоровна. Все понятно. Я ухожу, не беспокойтесь.

Она кинулась за мной, что-то говорила мне вслед, а я бежала бегом и не хотела слушать. Ох, Данька, горше всего, оказывается, обманываться в людях. Горше даже, чем хоронить близких.

Письмо семнадцатое

Временно устроилась у Таисы. Еще ничего не брала из дому. У Таисы мне долго не жить — сестра ее на меня волком смотрит.

Письмо восемнадцатое

Вот как странно: начала писать письма тебе, потом втянулась так, что и не оторваться, и понемногу все это стало не письмами, а настоящим дневником. А помнишь, еще когда я была в шестом, а ты в седьмом классе, мы с тобой решили писать общий дневник. Чтобы каждый из нас ежедневно записывал все самое важное — и происшествия, какие случатся, и мысли, и то, что запомнил и полюбил в книгах. Но почему-то этот дневник у нас тогда не пошел. То есть я помню свои рассуждения по поводу романа Сенкевича «Без догмата» и что я тогда находила в себе сходство почему-то не с героиней, а именно с героем (теперь уже не помню его имени). Ты меня высмеял, сказал, что девчонка никак не может быть похожа на мужчину, да еще взрослого, и доказал мне это как дважды два. А я на тебя надулась и заявила, что у меня теперь пропала охота писать дневник. Сергей Данилович, который никогда не вмешивался в наши распри, вдруг сказал, что ты неправ и что даже в девчонке могут быть какие-то черты, сближающие ее со взрослым мужчиной, что он и сам видит во мне какие-то, хоть и немногие, черты мужского характера.

Я вцепилась в него, очень мне хотелось узнать, что это он во мне разглядел, а он посмеялся: «Уж если ты начала, с легкой руки Сенкевича, заниматься самоанализом, продолжай. Иногда это бывает полезно. Чем яснее человек разберется в самом себе, тем меньше опасность, что он станет дрянью». С этим и ушел в школу. А мы еще долго с тобой препирались и почему-то охладели с тех пор к нашему дневнику. А теперь, как видишь, так пристрастилась писать тебе, что уж и сама не знаю, где кончаются письма и начинается дневник.

Ну, это все рассуждения, я ведь начала сегодня писать, чтобы рассказать о своей встрече.

Вчера во второй половине дня отправилась я к Галке Лялько. Ловкая она дивчина, всегда у нее есть какие-то

родственники или знакомые, у которых можно что-то сменять на продукты. Для мамы-Дуси я все нужное через эту Галку доставала. А сейчас я Таисиной сестре задолжала десять штук картошек, и мне во что бы то ни стало нужно было эти картошки отдать.

Галка меня, конечно, презирает за то, что я ни променять, ни продать ничего не могу. «Неспособная ты какая-то!» — говорит она всегда. Ну, мы с ней квиты — она меня за неспособность презирает, а я ее — за спекулянтские дела.

Стыдно, конечно, ходить к ней за картошкой, а самой гнушаться этим знакомством, да вот как хочешь, а я такая дрянная натура: картошку есть буду, а дружить с Галкой гнушаюсь, хоть она и сестра Наташки Лялько. Наташку ты, конечно, не забыл, нашу тихоню и чистюлю. Помнишь, мы ее в школе Березкой звали.

Березка с родителями уехала куда-то в Россию, а сестрица здесь живет, и живет, видимо, неплохо: когда я вошла, она что-то жевала, на столе у нее, понимаешь, вареники стояли — целая макитра, это в наше-то время! Только она их мигом куда-то утащила и даже крошки со стола смахнула.

Стало мне так противно — просто вот сейчас повернусь и уйду да еще дверью хорошенько трахну на прощание. Но я кое-как сдержалась, отдала ей чулки, получила узелок картошки и ушла.

Вышла от нее, а Ворскла вся красная от заката, точно кровяная, черные редкие кусты, и луга еще совсем голые и уже темные. И уж вовсе черные заворсклянские леса и овраги. Я заторопилась: ходить ведь разрешено только до восьми вечера. Побежала быстро-быстро по булыжнику в гору и слышу — кто-то за мной гонится. Мне бы оглянуться, а я, понимаешь, вдруг испугалась до смерти. Бегу все шибче и шибче, так, что прямо «искры из-под подков», как шутил, бывало, Сергей Данилович. И вдруг слышу:

— Да постой же минутку! Вот бисова дочь! Мне же за тобой не угнаться!

Голос показался знакомым. Я обернулась. Вижу — ковыляет за мной что есть сил Колька Валашников. Ну, помнишь, хромого Кольку из восьмого «Б»? Такой длинный, серый, его еще Ковыляном первоклашки прозвали. А теперь, представляешь, это ковылянье его спасает: немцы ни разу даже не вызывали его и никакая

отправка ему не грозит. Он три или четыре раза попадал в облавы, которые немцы продолжают устраивать на базаре, в Корпусном саду, на улицах. И каждый раз в комиссии только поглядят на его ногу — и сейчас же прогоняют: «Иди, иди, калеки великому рейху не нужны!»

До чего же мне завидно!

Пусть, думаю, была бы у Даньки хромая нога, все равно от этого он хуже не стал бы, зато был бы дома... Ну, это я все так, между прочим. Да и вообще, тогда я еще ничего этого не знала, а тут, когда он меня встретил, я просто обрадовалась: все-таки как-никак свой человек, из школы (а в школе я с ним цапалась из-за стенгазеты и не любила его).

Он доковылял до меня. Мокрый весь.

— Ну, здорова ты бегать, Лизавета!— глазами меня так и ест.— Где была? Чего на Подоле делаешь?

— А тебе что?

— Я тебя серьезно спрашиваю: зачем сюда ходила?

Колька совсем такой же, как был. В том же кургузом пиджачишке, в каком в школу ходил. Только глаза ввалились, дикие какие-то, да на щеках точно паутина. И все лицо с кулачок.

Говорю ему:

— К Галке Лялько ходила за картошкой. А ты чего ко мне пристал: зачем да к кому?

Ковылян посмотрел на меня опять, промолчал, а потом вдруг бух:

— Я слышал, Тузенко тебя с квартиры сгоняет. Сволочь он. Ты давай к нам.

Грубо, точно полено рубит. А у меня внутри, представляешь, все вдруг зашлось: боюсь верить. Ведь к себе, понимаешь, к себе в дом зовет, к своим людям! Говорю ему, а сама чуть дышу:

— Что ты это выдумал? Ведь самих четверо, а домик у вас крохотный. Я ведь знаю, видела. И что твоя мама скажет?

— Мама — как я. Она у меня человек. Давай собирай свои манатки. Через час приду — подсоблю.

И вот стою я, Даня, у нас дома. И не стою даже, а как вошла, так села почему-то на пол и сижу, кругом гляжу. И мысли у меня удивительные. «Вот,— думаю,— жаль, что сюда бомба еще не попала или от пожара все

не сгорело. Тогда все разом исчезло бы и не пришлось бы мне, как сейчас, самой разорять наш дом». Думаю так, а сама вожу глазами по всем вещам, книгам, фотографиям, картинам... Вот тут, в этом углу, сидел и читал нам вслух Сергей Данилович. А здесь, у окна, ты уроки учил и, бывало, оторвешься и предлагаешь мне проветриться — побегать или повозиться. А на диване было местечко мамы-Дуси. Она там под мурлыканье радио что-нибудь чинила, или вязала, или рисовала... Но тут я себя собрала, приказала ни о чем таком не думать и пошла кидать в старую синюю нашу скатерть (помнишь?) что попадалось под руку из вещей и книг. Про мебель Тузенко еще в первый свой приход сказал: «З кимнаты шоб ничого не выносить, ни даже табурета. Тут буде життя для набильшого начальника. Шоб был полный комфорт, чуешь? А об своем барахле не журись».

Так я в тот миг Тузенку ненавидела! «Вот,— думаю,— сейчас схвачу тебя за серебряную бороду, за твои румяные щеки и как начну мутузить, одни репьишки от тебя останутся!»

Но ты меня недаром звал «выдержанный товарищ». Отложила это удовольствие с Тузенкой до другого времени, только кивнула, будто со всем соглашаюсь. Первым делом сняла со стен фотографии — ту, где вы сняты все трое на берегу Ворсклы, и еще одну маленькую, где ты мальчишечкой сидишь в глубоком кресле и держишь на коленях двух мишек. Потом положила рукопись Сергея Даниловича в его старый портфель, два пейзажа работы мамы-Дуси — «Закат» и «Улица», ее новую шубку с каракулевым воротником, кое-какие наши с ней платья и туфли, а потом стала собирать книжки. И это было почему-то самое тяжкое. Все книжки — любимые, все жаль. В конце концов завернула шесть томиков старинного Пушкина, «Дикую собаку Динго», третий том Блока, «Прощай, оружие!» и кюхлевскую «Мнемозину». Ее Сергей Данилович берег пуще глаза, я помню. Связала узел и только стала подымать — пробовать, дотащу ли,— как явился Колька.

— Давай, давай!— и за узел схватился.

— Да ты все-таки маме сказал?

— Сказал.

— И что же она?

— Что «что же»?

— Что сказала?

— Сказала: «Давай!»

Тьфу, дурень какой. И засмеяться хотелось, и заплакать, честное пионерское!

Письмо девятнадцатое

С того вечера, когда я писала тебе в последний раз, прошло уже две недели. Я живу теперь у Валашниковых, на Панянке, в крохотулечной белой хатенке с засохлыми веревками крученого паныча.

Колькина мать встретила меня правда хорошо. Засуетилась, заахала: «Ах, сироточка бедненькая, ах, какая чудная женщина была Евдокия Никаноровна!» За «сироточку» я ее возненавидела было, а за то хорошее, что она про маму-Дусю сказала, все ей простила и сразу ее залюбила (наверно, так не говорят «залюбила», досталось бы мне от Павло Ивановича, да ладно, ты-то меня поймешь).

Конечно, я беспокоилась: в такое время явилась в семью жиличка, бесплатное приложение какое-то, а к чему и к кому — неизвестно. Боялась, что все на меня будут коситься и что и как будет с едой, тоже не знала: ведь у меня денег никаких нет, а вещи продавать или менять — ненадолго хватит. Но Колька — такой молодчинище!— и здесь нашелся: «Будешь маме помогать — кустарить». А мама его, Мария Константиновна, раньше для дамского ателье делала вышивки и цветы, а сейчас в какую-то артель записалась, плетет из ниток салфеточки да мешки шьет. Кому и зачем эти салфетки да и мешки нужны в городе, неизвестно. Но она на этом что-то зарабатывает и меня с охотой приспособила к делу. Ты знаешь, я терпеть не могу разные рукоделья и неспособна к ним ужасно, да тут выбирать не приходилось. Ну и, кроме того, стала по дому помогать, за Марусей присматривать — ведь она что малое дитя. Маруся — это юродивая Колькина сестра. Мне угол отвели за шкафом, рядом с нею.

Ты ее, кажется, не знал, а я несколько раз у Горобца в клинике встречала. Такая красавица эта Маруся — глаз не оторвешь: лицо тонкое, смуглое, алый строгий рот, глаза огромные, с голубым белком, какой описывают у породистых лошадей. Очень похожа на персидских царевен из старинного Корана, который нам, помнишь, показывал Сергей Данилович. Маруся почти моя ровесни-

ца, но едва умеет читать и писать, представляешь? В обычное время она тихая, очень молчаливая, только смотрит пристально, и такое ощущение, что ее глаза всюду за тобой следуют. Руки смуглые, тонкие, все время что-то нервно перебирают, вертят: то ложку какую-нибудь, то платок, то бахромку моей синей скатерти. Спрашивает меня:

— Вы откуда к нам пришли? Вы заколдованная, как я, или обыкновенная?

Я говорю:

— Нет, Марусенька, я обыкновенная.

А она усмехнулась хитренько-хитренько, подмигнула.

— Ну, хорошо, не хотите сказать, не говорите. Только я знаю, что вы заколдованная.

Ночью я проснулась — она надо мной с коптилкой стоит, разглядывает. Мне жутко стало.

— Ты чего?

— Ничего. Я хотела узнать, во что́ вы ночью превращаетесь.

Меня даже дрожь пробрала, так она меня напугала.

Мать любит Марусю больше старшей дочки Веры и больше Коли. Она сказала мне, что сама виновата в том, что дети у нее такие странные.

— Мы, видишь ли, очень древнего дворянского рода. Годуновичи мы. Кровь у нас плохая, а я с этим не посчиталась, вышла замуж за своего родного дядю. Церковь такие браки без разрешения Синода не допускала, так мы в церкви и не венчались, а просто в загсе расписались. Вот нас бог и наказал в детях.

Насчет наказания не знаю, а дети у нее действительно все странные. Верочка, темнолицая, с нервным тиком (щека у нее дергается), хоть и работает на «Металле» и все как будто в ней нормально, но тоже иногда смотрит совсем как безумная Маруся. Коля, сам, наверное, помнишь, какой. По целым дням от него слова не услышишь, все что-то копается в своей каморке. Он, оказывается, теперь всю семью кормит: заделался фабрикантом свечей и коптилок, потом продает их на рынке или выменивает на продукты.

Конечно, тут же припомнился мне Гарибальди: как он лил свечи в Нью-Йорке и как итальянские революционеры отыскали его сидящим перед котлом со свечным салом. Ну, Колька на Гарибальди ничуть не похож, хоть

и варит свои свечки тоже в старом бельевом котле. Варит их на керосинке из какой-то немыслимой дряни, и при этом идет такая вонь, что все кругом задыхаются. У меня и волосы, и платье, и руки пропахли тухлым салом, и кажется, я до самой смерти буду так пахнуть. Но кто посмеет бросить камнем в Кольку? Он кормит всю семью и меня подкармливает, иногда даже что-нибудь сладенькое сует. А главное — он дал мне свою коптилку и приносит масло и керосин, чтобы поддержать это крохотное живое пламя. Без этого гасика во что бы превратилась моя жизнь? Ведь я читаю, и как читаю! Целыми днями и ночами иногда! Никогда столько не читала и за всю свою жизнь не прочла столько книг! Но об этом после.

А сейчас — о моих сомнениях.

Ты тогда смеялся над моей прямолинейностью, над тем, что весь мир делился для меня на белый и черный. Но так было раньше, Данька, до войны, даже до ареста папы и мамы. Уже этот арест меня выбил из этой моей позиции. Папа и мама были «белые» для меня, я всегда думала, что лучше их на свете никого нет. Они «белые», чистые, самые высокие, а их арестовали как «черных»! Что же, значит, они низкие люди, враги? Нет, этого не может быть, никогда в это не поверю! И тут — первая трещина в здании, которое я построила.

Теперь о Кольке. Он комсомолец, а торгует на базаре, спекулирует. Значит, «черный»? А я, которая ем хлеб, выменянный на его свечи, пользуюсь его керосином, с наслаждением жую какие-то сахариновые ириски, которые он мне потихоньку сует,— я, значит, остаюсь чистюлей?! Ну нет, надо честно все додумать до конца, надо и самой себе и тебе признаться, что мир не такой простой, черный или белый, а есть, как мы называли в детстве, и еще цвета, например серо-буро-малиновый. Наверно, я и есть такая серо-буро-малиновая, и нечего мне чистюльничать и свысока смотреть на Колькины махинации. И еще неизвестно, кто хуже: Колька с его торговлей или я, сидящая на шее у этой несчастной семьи, бездельничающая, читающая по ночам «Первую любовь» Тургенева, когда кругом спят полуголодные люди!

Какая же это щемящая книга «Первая любовь»! И почему так случилось, что до сих пор я ее не читала! И когда же, когда мы ее прочитаем вместе, Данька, Данечка?!

Письмо двадцатое

Уже чуть теплеет. В брошенных садах полуобгорелые вишни набухли почками, а мы живем, наглухо запершись, почти не выглядываем на улицу. Вера и Колька — единственные наши связные с остальным миром. А меня и Галка Лялько, и Мария Константиновна Валашникова прямо запугали насмерть: «И носа не показывай — заберут, угонят в Германию, вот скольких уже угнали. Увидят, что ты девка здоровая, что руки и ноги у тебя на месте — сразу заберут». Вот и сижу за семью замками и только питаюсь теми слухами, что приносят на хвосте Вера и Коля. Впрочем, оба они не очень-то разговорчивые, из них за весь вечер вытянешь одно-два слова. По вечерам кроме ставен зашториваем окна еще черными бумажными шторами и сползаемся все к большому столу в комнате Марии Константиновны. Она приносит старую, заляпанную чем-то жирным колоду (может, это Колькин свечной жир?), и мы начинаем играть в карты. Это Мария Константиновна придумала по вечерам играть в старинную игру «Девятый вал». В каком дворянском гнезде прошлого выкопала она эту игру, никто из нас не знает, но научились мы быстро и играем теперь в нее с азартом и на «деньги». Наши деньги — черные сухарики с солью, которые я сушу из страшного сырого хлеба, выменянного Колей на свечи. Соль и сухари драгоценнее алмазов, и, когда ставка полтора сухаря, все ужасно волнуются и мечтают выиграть. Посмотрел бы ты на нас в эти минуты, Данька! Все в стеганках, в каких-то рваных платках, накинутых на голову и плечи. Даже Кольку мать дома водит в своей кацавейке, чтоб отогревался. Рядом чуть теплая железная печурка, через всю комнату труба, и к ней подвязаны старые консервные банки, куда стекает густая черная жидкость. А лица, наши лица! Бледные, вернее серые, плохо отмытые, потому что мыла у нас давно уже нет, потерянные какие-то. И глаза при свете коптилки у всех проваленные, огромные, окруженные темными кольцами. И клеенка под картами, знакомая уже до самой ничтожной дырочки, до старых кругов, оставшихся наверняка от тех времен, когда в доме Валашниковых еще пили по утрам настоящий кофе. За окнами каменная, мертвая тишина, точно все умерли. А иногда вдруг выстрелы — то далеко, то ближе, и тогда все бросают играть и долго слушают, уставясь друг на друга испуганными глазами.

А потом опять шлепанье толстых карт по клеенке: «Моя взятка!» — «Бью!» — «Держите ставку!» — «Э, нет, это мое!»

Как ужасна, как невыносима такая жизнь! Ведь я живая, здоровая, а чувствую себя умершей, давно зарытой в землю. И как вырваться на поверхность, как начать дышать, как начать снова жить?!

Письмо двадцать первое

Вот и наказала меня судьба за мою гнусную прямолинейность. И как наказала! На всю жизнь мне урок. Всю жизнь буду помнить и мучиться буду и никогда себе не прощу, что посмела усомниться в друзьях, заподозрила в последней низости тех, чьего мизинца не стою.

Чуть свет прибежала Таиса: забрали Горобцов. Его и ее. Таиса сказала: Софья Исидоровна давно этого опасалась, даже приготовила какой-то чемоданчик Александру Исаевичу. Еще в ноябре немцы вывесили объявление: «В целях переселения еврейского населения в Палестину и Израиль 23 ноября всем евреям надлежит явиться к 6 часам утра на сборный пункт к Красным Казармам. С собой не брать никаких громоздких вещей, кроме денег, ценностей и хорошей теплой одежды». Тогда многие евреи поверили, что их и вправду повезут в Палестину, но старуха Гуревич, которая, помнишь, жила у Нестеренок, стала вечером раздавать всему двору свои вещи; подушки, одеяла, посуду, деньги.

Нестеренки ей говорят:

— Что вы делаете, бабуся, вам же это самой понадобится.

А она посмотрела на них с усмешечкой:

— Нет, милые мои внучки, мне это уже не понадобится.

И ушла утром, ушла, как все три с половиной тысячи евреев. И больше никто о них не слышал. Только говорили, что часов в семь утра слышали пулеметную пальбу, а потом видели свежие холмы за могилой Котляревского. Горобцы тогда не пошли — они ведь по паспорту русские, и никто их не тронул, но Софья Исидоровна, видно, все время этого ждала. И когда прибежала Таиса и все рассказала, меня так и пронзило: вот почему Софья Исидоровна не захотела, чтоб я жила

у них! Она не за себя — за меня боялась. Их дом перерыли от чердака до подвала, забрали все, что можно было забрать, а она знала, что похожее у меня уже было, и не хотела, чтоб я пережила все это снова. И, конечно, боялась, чтоб и меня не забрали вместе с ними. Вот она какая! А я, подлая, низкая, еще посмела подозревать ее в эгоизме, чуть ли не в скупости! Таиса говорит: Александр Исаевич держался очень хорошо, хотя его поминутно обзывали жидом и издевались, что ему не удалось скрыть свое происхождение. Только когда один из полицаев ударил Софью Исидоровну, он не выдержал, бросился на полицая и так сдавил — еле оторвали. Таиса плакала навзрыд, когда рассказывала. Наверное, она еще не все говорит, что там было,— меня жалеет. Сказала только: подозревают, что донес Тузенко. Недели две назад он просил фельдшерицу Сутохину достать все анкеты доктора и, говорят, бегал на Кобыщаны к каким-то старикам, которые помнили отца Александра Исаевича. Будто бы стращал их, чтоб они показали у немцев, что отец доктора был еврей. Я слушала, и в голове у меня мутилось. Опять хотелось лечь и умереть, чтоб ничего больше не видеть и не слышать. Тут пришел Коля. Я хотела ему сказать про Горобцов. Он меня остановил:

— Не рассказывай. Я уже знаю.

— Откуда?

— Неважно откуда.— Он посмотрел мне в лицо.— Ты не убивайся. Мы потом потолкуем.

— О чем?

— Я говорю: держись. Еще понадобишься.

— Кому, Коля? Кому я могу понадобиться?

Но он дернул плечом и пошел к своему котлу. Больше за весь вечер ни слова.

Письмо двадцать второе

Хочу рассказать тебе о моем сне. То есть, вернее, не хочу: но мне это непременно нужно, иначе я от него не избавлюсь, так и буду носить его в себе.

Я увидела маму-Дусю такой, какой она была перед болезнью: грустная, но твердая, с ее постоянной выдержкой и тихим голосом. Как будто она вернулась, совсем вернулась ОТТУДА. Она спрашивает меня: «Лиза,

а где же наша комната, где моя кровать?» И я вдруг с ужасом вижу, что комната совсем другая, и вспоминаю, что кровать Тузенко оставил там, на нашей квартире, не позволил ее взять. А мама-Дуся с таким недоумением, с таким холодком спрашивает: «А где моя блузка в полоску и синяя юбка?» А блузку и юбку я давно сменяла на картошку. Она опять что-то просит свое, и опять это оказывается проданным, или отданным кому-то, или я это уже сносила. И такая страшная вина моя перед ней так мучает, так рвет мне душу, что я начинаю кричать. И тогда появляешься ты — совсем другой, непохожий на себя, но я твердо знаю, что это именно ты. Ты возишься с каким-то мешком, что-то в нем перекладываешь, завязываешь, и я понимаю, что в мешке этом — мамы-Дусины все вещи. Я радуюсь, что наконец можно отдать ее вещи, но ты берешь мешок и уходишь. Я гонюсь за тобой, открываются бесчисленные двери, я попадаю в светлые пустые комнаты, а ты исчез. Я бегу, кричу, зову тебя, а впереди все тот же свет и пустота. Меня разбудила Мария Константиновна, стала брызгать на меня водой, успокаивать, что-то такое даже шептала надо мной, будто и я такая же, как Маруся. А я долго не могла прийти в себя, долго не могла притронуться к тем вещицам мамы-Дуси, которые у меня еще остались. А вдруг вернется и спросит?

Ну, видишь, какая я стала. Наверное, на меня Валашниковы действуют, они все немножко с сумасшедшинкой.

Иногда ночью накатывает на меня ужас: где ты, что с тобой, куда они тебя увезли? А вдруг тебя давно нет в живых, вдруг они тебя замучили?

Я лежу, и меня подкидывает на раскладушке, так колотится сердце, такая дрожь. Я себя успокаиваю: «Что за чепуха, что за бабьи страхи! Данька здоровенный парень, недаром в школе считался лучшим гимнастом, крутил на турнике «солнце» как никто. И потом Данька хоть немного, да говорит по-немецки, его наша Эмилия Ивановна лучшим «немцем» считала. А по-французски с нами сама мама-Дуся занималась, и я точно знаю: к тем, кто говорит на иностранных языках, фрицы по-другому относятся, не посылают таких на тяжелые работы». И вот я лежу до утра без сна и все себя уговариваю, а когда встаю, то чувствую себя так, будто всю ночь из меня палками пыль выколачивали. Даже о тех, кто пишет, мы

ничего не знаем. Что и где Петро, Гриша Наливайко, Фрося Судьбина? И что там за работа?

Ох, почему, почему ты не пишешь? Что с тобой?

Письмо двадцать третье

Я стала матерью, Данька. Воображаю твое лицо при этом сообщении! Да, повторяю: я стала матерью. И не вскидывайся, пожалуйста, и не бесись, и не затевай разные глупости, а выслушай все хладнокровно и спокойно.

Я стала матерью большого, десятилетнего мальчика по имени Саша. А случилось это вот как.

На днях — нет, не на днях, впрочем, а на ночах, потому что время шло уже к ночи,— собрались мы, как всегда, при коптилке у Марии Константиновны и опять-таки, как всегда, играли в карты. Наш домашний бог — печурка еще чуть потрескивала, а в старом голубом кофейнике дымилась смесь жареных желудей, овса и еще чего-то, что Валашникова зовет «кофейным ароматом». И как же мы наслаждались этим пойлом, как сосала, и прихлебывала, и блаженно посмеивалась над своей порцией бурды сумасшедшенькая Маруся! Наверно, это, по сути, самые счастливые часы нашей теперешней жизни.

Колька сдал карты, мы стали их рассматривать — каждый наклонился к коптилке, и тут вдруг у окна что-то заскреблось. Я сразу дунула на коптилку (у всех нас такой рефлекс). Полный мрак. Через черные бумажные шторы — ни зги. Может, показалось? Но тут опять заскребли.

— Пойду посмотрю,— сказал Колька и поднялся. Мать зашептала:

— Ни-ни-ни, Коленька. Ты в подпол, в подпол полезай. Вдруг немцы?

— Пойду я,— сказала я и в этот миг почувствовала, что они — семья, а я — чужая, приблудная. В темноте я грохнула стулом, и показалось — это выстрел. Дверь не открывалась — что-то мешало. Я толкнула сильнее. В щель были видны звезды: снаружи было светлее, чем в доме. И вот при свете звезд я увидела у самых своих ног что-то темное. Мне показалось — узел. Нагнулась потрогать — и вдруг узел что-то забормотал тоненько-

тоненько. Я подхватила его на руки, втащила в дом.

— Давай,— говорю,— скорее коптилку!

Поднесли коптилку к моему узлу, а из него — два глаза, понимаешь, два синих блестящих глаза таращатся.

— Ты кто? Откуда?

Молчит. Мы с Колькой стали распутывать, стаскивать разные тряпки, лохмотки, остатки каких-то порточков, рубашонок. Мария Константиновна крутится рядом.

— Ох, да вы вшей не наберитесь! Не заразитесь чем-нибудь, он, может, заразный.

А мы знай стаскиваем тряпье. На нем точно на кочерыжке листья наверчены — столько всякого тряпья.

Мария Константиновна свое:

— Дети, дети, отойдите, не трогайте, может, он заразный!

Но тут и Вера, и Колька, и даже Маруся сумасшедшенькая как закричат на нее:

— Мама, не вмешивайся! Это ребенок, понимаешь, ре-бе-нок!

Она как-то сразу стихла, отошла и только издали стала подавать советы:

— Вы его вымойте первым делом. Не простудите, у нас холодно. Коля пусть печку растопит... Щепки? Ну, пускай возьмет те, что на завтра приготовлены. И Марусину кофточку желтенькую возьмите, а простынку я дам. Как вымоете, завернете.

И вот Колька разжег драгоценными, приготовленными на завтрашний день щепками нашу печурку, мы нагрели воды и глиняным мыльцем (есть у нас и такой эрзац, как называют немцы) стали тереть нашего найденыша. Он все молчал, только иногда не то кряхтел, не то постанывал. Смыли с него грязевую кору, и вдруг, понимаешь, как на негативе, проступил светлоголовый, беленький мальчишка. Косточки маленькие, остренькие, как у голодного воробья, все ребрышки наружу, а лопатки, как остовы крыльев, выпирают. Подняли — он ничего не весит. Точно мешочек сухарей, честное слово!

Колька меня спрашивает:

— Как думаешь, сколько ему лет: четыре или десять?

А я и сама не понимаю. И вдруг наш мальчишечка что-то шепчет (он уже в простыне у меня на коленях возле печки сидел).

— Ты что?

— Десять. Десять, одиннадцатый.— И глаза закрыл, и головенка на тонкой шее подвертывается.

Колька как закричит:

— Корми его, корми скорей, а то помрет!

Стали мы пихать в него кашу овсяную, и какие-то лепешки мамалыжные, и кипяток со свекольным повидлом. Но тут вмешалась Мария Константиновна:

— Вы что, уморить его хотите?— и стала сама с ложечки, понемножку его кормить. Только он не доел — заснул у меня на коленях.

И вот собрался наш «военный совет». Что будем делать с мальчиком? Я уже в ту минуту про себя решила: оставляю мальчика у себя, а поскольку я сама в этом доме приблудная, придется мне с ним уйти и поискать другое пристанище. Хотела только попросить Марию Константиновну подержать у себя мальчика до той поры, пока я жилье найду. Мария Константиновна сидит помалкивает; она уже подозревала мои настроения. Но тут вдруг подал голос Колька:

— Мы, мама, его у себя оставим. Вот она (кивок на меня) будет за ним ходить. А насчет кормов ты не беспокойся: я всех вас обеспечу.

Маруся стала руки ломать.

— Я, я буду за ним ходить! Он такой маленький, такой славненький...

Мария Константиновна на меня посмотрела, и я ясно увидела, что она думает: «Опять лишний рот». Мне этот взгляд еще по Ленинграду знаком: Нюра, дворничиха, так на меня смотрела. Но здесь я решила не сдаваться. Думаю: буду в три, в пять раз больше этих салфеток вязать, буду к кому-нибудь на постирушки ходить, мамы-Дусину шубейку продам в конце концов, а не отдам мальчика никому и никуда.

Вера подошла к матери, погладила ее по голове, как маленькую.

— Уж ты, мама, не возражай, сама ведь жалеешь мальчишку.

И вдруг Мария Константиновна как заплачет:

— Да что же это такое, родные дети меня зверем считают! Да когда же я живую душу губила! Разве я за себя хлопочу? Я за вас всех, за вас болею сердцем... Разве я против? Я — за!

Тут мы все принялись ее уговаривать, что никто про

нее ничего худого не думает, а все знают, что она добрая. Вот так я и стала матерью, Данька. За мной сразу как-то все Валашниковы материнские права признали. Ох, пишу тебе и не замечаю, что кругом глубокая ночь, что в гасике масла — на самом донышке. И в ногах моей койки спит, свернувшись клубком, под мамы-Дусиной шубкой мой Сашка. Это его так зовут, моего сына. Он сам мне сказал, когда дня через три немножко отошел.

Письмо двадцать четвертое

Все последнее время я была как в ледяной коре: на улице весна, поют птицы, зацвели первые, уцелевшие от огня деревья, а я смотрю и не вижу. Как машина, двигаю пальцами, что-то делаю, о чем-то даже думаю, а спроси о чем — не вспомню. Нарастала на меня эта кора не сразу. Сначала, когда ушел на фронт Сергей Данилович, я даже плакала, была вся мягкая, чувствительная. Меня можно было легко задеть. Потом, когда забрали тебя, я уж сама стала наращивать на себе корку, чтоб не было так трудно. А на кладбище, когда зарыли маму-Дусю, и после, когда Тузенко выгнал меня с квартиры и когда забрали Горобцов,— вот тогда-то и наросла настоящая броня. Теперь уж мне было все равно. Даже когда увидела, что в нашем доме живут немцы, совсем меня не затронуло. У Валашниковых жизнь тоже проходила как-то мимо меня — вернее, жизни вовсе не было. И вдруг теперь, через много-много дней (мне иногда кажется — много лет), стала кора отходить от меня кусочками, сцарапываться. И все это — Сашок. Подумай только: маленький незнакомый мальчишка, неизвестно откуда взялся, голодный, худущий, почти немой (он сказал пока всего несколько слов), а я опять живая, опять вижу небо, остренькие травинки меж камней, крохотные смятые свертыши-листочки на обугленном дубе!

Письмо двадцать пятое

А про Сашку вот что расскажу. Он из-под Харькова шел с матерью, и, наверно, мать убило у него на глазах. Ничего этого он мне не сказал, но, когда я спро-

сила: «Саша, а где же твоя мама?» — он затряс головой, закричал: «Не знаю! Не знаю! Не хочу!» И глаза у него сделались безумные. Я испугалась, стала его уговаривать, успокаивать, дала крошечку сахара (мне сунул как-то Колька), и он понемногу затих. Ему одиннадцатый год, но он такой тощий, что на вид лет семь, не больше. От меня не отходит, даже за юбку держит, чтоб не ушла куда. И всегда садится со мной на один стул. Я решила больше ни о чем его не расспрашивать и вообще не тянуть за язык. Сам расскажет, когда окончательно оправится. Валашниковым тоже наказала — не донимать его вопросами. Маруся плачет, ревнует Сашку ко мне: «Я тоже хочу мамой ему быть. Пускай я буду мама». И так всхлипывает жалобно, так трясется, что и ее мне надо успокаивать и утешать: «Мы с тобой обе будем Саше мамами, хорошо?» Мария Константиновна с того, первого вечера совершенно переменилась: то и дело сует мне разные тряпицы для Сашки, чтоб я смастерила ему одежонку. Теперь мой сын ходит в клетчатой рубашечке и в спортивных коротких брючках (на длинные не хватило старых Колькиных штанов), вид у него хорошенького пацанчика из вполне благополучной мирной семьи. Как видишь, забот у меня теперь полон рот.

Письмо двадцать шестое

Ох, Данька, какая новость потрясающая! Сегодня Мария Константиновна шла мимо Беседки и вдруг видит — воткнута у самой Беседки палочка и на ней бумажка. И что-то написано. Она без очков читать не может, так взяла бумажку с собой: а вдруг что-нибудь важное написано насчет выдачи продуктов или еще чего-нибудь такого. И знаешь, что это была за бумажка? Листовка! **Наша листовка.** Вот что в ней было написано: «Товарищи полтавчане! Сегодня немцы на глазах у населения расстреляли советских военнопленных. Они сделали это нарочно, чтобы запугать нас, убить в наших людях веру и волю к борьбе.

Не выйдет!

Поклянемся кровью наших братьев, что не покоримся оккупантам! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Непокоренная полтавчанка».

Листовка написана под копирку, ее, видно, размножали. Бумага плохая, желтая. Колька говорит, он видел такую же в самом центре, на стене универмага, только не хотел останавливаться, чтоб немцы не застукали. А у меня, когда я ее читала, внутри все дрожало и горело. Понимаешь, чтó значит «Непокоренная полтавчанка»? Это значит, что где-то здесь, совсем рядом, есть какая-то женщина или девушка вроде меня, которая ничего не боится, действует, борется! Не побоялась написать, размножить, и потом расклеить по улицам под самым носом врага такую листовку! Есть — и работает, и сражается, и показывает своему народу и врагам, что не сломлена страна, что и сила и воля в ней прежние. Господи, как же я завидую этой «Непокоренной полтавчанке»! Как бы хотела увидеть ее, узнать, помогать ей! Может, и я смогла бы что-то делать.

Правда, я совсем не знаю себя. Ни на чем серьезном никогда себя не проверяла. Может, я нерешительная, малодушная или трусиха, или у меня слабая воля,— почем я знаю? Правда, отец и мать у меня были сильные и смелые. Ведь я же видела, как хорошо они оба держались в ту ночь, когда за ними пришли. Так, может, и я, их дочь, не осрамилась бы?! Как меня изводит эта мысль! Но где же и как найти «Непокоренную»?

Письмо двадцать седьмое

Наконец-то Малюченки получили письмо от Петруся. Он в Германии, работает, как видно, на западе. Письмо самое туманное: видно, ничего, кроме «жив, здоров», писать нельзя. А в конце приписка: «Дуже завидую дяде Миките». А дядя Микита года четыре как умер!

Мать Петруся от этой приписки помертвела, повалилась без памяти. Отливали ее водой, а теперь она плачет вторые сутки. И я, с тех пор как прочитала письмо Петруся, места себе не нахожу. Почему от тебя ни звука? Куда они тебя загнали? Ведь знаю я твой характер, Данька! Знаю, что не позволишь собой командовать, не стерпишь и не простишь им ничего, не станешь на них работать. А если так... ведь и они не прощают непокорства. Боюсь додумывать.

Письмо двадцать восьмое

Сегодня Кольке какой-то его знакомый парень шепнул, что в Гадячских лесах будто бы скрываются партизаны. Что и в Шишаках, и в Зинькове, и в Писаревщине действуют подпольные отряды партизан. Колька уверен, что и в городе кроме «Непокоренной» остались подпольщики. Я пристала к Кольке: как бы разыскать кого-нибудь из «непокоренных», связаться с ними. Ковылян насмешничает:

— В подпольщицы собралась? Да кто же тебя вот так, с улицы, примет? Кто ты такая, чтоб тебе открыться?

Он прав. Я понимаю: никто нас, меня в частности, не посвятит в подпольщики, не возьмет «в дело», не доверится просто так, только потому, что у меня честные глаза и открытое лицо. Нужна тщательная проверка, нужны рекомендации комсомольцев, коммунистов, а главное, нужно показать на деле, чего ты стоишь, можно ли тебе что-то поручить, доверить. Я это хорошо понимаю умом... С другой стороны, ведь с чего-то начинали все они, та же «Непокоренная», к примеру. Ведь есть где-то кружок, группа, какая-то «пятерка» или «тройка». Но где? Где? Я сейчас не могу больше ни о чем думать, только об этом. Хоть бы узнать кого-нибудь, получить самое малюсенькое, пусть самое пустяковое поручение на первый раз, только бы не сидеть, как мы сидим за глухими ставнями, за семью замками. Сражаться в засаленные карты, когда весь мир сражается с Гитлером,— да это же такое безмерное преступление! Это смерть, а я жить хочу!.. Жить!

Письмо двадцать девятое

С того дня, как Мария Константиновна принесла листовку, у меня точно открылись глаза. Многое из того, на что я раньше не обращала внимания, сейчас стало мне понятным. Говорили же люди, будто чуть ли не каждую ночь находят на улице убитых немцев. Вера прибежала, сказала: немцы опять поджигали музей, но опять кто-то загасил. А то, что немцы шагают по улицам только втроем-вчетвером, оглядываясь, с автоматами,— это что значит? Тузенко, который ходит по домам и всех перепи-

сывает,— это что? Это значит, что здесь же, в городе, может, совсем близко от нашей улицы, от нашего дома, есть бесстрашные, настоящие люди. У меня все горит, огнем полыхает внутри, так я рвусь к этим людям, так мне нужно их узнать, соединиться с ними, что-то делать. Нельзя, невозможно бороться, не выходя за порог своей хаты. Нет ничего страшнее вот такого бездействия, как наше. У меня все сразу отступило на задний план, даже Саша, даже вот эти мои письма к тебе. Если бы я нашла этих людей и они взяли меня к себе, я б уже тем самым приблизилась бы к тебе и к Сергею Даниловичу, я тоже стала бы бойцом, делала бы то же дело, что и Сергей Данилович. И, понимаешь, теперь я чувствую, я даже уверена, что ничего не боюсь, что я сильная и могу многое выдержать. Честное слово, Данька, это вовсе не девчонство и не пустое хвастовство, верь мне. У меня такое убеждение и крепкая надежда на себя. Я знаю, чувствую, что в страшную минуту жизни смогу поступить, как взрослый, а главное, как честный человек.

И ты тоже верь в меня, Данька, верь мне.

Обрывок начатой листовки: «...наша территория была временно оставлена Красной Армией и захвачена немецкими оккупантами. Фашистские варвары, как голодные псы, набросились на нашу богатую страну и начали ее немилосердно грабить. Они хотели нажраться украинским хлебом и салом, они хотели взять в свои руки природные богатства Украины и всего Советского Союза. Но это им не удалось. Озверели фашисты, кинулись грабить народ, отбирать последний хлеб, последний скот, заставляют народ плеткой и дубинкой тянуть непосильное рабское ярмо. Но за такой кровавый труд не дают ничего. Мало этого — лучших сынов и дочерей Украины фашисты вывозят в Германию, как белых рабов для Гитлера.

Плач и стон народный несется по голым степям Украины. Народ плачет об утраченной свободе, об утраченной культурной жизни, народ плачет о справедливости...»

Письмо тридцатое

Только что была такая радостная, такая веселая, так довольна собой, своей безбоязненностью, своей волей и силой, а сейчас сижу и ем себя поедом: как смела так

поступить, действовать в одиночку, никого не спросясь, ни с кем не посоветовавшись! Разве это по-комсомольски, по-коммунистически? Нет, это просто глупая, индивидуалистическая выходка — вот что это такое! Не похвалил бы меня Сергей Данилович, это я прекрасно знаю! Только и есть мне одно-единственное оправдание: не для собственной славы и пользы я это делала, не хотела для себя играть «роль личности в истории», а во что бы то ни стало загорелось мне самопровериться, узнать, чего я стою по настоящему, человеческому счету. Да и с кем бы я могла посоветоваться? Кому довериться? Спекулянтке Галке? Предателю и полицаю Тузенко? Конечно, остается еще Коля Валашников. Этот вполне свой, верный, но и с ним о таком говорить нельзя. Он надо мной насмехается, я это чувствую. Начну говорить серьезно, чуть не со слезами, а он вышучивает меня, точно я маленькая, ничего не смыслящая девчонка. Вот и провернула я все самолично. Четыре ночи корпела, и Коля очень удивился, когда я потихоньку попросила подлить мне маслица в коптилку.

— Ведь я тебе только залил.

— Знаешь, я ее опрокинула, масло и пролилось.

— Ну и растяпа!.. Придется дать тебе еще чуток. Только уж не опрокидывай.

Соврала ему как маленькая и даже нисколько не стыдилась. Ну, когда все у меня было готово, я объявила нашим, что пойду к Галке на Подол.

— Уже поздно, куда ты пойдешь?— сказала было Мария Константиновна (ни Коли, ни Веры еще не было, я нарочно так подгадала).

Я уверила ее, что быстро обернусь, завязала потуже в платок то, что наготовила, и побежала в Кобыщаны.

Почему в Кобыщаны? А это я заранее себе назначила в Кобыщаны пойти. Там до войны жила наша школьная уборщица, тетя Клава Зубченко, и я у нее раза два бывала. Там все народ рабочий жил до войны. Вот я и подумала: если остался кто-то из прежних жителей, им будет важно прочитать то, что я написала. Потом улицы там просторные, хатки в садах и народа на улицах и в мирное время мало было. И правда, когда я подошла к Кобыщанам, на улицах — ни души. Был еще ранний вечер, деревья в садах распушились, а на небе все розовое, легкое, красивое. Но мне смотреть на это было некогда. Я быстро-

быстро все провернула, где на фонарный столб навесила, где на заборчик, а где просто на дверную щеколду. Назад возвращалась чуть не бегом — уже смеркалось и вот-вот должны были пробить комендантский час.

И вдруг, когда я повернула за угол, навстречу мне целый взвод немцев. Идут, топают, надвигаются, как один огромный темный танк.

Куда деваться? Кругом и впереди — одни пустыри. Чуть поодаль — полусгоревший лимонадный киоск. Мы с тобой редко там бывали и в этом киоске никогда ничего не пили. Как я туда метнулась, сама не помню. Встала позади обгорелой стенки, припала к ней, затаилась, не смею вздохнуть. И в эту коротенькую секунду все вы мне припомнились: и ты, и мама с папой, и Сергей Данилович с мамой-Дусей — всех я увидела, как будто это были долгие сутки, а не секунда одна. Топот вдруг стих. Слышно, офицер подает команду. Кричит кому-то: «Шнель, шнель!» И почти сразу из-за киоска выбегает прямо на меня немец. Пожилой, усы пегие, а сапоги надраены — блестят, светятся. Увидал меня — и застыл. Смотрит. И я на него смотрю, глаз не свожу. «Сейчас схватит, а я ему руку прокушу и ногой дам в живот». Он руку, правда, поднял, но не схватил меня, а только погрозил мне пальцем, повернулся и побежал на дорогу. «Да гбтс ниманд, герр лёйтенант!» — услыхала я из-за стены, и снова раздался топот. Я стояла еще порядочно, все не могла себя заставить выйти из-за киоска, все не могла поверить, что немец меня пожалел. А потом так припустила домой, что до сих пор (а сейчас ночь) не могу отдышаться.

И вот сижу грызу себя: ведь если бы не мое шальное счастье, если б попалась я немцам, они все про меня узнали бы и, конечно, явились бы сюда, к Валашниковым. И тогда уж никто бы не уцелел, я всех бы подвела. И как я смела так самовольничать, когда это не одной меня касается, а всех, всех наших советских людей! Много я на себя беру, много о себе воображаю. Недаром Сергей Данилович говорил, что я чересчур самонадеянна. Нет, больше «самопроверяться» я не буду, хватит. Но где, где мне найти «непокоренных»?

Письмо тридцать первое

Сегодня с утра Саша меня спросил:

— Ты где вчера была?

— На Подол к одной тете ходила по делу.

— Это ты для той тети ночью писала?

Ах ты, маленький чертяка, он, оказывается, все видит, все знает!

Я немножко испугалась — все-таки он маленький, может наболтать чего-нибудь,— поэтому сделала вид, что не расслышала, ничего ему не ответила и постаралась, чтоб он об этом вовсе позабыл: стала ему что-то рисовать, рассказывать. А тут пришел Коля и, как вошел, говорит:

— А я еще одну листовку видел. От руки написана.

И на меня зыркает. А я с Сашком все разговариваю. Колька опять ко мне:

— Чего ж ты не интересуешься, где я листовку видел?

— Ну, где же ты ее видел?

— Совсем близко. На Советской.

Я глаза вытаращила. А он смеется. Кажется, и этот тоже обо мне все знает. Эх, не выйдет из меня конспиратор!

Письмо тридцать второе

Вчера Ковылян ворчливо так меня спрашивает:

— Что ж ты теперь, значит, ничем и никем, кроме Сашка́, не интересуешься?

— Почему ты так думаешь?

— Да вон раньше, когда я приходил домой, ты ко мне сломя голову навстречу летела, расспрашивала, не слышал ли чего о нашем продвижении, о Ленинграде, о Москве, о Киеве, не знаю ли каких новостей с фронтов... А сейчас ничего не спрашиваешь, а только сама все о Саше рассказываешь: что он съел, да что сказал, да как на тебя посмотрел.

— Как тебе не стыдно, Николай! Что ты говоришь?! Ты же знаешь, как я до сих пор жила, как мне тяжко было. Ведь я молодая, здоровая, а здесь, у вас, как в гробу. Я так больше не могу. Мне нужно что-то делать, куда-то руки приложить. Не салфеточки вязать, а такое, чтобы

могло настоящим делом считаться. Я же просила тебя узнать про «Непокоренную», просила найти к ней дорогу, а ты меня высмеял. И так грубо, так нехорошо высмеял. Я теперь к тебе и не приступаю больше.

Ковылян посмотрел на меня сбоку, точно умный ворон из сказки.

— Тогда давай собирайся!

— Куда собираться?

— Ты же кричишь, что хочешь настоящего дела? Вот мы с тобой и пойдем туда, где ты сможешь делом заняться.

Письмо тридцать третье

Пою, пою, Данечка, дорогой мой, самый-самый нужный! Нет, ты не ошибся, и я не перепутала: именно пою третий день и третий день хожу как шальная. Ничего не могу тебе сказать, ничего прибавить, но вот забрезжило, засияло что-то впереди, и я уже не в темнице моей, не в заточении, а выхожу в открытый мир, на просторное поле. Какие люди есть на свете, Данька! И как хорошо, что это наши люди, что они — самые простые, некоторые даже не очень грамотные, а душа у них самая высокая. И еще — закон товарищества, закон большой, великий, суровый. Ты видишь, я уже сама не своя — все в превосходной степени у меня. Это потому, что и я — в превосходной форме. Сашка ко мне пристает:

— Лиза, Лиза, чего это ты петь стала? Почему такая веселая ходишь?

А мне еще веселее от его приставаний. Ух, Данька, еще наделаем мы с тобой дел, еще помянут нас потомки, ей-богу!

Письмо тридцать четвертое

Не хочу войны! Не хочу жить, как животное, думать все время о еде, о тепле, о свете. Не хочу ненависти! Хочу жить с книгами, ходить в театры и кино, ездить в лес, путешествовать по всей стране, смотреть новые города, нюхать цветы, лежать в поле, смотреть просто в небо, на облака! А главное, хочу стать сама человеком и воспитать тоже настоящего человека.

Все эти мысли вызвал во мне Саша. Я только на днях сообразила, что вот я забочусь, чтоб он был тепло и чисто одет, умыт, чтобы он ел досыта, а о воспитании его, о том, что он думает и чувствует, не забочусь никак. А вслед за этим подумала, что и сама я еще не сложилась как человек, еще много во мне всякого сумбура, всякой нечисти и наносного и некому мной заниматься, некому делать из меня то, что нужно. Значит, и мне не по силам воспитать Сашу. Да и как я буду его воспитывать, если я не знаю, что самое главное для человека. И занята я теперь так, что не до воспитания. Заповеди, что ли, узнать у Марии Константиновны? Вон она часто молится и говорит о заповедях, а я знаю только «не убий» да «не укради», то, о чем сказал как-то Сергей Данилович. Для Сашка это неподходяще. Что я могу ему дать для души? Как его ковать? А ковать нужно именно сейчас, я по себе это знаю, по своему отцу, который уже с самых малых лет старался мне что-то внушить. Например — выдержанность, волю, честность. Ну, предположим, все это я сумею как-то внушить Саше, а дальше что? Ведь это не словами нужно внушать, это должно само как-то возникать в человеке. Но подтолкнуть его должна я. А как я это сделаю? Непременно надо для этого урвать время. Попробую посоветоваться. Может, мне что-нибудь подскажут. А то растет мальчик, очень смышленый, привязчивый, вижу, что по душе хороший, но надо же его сделать настоящим!

Письмо тридцать пятое

Теперь уже все можно о ней писать. Ничего больше не нужно скрывать — ни имя, ни адрес, все им известно, все они выследили, всех пытали, всех допросили. Ее звали Ляля Убийвовк. Это товарищи дали ей имя «Непокоренная». Многие ее знали в Полтаве, она здесь училась в десятой школе. Говорят, была очень красивая, ходила раньше с толстой русой косой, потом остриглась, но все равно осталась красивая, и многие ребята по ней сохли. Перед войной училась в Харьковском университете, хотела стать астрономом, и был у нее в Харькове парень, которого она любила. А отец ее работал у нас в «Скорой помощи» главным врачом, я помню, Александр Исаевич был с ним дружен и очень

его хвалил. И вот ее выследили, вместе со всеми ребятами из ее группы, и расстреляли. Сначала, конечно, пытали, били, а потом увезли и расстреляли. Кто говорит, что на Пушкаревском кладбище, кто — по дороге на Ромоданы. Говорят, она крикнула из машины, когда ее везли: «Передайте доктору Убийвовк, что его дочь расстреляли!» Но все это слухи. Коля принес ее письмо и записочку из гестапо, которые кто-то списал у родителей. Ох, какое же это письмо! Я его переписываю, чтоб и ты его знал, Даня, знал, какие у нас люди.

«Дорогие мои! Родные мои! Мне очень жаль, что пришлось так огорчить вас. И очень жаль, что вы совершенно не понимаете меня. (Родные хотели уговорить ее покаяться, чтобы сохранить жизнь, а она это не сделала.) Все равно мне жизни не было бы при них. Так нужно, чтобы смерть принесла какую-нибудь пользу. Вспомните все процессы, что́ дает раскаяние,— бесполезное унижение и обесценивает все предыдущее, а жизни все равно не спасет... Папа, как ты — взрослый человек и такой доверчивый, излишней доверчивостью ты можешь окончательно предать меня. Все самые утонченные моральные пытки используются в своих целях. Свидание с вами было допущено совсем не из человеколюбия! Описать невозможно, нужно тут побывать и все увидеть, чтобы собственными глазами убедиться в этом.

Я, конечно, постараюсь сохранить жизнь, но, если не удастся, мстить за меня нужно! Я не боюсь умирать — все люди умирают, и если придется умирать, то так, чтобы от этого была максимальная польза. Верьте же мне, а не им. Я не ребенок и могла бы вам доказать, что права я. Крепко всех целую. . . . . Ляля».

И еще записочка:

«Родные мои! Мама! Папа!

Я не одинока и чувствую вокруг себя много любви и заботы. Умирать не страшно. Целую всех от всего сердца. . . . . Ляля».

Видишь, Даня, она сама писала, что нужно за нее мстить! Вчера днем я бегала опять на Кобыщаны, но уже не для того, что раньше, а чтобы посмотреть на Лялин дом. Говорят, мать ее сошла с ума, как только узнала, что дочь расстреляна, а отец — крепкий человек, держится хорошо, продолжает работать в «Скорой помощи». На него вообще надеются. И вот я увидела Лялин домик — маленькая беленая хатка. Кругом садик,

и видна за забором терраска деревянная. На терраске Ляля занималась, готовилась к экзаменам. Так мне хотелось войти в дом, поклониться ее матери, повидать отца. Конечно, я не посмела, да сейчас это и невозможно для меня. Наверно, немцы думали, что расстреляют Лялю и все листовки кончатся, все взрывы и их провалы тоже, что все это она делала со своими ребятами. А вышло, что ее и ребят расстреляли, а листовки с надписью «Непокоренная» каждый день продолжают появляться на стенах домов, и ракеты в небе, когда прилетают наши самолеты, показывают им цели, и разные аварии у фашистов продолжаются. Есть еще люди, есть наши мстители, и не смогут нас никогда победить враги!

Письмо тридцать шестое

Надо мне, Данечка, кончать с письмами, прекратить этот дневник или, на крайний случай, зашифровать его. Но вот горе — не знаю я, как это делается, не знаю ни одного шифра, а если бы и знала, то как ты его узнаешь, разберешь, расшифруешь потом то, что я тебе пишу? Ведь неизвестно, когда и как ты будешь читать эти письма мои, буду ли я при этом или меня уже давно не будет на свете. Я так думаю недаром: не надо закрывать глаза. Такое время, такая жизнь, что во всякую минуту надо быть готовым ко всему, даже самому страшному.

Если бы дело шло только о моей личной безопасности, я, наверно, и не подумала бы их прятать, что-то недоговаривать. Так и лежали бы они под тощеньким валашниковским тюфяком, а последние два-три — в кармане пиджака Сергея Даниловича, который я ношу как куртку. Ведь в этих письмах моя жизнь, ощущение свободы, облегчения, без которого я не могу жить. В них наша с тобой дружба. Наша любовь. Сейчас я могу сказать это слово, потому что, наверно, это мое последнее письмо тебе. После одного совсем недавнего разговора с товарищами я поняла, что не имею права писать эти письма. Ведь и наши самые большие революционеры, если им грозило разоблачение, обыск, арест, уничтожали все бумаги, все письма, все, что им было, наверно, так же дорого, как мне. Особенно если это могло подвести товарищей. Оказывается, Коля давно

знал, что я пишу тебе, то есть, наверно, не знал, но подозревал. Ведь еще в школе, ты помнишь, ребята трепались про наш «роман» и меня это и злило и почему-то радовало: «Смотрите, завидуйте...»

Коля первый сказал мне, чтоб я прекратила писать. Если б кто знал, как это тяжело! Но надо отказаться — это жертва для дела.

Слушай, если случится со мной что-нибудь, обещай, что позаботишься о Саше, возьмешь его к себе, сделаешь человеком. И будешь помнить меня. Обещай мне это, Даня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



1. ПРИШЛИ ВРАГИ

«Это было в столовой нашей военной школы. Мы услышали по радио возвещенное маршалом окончание войны: «Надо прекратить борьбу. Я говорю вам об этом с растерзанным сердцем». Изумленные и возмущенные, мы посмотрели друг на друга: «Нет, мы не прекратим борьбу!» Мы бросились к нашему начальнику, полковнику Бенье. Мы требовали, чтобы он повел нас в бой. Мы испытывали прилив необыкновенной энергии, прилив невыразимой ярости и энтузиазма.

На следующий день, рано утром, грузовики увезли нас на фронт. Во всю силу легких мы пели «Марсельезу». Нас было семьсот курсантов и тридцать пять офицеров. Мы были вооружены учебными винтовками, автоматическими ружьями и пулеметами.

В полдень мы были у Луары. Это был фронт. На полях, в виноградниках, во фруктовых садах мы сражались с наступающим врагом, не имея ни минуты передышки. Немцы, направляющиеся к Нанту, перешли Луару. У них была мощная артиллерия, и наши беспрерывно возобновляющиеся атаки были для нас смертоносными. Но как глубоко все мы были равнодушны к смерти!»

Бедный маленький курсант из Сен-Мексана! Бедный мальчик, надевший военную форму в самый страшный для Франции год! Он писал свое письмо матери в те часы, когда уже не существовало ни французской армии, ни обороны, ни самой Франции. Черная свастика развевалась на вершине Эйфелевой башни, и гитлеровские солдаты разгуливали по Парижу, рассматривали известные всему миру парижские достопримечательности. Французские генералы и министры во главе со старым и хитрым маршалом Петеном предали свою страну и армию, отдали их фашистским главарям. За это милостью Гитлера они остались править неоккупированной частью Франции из курортного городка Виши и стали называться «вишийским правительством».

Все произошло так молниеносно, так неожиданно, что армия и народ в первые дни оккупации растерялись: офицеры бросали своих солдат, начальники учреждений — своих подчиненных. Людям побогаче, главным образом тем, у кого были собственные автомобили, удалось бежать из Франции, остальные просто не знали, как существовать дальше.

Среди молодежи находились отдельные смельчаки, вроде курсантов Сен-Мексана, которые еще пытались бороться с гитлеровцами, бросались в бой. Но что могли они сделать своими винтовками против пушек и танков гигантской фашистской армии! Однако для этих юношей невыносима была мысль, что свастика реет над Парижем, что сапоги нацистов топчут Елисейские поля. Молодые французы бросались в бой почти безоружные и, конечно, погибали.

Между тем французские генералы подписали с Гитлером позорное перемирие. Маршал Петен уговаривал по радио французскую молодежь «угомониться», убеждал, что немцы — культурная и гуманная нация, что гитлеровцы с симпатией относятся к французскому народу, уважают его традиции и культуру. Некоторые французы поверили Петену. Они были растерянны и еще не знали истинной цены гитлеровцам, еще надеялись на какой-то гуманизм.

Что же оказалось в действительности?

В действительности гитлеровцы, едва заняв Францию, тут же поспешили ее расчленить. Исконные французские земли — Эльзас и Лотарингию — они присоединили к Германии. Всю остальную Францию разделили на четыре зоны: «неоккупированная зона» с правительством Петена в Виши (в этой зоне была примерно треть страны), «оккупированная зона», в которой находился Париж, затем «запретная зона» — департаменты севера и востока Франции (от Северного моря до Вогезов), которую немцы объявили немецкой и откуда начали изгонять всех французских крестьян, и, наконец, зона вдоль альпийской границы. Эту последнюю зону немцы отдали в подарок Муссолини за то, что он сделался союзником Гитлера.

Карта Франции стала похожей на лоскутное одеяло — все из раздробленных кусочков. В своей книге «Моя борьба» Гитлер написал, что намерен во что бы то ни стало уничтожить Францию. «Цель заключается в том, чтобы сначала изолировать Францию, а затем ее уничтожить».

Стереть с лица земли те страны, которыми он завладел, обезличить, унизить побежденные народы — вот чего хотел фашистский главарь. И, как прочие побежденные им страны, Гитлер отдал Францию на разграбление своим ордам.

Нацисты набросились на французскую землю, как оголодавшие волки. Еще бы: такая красивая, богатая, цветущая страна — страна великих традиций, огромной культуры, законодательница мод, родина великих писателей и художников, страна сокровищ искусства! И они начали тащить и вывозить все, что видели их жадные глаза: уголь и шелк, станки и одежду, произведения искусства и вино, зерно и драгоценности, скот и статуи. Из прославленного своим шелком города Лиона они вывезли сто сорок поездов одного этого шелка. А Геринг, ближайший соратник Гитлера, соблазнился французским вином и приказал вывезти в свои погреба сотни тысяч бутылок французского шампанского.

Французы угрюмо наблюдали за разграблением своей страны. Так вот каковы эти гуманные, культурные, благовоспитанные гитлеровцы, о которых говорил им маршал Петен! Постепенно, день за днем, французы начали постигать правду. Они довольно скоро научились не замечать врагов и, если враги встречались им на улицах, смотреть на них как бы незрячими глазами. Но не видеть, как разоряется, как нищает и начинает голодать Франция, они не могли. А тут еще нацисты объявили поход против того, чем так дорожили и гордились французы,— против французской культуры.

Оказывается, гитлеровцам были ненавистны имена лучших сыновей Франции — великих энциклопедистов XVIII века Дидро и Монтескьё, великих революционеров Марата и Робеспьера, блестящих писателей Анатоля Франса, Ромена Роллана, Анри Барбюса. В огонь их книги, их статьи, стереть всякую память о них! Разгромить библиотеки, мемориальные музеи! А тех, кто пытается протестовать, кто хочет поднять свой голос в защиту этой культуры,— в тюрьму, в гестапо, в застенок!

И начала расти тяжкая, угрюмая ненависть народа к оккупантам.

В учебниках истории еще будет подробно описано, как Гитлер намеревался уничтожить и унизить целые народы. Но народы даже самых маленьких стран, испытавшие на себе страшное иго свастики, укреплялись от испытаний, вырастали, начинали верить в свои силы и победу и показывали удивительные примеры героизма.

Однако Сопротивление родилось не сразу, не с самого начала войны. Еще нужно было время, чтобы оконча-

тельно раскусить врагов, понять обстановку, организоваться. До победы было еще далеко.

Во Франции народное возмущение только тлело, как зачинающийся лесной пожар, лишь изредка вырываясь наружу. Теперь уже никто не верил в доброту и благородство гитлеровцев, и все их фальшивые заигрывания с французами никого не могли обмануть. Если фашист входил в метро, французы вставали и выходили из вагона. Если по тротуару шел гитлеровец, французы демонстративно переходили на другую сторону улицы.

В одном из ресторанов официантка отказалась подавать немецким офицерам: «Расстреляйте меня, но я им подавать не буду!» Однако все это были пока отдельные вспышки. Еще не наступил час настоящей борьбы.

Но вот, как электрический разряд гигантской силы, пронеслась весть: «Гитлер напал на Советский Союз! Советский Союз не намерен покориться! Советский Союз сражается!»

О, какой вдохновляющей, какой ослепительной была эта весть для французов! Наконец-то нашлась страна, не побоявшаяся сразиться с той армией, которая заставила Европу поверить в свою непобедимость, с армией, укрепляющей всюду миф о своей неуязвимости! Наконец-то Гитлер встретил настоящий отпор!

Французы приникли к приемникам. Все с напряжением ждали известий с Восточного фронта. Справится ли Советский Союз с могущественным врагом, сумеет ли отразить нашествие коричневых полчищ? Ведь победа советских людей в те дни была и победой французов!

Русские отразили наступление нацистов на таком-то и таком-то участке. Русские не дали бомбить Москву. Русские начали партизанскую борьбу — все это жадно подхватывалось, просачивалось через неизвестные каналы, распространялось по всей Франции.

Борьба партизан в Советском Союзе немедленно нашла отклик во Франции. На севере, в шахтерских департаментах Па-де-Кале и Нор, зашевелились, начали тайную войну первые группы Сопротивления. Они действовали пока еще не очень решительно: где-то недодали уголь немцам, где-то вывели из строя оборудование шахты, заводские цеха, где-то испортили механизмы... Но уже росло подпольное движение, все больше людей вливалось

в группы Сопротивления: рабочие, фермеры, шахтеры, бывшие военные.

В шахтах работали и советские люди. Одних немцы увезли из Советского Союза как подневольную рабочую силу, другие попали в плен. Французы и русские объединились. «На французской земле мы будем защищать нашу родину»,— говорили советские люди. В лагерях и в шахтах они вступали в группы Сопротивления. Коммунисты, комсомольцы, беспартийные, они стремились здесь, во Франции, помочь своей стране выстоять и победить врага.

Борьба все росла.

В Париже — на заводах, в научных институтах, в лабораториях — тоже возникли группы подпольщиков. В этих группах были студенты, ученые, торговцы, врачи, офицеры, священники. На станции метро Барбес-Рошешуар один из отважнейших бойцов Сопротивления, рабочий-коммунист Жорж, которого позже весь мир узнал под именем полковника Фабьена, выстрелом из пистолета убил офицера-эсэсовца. Этот выстрел стал сигналом вооруженной борьбы французов с оккупантами.

Немцы принялись мстить патриотам арестами, пытками, казнями. В Бордо они расстреляли торговца вином, который «совершал акты насилия против представителей германских вооруженных сил». В Версале отправили на каторгу двух фармацевтов за распространение листовок. В Бретани расстреляли рыбака, который посмел отбиваться от пьяных фашистов. Обо всех этих случаях население узнавало из подпольных номеров «Юманите», газеты французских коммунистов, которая продолжала выходить, несмотря на все репрессии.

В Париже на площади Республики полицейский-регулировщик небрежно отдал честь немецкому офицеру. Тот заставил полицейского маршировать: десять шагов — поворот, рука у козырька, опять поворот и опять — рука у козырька. На третьем повороте полицейский выхватил револьвер, застрелил издевавшегося фашиста и застрелился сам.

Парижские студенты решили возложить цветы на могилу Неизвестного солдата у Триумфальной арки. Фашисты встретили их пулеметным огнем. Восемнадцать студентов были убиты, десятки ранены. Гитлеровцы арестовали восемьсот человек, и многие из арестован-

ных были приговорены к расстрелу. Страну охватило возмущение. На месте расстрела студентов кто-то написал красными буквами: «Убиты фашистскими бандитами». Взрослые и старики, молодежь и дети — все старались хоть как-нибудь выразить свою ненависть к оккупантам.

В Сальсине два паренька прикрепили к церковному шпилю красный флаг. Их поймали и приговорили к двум годам тюрьмы.

Четырнадцатилетний школьник, увидев фашистских солдат, закричал приятелям: «Глядите, идут дорифоры!» (Дорифор — вредитель картофеля.) Фашисты схватили мальчика и заставили тут же, на улице, чистить сапоги всем своим проходившим солдатам. Но за этого мальчика многие другие французские дети отплачивали врагам сторицей. Ребята превратили стены домов, асфальт улиц в школьные доски. Они писали мелом, красками, углем, чем попадется, то большое «В» (по-французски победа — виктуар), то «Долой фашистов!», «Фрицы, убирайтесь от нас», «Оставьте нам наш хлеб, боши!».

Немцы издали приказ: за каждое написанное слово, даже букву, домовладелец приговаривается к штрафу или аресту. А надписи стали еще крупнее, еще чаще!

На парижских бульварах ребята увидели пьяного боша. Мальчишки быстро написали на картоне: «Долой фашизм!» — и прикололи его на спину солдата. Так он и шел по улицам под злорадный смех прохожих.

Сопротивление росло. Ни аресты, ни казни не могли сломить мужество народа.

В угоду Гитлеру правительство Виши разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. Были арестованы люди, которых подозревали в симпатиях к Советскому Союзу. Но рядовых французов это заставило еще с большей надеждой и дружелюбием смотреть на Советский Союз. И все во Франции страстно надеялись, что «боши обломают зубы о Россию».

2. ШТРАФНИКИ

— Ага, наконец-то я вас поймал, мои мальчики! Давно я слежу за этими русскими и наконец все-таки накрыл! Так, значит, это вы подсыпаете толченое стекло в смазку станков? Отлично, мальчики! Что ж, вы до-

бились, чтобы стекло разъедало наши станки, а я вот теперь добьюсь, чтоб вас загнали туда, где разъест ваше мясо и ваши кости!

Вокруг стояли рабочие. Не было сказано ни одного слова. Военный завод — военная дисциплина. Один мастер имел право повышать голос, но и он говорил тихо, будничным тоном. Преступление двух русских парней не было доказано, но кое-какие следы вели к остарбайтерам и, конечно, расправиться с ними было проще простого: враги. Военной мощи Германии нанесен существенный ущерб. Кто в этом заинтересован? Остарбайтеры. Стало быть, оставалось выяснить сообщников и число испорченных станков.

— Когда вы начали? Сколько станков вывели из строя? Кто ваши сообщники?

Это уже у следователя. Даня видит белое лицо Пети Малюченко, своего земляка и товарища. Будет Петька молчать или не выдержит?

Впрочем, теперь дело уже сделано, и неважно, что будет с ними. Лишь бы Петька не проговорился о том немце рабочем, который приносил им истолченное в порошок стекло.

Петька, Петька... Как встрепенулся, как обрадовался Даня, когда увидел его в теплушке, увозившей их всех в Германию! Часть дома. Часть детства. Свой человек. Ведь они знали друг друга еще с тех времен, когда лепили на улице пирожки из глины. А после учились в одном классе, и Петька ходил к ним в дом и знал их всех — и маму, и папу, и Лизу тоже знал. Даньке нравилось, как он говорил о Лизе (а Данька никому не позволял говорить о Лизе!): «И повезло же тебе, Данька! Ведь это такая дивчина, это высшеклассная дивчина! Характерная. Силу воли имеет, как самый большой человек. А глаза какие! Ты только всмотрись в них...» (Как будто Данька никогда не смотрел, не замечал Лизиных глаз!) И еще Петька часто повторял: он уверен, что Лиза будет ждать Даньку, будет ждать, сколько бы ни пришлось. Она верная, чистая, сильная, она все преодолеет, все выстоит.

Данька все отлично понимал и сам, но как ему нужно было это услышать от друга, какая это была радость — после унизительной многочасовой работы на заводе говорить о Лизе и о доме! И вот всему конец. Данька так и не узнал, смолчал ли Петя о том немце и что с ним сталось. Не видел Петю с очной ставки у следователя,

потому что его самого отправили в наказание сюда, в этот северный французский городок, в шахты.

Теплый серый денек был совсем будто свой, русский, где-нибудь под Москвой. В этот ранний час шоссе было почти безлюдно: только промчался немецкий грузовик, полный солдатни, да проехала на велосипеде молоденькая монашка в крылатом, развевающемся на ветру белом чепце.

Колонна подневольных тянулась от рабочего лагеря к шахтам. Здесь были люди самых разных национальностей: итальянцы, испанцы, бельгийцы; было даже два индуса, неизвестно как попавших в лагерь, но теперь работающих вместе со всеми на самом тяжелом участке.

Шоссе вливалось в Бетюн, старинный шахтерский городок, весь темно-серый, с узенькими улочками, где не то что автомобилю — двум прохожим едва разойтись. Островерхие крыши, коньки, затейливые флюгера по фламандской моде. А там, дальше,— центральная площадь, и к небу поднимается нарядный, точно щеголь мушкетер, весь в игольчатом каменном кружеве, храм XIII столетия, главная достопримечательность города. Каждый раз Даня не мог оторвать глаз от этого чуда архитектуры.

«Наверно, сюда до войны ездили любители старины,— соображал он.— Папа, конечно, знал об этом аббатстве, ведь он так интересовался готикой...» И мгновенная горечь подступала к сердцу: где-то теперь отец? Жив ли? И где мама и Лиза?

А над ухом вился неотвязный голос его нового дружка, Пашки:

— Ты гляди, гляди, как здорово живут эти французики! Хоть и ходят, как мы, в деревянных башмаках, а вон сколько одеял на балкончике вытряхивают! И война их не прижала, чертей! А вон, гляди еще, на площади велосипеды стоят без всякого призора. Эх, вот бы стянуть!

Даня вспыхивал.

— Ты что, в уме?! Ты же как будто приличный парень, а от тебя только и слышишь: стянуть, уволочь, стырить, слямзить! Да как тебе не совестно!

— А чего ж тут совеститься? — не смущался Пашка.— Нам велосипед знаешь как пригодился бы...

— Эй, что там за разговоры в колонне? Прекратить! — раздался окрик конвоиров.

Один из конвоиров — рыжий большой детина, в общем невредный, но нетерпеливый и желчный. У него даже иногда можно раздобыть сигарету. Зато три других — типичные злобные нацисты — так и норовят подвести под карцер или под другое наказание. На штрафников они смотрят с откровенной ненавистью.

Раз, два... раз, два... Стук деревянных сабо мерно раздавался на сонных еще уличках. Но вот вдалеке возникали в сером небе вышка, черные пирамиды терриконов, слышалось ровное мощное дыхание какого-то большого механизма. Начинали тянуться заборы, скучные кирпичные здания контор. Угольные разработки.

Французские акционеры отлично сработались с немцами, и, когда те навезли из всех оккупированных стран даровую рабочую силу — пленных и штрафников, начальство шахт выразило немцам глубокую благодарность: наконец-то шахты смогут работать на полную мощность, выдавать уголь, как до войны.

Скрипучие клети, допотопные отбойные молотки, кайлы — все было изношено, ветхо до предела. В шахте часто бывали обвалы, аварии, просачивались отравляющие газы, падали нагруженные людьми лифты — владельцев это ничуть не волновало: ведь там, внизу, работали большею частью подневольные.

Черные глухие ворота.

— Эй, становись! — прокатывается окрик.

Конвойные наскоро, небрежно пересчитывают свое стадо: им хочется поскорее вернуться в казармы при лагере, где они могут плотно поесть, поиграть в карты, отоспаться до позднего вечера — до того часа, когда надо снова идти за шахтерами-лагерниками.

В черную душную глубину опускаются клети, забитые человеческим грузом.

Следователь выполнил свою угрозу: Даня — штрафник. Над ним восемьсот метров земли, угольного пласта, породы, деревянных подпорок. Восемьсот метров до света, до травы, до ручьев, до свежих человеческих голосов. Здесь — только грубый окрик старшего откатчика или сиплые голоса шахтеров. Здесь леденящие сквозняки или сырая, полная едких испарений жара. Здесь захлебывающийся рев молотков, грызущих породу, грохот летящих угольных пластов, стук кайла, лязг вагонеток.

О, эти вагонетки!

Дане кажется, что тянется, тянется, впивается в мозг, в жилы, в тело какой-то бесконечный, выматывающий сон. В этом сне он в черном бездонном аду толкает перед собой вагонетку, наполненную доверху углем. Он катит вагонетку по траншее — узкой, извилистой, ползущей, как червяк, под неровным сводом. Свод этот то немного повышается и можно перевести дыхание, то вдруг опускается так низко, что приходится становиться на колени и ползком, напружинив все тело, толкать перед собой вагонетку. Вот-вот размозжишь голову о выступающие сверху и сбоку пласты и деревянные брусья подпорок. А под коленками — острые, раздирающие тело кусочки рассыпанного угля. Мелкие осколки впиваются в ноги, ранят, на зубах тоже скрипит уголь, и кажется, все внутри полно этой черной вязкой массой.

— Эй, вы там, чего застряли?! — раскатывается по штольне голос старшего откатчика.

Даня подымает голову: значит, это не сон? Вот она, вагонетка. Она сошла с рельсов, проклятая!

Даня уперся ногами, плечом, напряг все мышцы. Никакого результата! Поднять ее, поставить снова на рельсы — нет, на это не хватит сил! Пот ест глаза, надуваются жилы на висках... Неужели это он, Даниил Гайда, считался первым силачом в школе?! Вот как истощили его эти месяцы в Германии и здесь, в шахте!

— Что, интеллигентик, или надорвался? — Павел оттирает его от вагонетки, спиной приподнимает ее и ловко ставит на рельсы.— Вон, гляди, как мы, рабочий класс, действуем!

Дане стыдно и неприятно, что Пашка ему помогает. К тому же и насчет рабочего класса — очередная Пашкина трепотня. Никакой он не рабочий, а просто парикмахерский ученик из Москвы. И к немцам Пашка попал по чистой случайности: поехал перед самой войной навестить тетку под Минском и не успел уйти. Его схватили и чуть ли не с первым эшелоном отправили на работы в Германию. Пашка уверяет, что сюда, на шахту, его отправили в наказание за три побега из лагерей, но правда это или нет, проверить невозможно. Воронин — парень оборотистый, хвастливый, вертлявый, вряд ли Даня стал бы с ним дружить у себя в полтавской школе. Но здесь, в казарме, где Пашка — единственный советский, да еще москвич! К тому же он веселый, общительный, неплохой товарищ. С Данькой Пашка говорит иногда

почтительно, даже угодливо, иногда тоном превосходства: «Мы-де рабочий класс, а вы — белоручки, интеллигентщина». Надавать бы ему когда-нибудь по шее, благо они почти ровесники, но с кем тогда говорить по-русски, с кем вспоминать своих людей, свою землю.

— Эй вы, нажмите там! — опять крикнул старший.

Вагонетка Павла загрохотала на соседних рельсах.

— Тех ребят не видел нынче? — прокричал Пашка. Даня покачал головой.

— Они обещали прийти в перерыв.

И как бы в ответ на его слова из черноты штольни выплыл огонек, качнулся в воздухе, приблизился. Чуть замерцало узкое, бледное лицо Ганчевского.

— Дзень добры! — прокричал он.

Даня и Пашка враз остановили вагонетки. Пускай злится и орет старший — важнее узнать, что им скажет Ганчевский.

— Ну как? Что-нибудь придумали, Стась? — жадно спросил Даня.

Поляк помахал черным пальцем.

— Ниц. Еще не мышлялем.— Ганчевский мог бы сказать и по-русски: «Не думали»,— он немного выучился этому языку у своих родителей, выходцев из царской России. Но то ли по рассеянности, то ли потому, что вопрос был слишком важный, он ответил по-польски. Даня разочарованно вздохнул. Зато Пашка не выдержал.

— Что ж, так и будут думать да гадать, покуда мы здесь не подохнем? — грубо, с яростью буркнул он.

Ганчевский внимательно посмотрел на него.

— То не есть легко,— примирительно сказал он.— То есть бардзо тяжело. Един шаг — и можно пропасть. Опасно! Многий люди можно пропасть! — повторил он.

Даня сказал горячо:

— Неужели ты думаешь, Стась, мы не понимаем, что вы для нас делаете? Мы так вам всем благодарны!

Поляк молча пожал плечами. Потом крикнул по-французски старшему:

— Я ненадолго заберу у тебя откатчиков. Вот этих двух. Они помогут нам поправить крепи.

Старший издали помахал фонарем: слышу, мол, можешь забирать. Стась кивнул ребятам и первый двинулся к черному горлу штольни.

3. ПОД ЗЕМЛЕЙ

В темноте чуть краснели со всех сторон огоньки. Это шахтеры, усевшись на корточки, ели свой сухой обед, запивая его молоком или дешевым вином из плоских фляжек.

Люди так устали уже за первые часы работы, что не могли заставить себя добраться до более просторного помещения в галерее и оставались здесь же, в тесной сдавленной со всех сторон креплениями норе.

В углу, на сваленных кое-как досках, примостились «хозяева» забоя: пожилой горбоносый, с умными насмешливыми глазами Абель Куссо и его друг Флоден — маленький и костистый. Третьим в неразлучной троице был Стась Ганчевский.

Завидев приближающихся, оба француза принялись махать руками и что-то выкрикивать.

— Что такое? Чего это они? Давай, Данька, узнай! — затеребил товарища Павел.

— Победа! Победа! Ваши русские разбили бошей! Разбили наголову! Взяли в плен их фельдмаршала! Расколошматили целую армию! Браво, браво, русские! — В возбуждении шахтеры встали и принялись изо всех сил хлопать по спине и плечам обоих юношей.— Вот уж теперь-то американцы и англичане возьмутся за ум, откроют второй фронт!

— Что случилось? Что они говорят?! Да переведи же мне! — торопил Павел Даню.

— Говорят, наши дали немцам жизни! Разбили в пух целую армию! — Даня был вне себя.— Абель, Абель, расскажите же толком, где это было! Знаете вы подробности? И вообще, от кого вы это узнали? Можно ли этому верить?

— От кого узнал? — Абель сделал смешную гримасу и вдруг завел тоненьким голосом: — «Ти-ти-ти... Говорит Лондон. Говорит Лондон... Ти-ти-ти... Французы обращались к французам...»

— Вы слушали лондонское радио? — догадался Даня.— Когда? И разве за это...—Он осекся.

— Верно, малыш, за это немцы грозят всеми карами,— крикнул Флоден.— Да люди на это плюют. Как покажут стрелки часов десять двадцать вечера, все прилипают к приемникам...

— Даже анекдот такой ходит,— перебил его Абель.—

Кто-то рассказывает: «Знаете, что произошло вчера вечером возле Люксембургского дворца? Было десять двадцать на часах. Какой-то мусульманин убил фашиста, потом вскрыл его и съел его сердце.

— Трижды вранье! — перебивает его другой.— Во-первых, у фашистов нет сердца, во-вторых, мусульмане не едят свинину, а в-третьих, в десять двадцать все слушают английское радио».

Флоден одобрительно засмеялся. Однако Ганчевский заметил нетерпение Дани.

— Послушай, Абель, парням не до анекдотов,— сказал он.— Лучше расскажи, чтó именно ты слышал вчера вечером.

— Знаешь, я просто не мог дождаться утра, чтоб вам обоим это рассказать. Ваши разбили немцев под Сталинградом. Ты бывал там? Нет? Ну, это все равно. Все равно ты должен радоваться такой победе. А победа потрясающая, небывалая. Еще никто и нигде так не разбивал гитлеровцев. Ваши русские это сделали первые. Честь им и слава!

— Ближе, ближе к делу! — опять заторопил Абеля Флоден.

— Дай же и мне порадоваться,— отмахнулся Абель.— Так вот, армией под Сталинградом командовал один из любимых полководцев Гитлера — маршал Паулюс. И Гитлер приказал ему во что бы то ни стало, любой ценой взять город. Даже чуть ли не накануне пожаловал его званием фельдмаршала. А тут вдруг новоиспеченный фельдмаршал Паулюс взял да и сдался вместе со всем своим штабом и генералитетом советским бойцам. Видно, ваши его там здорово допекли. Радио называет Сталинградскую битву невиданной и небывалой в истории войны.

— Сталинград! — воскликнул Павел.— Сталинград! Я все понял, можешь не переводить, Данька! Их отогнали от Сталинграда, взяли в плен ихнего фельдмаршала, разбили в дым! Ох, как здорово, Данька! Праздник, праздник-то какой! А мы тут сидим, гнием...

— Да, да, ты все верно понял! — радостно отозвался Даня.— Счастье какое! Они забрали фельдмаршала Паулюса со всем его штабом! Абель, постарайтесь вспомнить, может, вы или ваши ребята слышали еще какие-нибудь подробности? — возбужденно обратился он к шахтеру.— Ведь это так важно для нас!

— А для нас, думаешь, не важно, малыш? — Абель опять ударил его по плечу.— Да ведь от продвижения вашей армии зависит и второй фронт, и весь ход войны. Чем скорее ваша армия прогонит немцев, тем скорее освободимся от них и мы, и вся Европа. Мы выуживаем из передач все, что мало-мальски касается советских дел. Не беспокойся, сегодня опять будем слушать радио. Все вам перескажем.

Даня взглянул на него блестящими даже в темноте глазами.

— Абель, вы понимаете, как нам теперь невтерпеж? Нам нужно что-то делать, участвовать в войне! А мы здесь похоронены заживо. Возим вагонетки, изматываемся, тратим нашу жизнь, наши силы — и на что?! — Он скрипнул зубами.— Если вы нам не поможете, мы сами что-нибудь придумаем. Но здесь не останемся!

— Не горячись, мальчик.— Абель успокоительно погладил его по руке.— Мы все понимаем. Обещаю, что поговорю о вас с нашими.

Абель уже много раз говорил это таинственное «наши». «Наши сказали», «наши распорядились». И говорил это с таким выражением, что Даня невольно начинал верить в могущество этих невидимых «наших». Абель между тем о чем-то тихо переговаривался с Флоденом. Тот поманил к себе Даню.

— Послушай, Дени, попроси-ка своего дружка, пусть расскажет, когда и из какого лагеря он бежал. Кажется, он говорил, что бежал трижды?

Даня перевел вопрос Павлу. Тот мгновенно вскипел:

— О, черт! Опять допрашивать?! Мало, что ли, было у меня этих дознаний?

— Отвечай им, я тебе после все объясню,— торопливо уговаривал его Даня.— Они хотят знать все точно: даты, названия лагерей, все подробности. Постарайся припомнить.

— Ишь ты, какие любопытные, всё им в подробностях знать нужно! — насмешливо бросил Пашка.— Ну да ладно! За то, что носят харчи, так и быть, все скажу, как было. Переведи ты им, что сперва драпанул из лагеря под городом Резекне. Было это в сентябре сорок первого года. Скитался я по хуторам, голодал, подмерзать начал и попался тут полицаям. Ну, полицаи меня сдали прежней лагерной команде, а та меня в наказание отослала в Гер-

манию, в шталаг под Штетином... Стал я остарбайтером. Оттуда я два раза удирал. В январе сорок второго года, как повезли нас в вагоне на работы, я перемахнул на ходу через борт и повис на руках. Очень страшно было на ходу прыгать. Все-таки я оттолкнулся посильнее и прыгнул. Свалился под откос, ногу ушиб сильно. Так ушиб, что и подняться не могу. Охранники вслед мне стали стрелять из автоматов, но поезд не остановили, думали, что я погиб. А я тем временем отполз в кусты и там схоронился. Конечно, они послали за мной собак и снова меня поймали. Избили до полусмерти, бросили в карцер, а я, как зажили мои рубцы да как выпустили меня из карцера, опять решил: «Уйду, чего бы это мне ни стоило!» Улучил подходящий момент — и давай деру! И все у меня поначалу шло удачно, я уже и до города добрался, да напоролся на лагерного конвойного. Он меня сразу узнал — наверно, морда у меня приметная, что ли,— и уж после этого меня, как неисправимого, сюда заслали. Считают, отсюда уж не убегу. Только шалишь, и отсюда можно удрать, но на этот раз умненько все организовать... Послушай, Данька,— прервал вдруг свой рассказ Павел,— а с чего это им все знать нужно? Что за цель у этих шахтеров?

— После поговорим,— опять бросил Даня и принялся переводить на французский то, о чем рассказал Павел и что он вкратце уже слышал раньше.

— Коммунист? — спросил Абель, подразумевая очевидно Павла.

— Комсомолец,— отвечал на этот раз уже сам Павел. Для этого слова переводчика не потребовалось.

Павел сказал удивленно:

— Данька, это почему же они таким вопросом интересуются? Может, и сами они коммунисты?

— Очень возможно,— задумчиво проронил Даня.

Шахтеры между тем продолжали «допрос»:

— А теперь ты, Дени, расскажи, каким образом тебе доставляли на немецкий военный завод толченое стекло.

И Даня, которого можно было резать на части там, у следователя, и он не вымолвил бы ни слова, здесь, в шахте, с полным доверием рассказал трем шахтерам о том, как ему помогал немецкий рабочий и где и когда передавал стеклянный порошок для того, чтобы выводить из строя немецкие станки.

4. ДРУЗЬЯ

Даня и сам не понимал, почему он так откровенен с двумя французами и поляком, которых знал едва несколько недель. Но что-то ему говорило, что здесь, в шахте, он нашел настоящих друзей, которые никому и никогда его не выдадут и помогут в беде.

В самом деле, с тех пор как под землей появились два русских паренька, совсем еще зеленые, молодые, замученные голодовкой и фашистскими лагерями, три шахтера взяли их под свое покровительство. Флоден сам воевал с немцами и знал, что такое наци. Стась, как поляк, сочувствовал «братьям». У Абеля на войне пропал без вести сын, ровесник Дани и даже, как уверял шахтер, похожий на него лицом. Это заставляло Абеля особенно заботливо относиться к «маленькому русскому». А уж ради Дани он принимал под свое крыло и Павла, хотя, по правде говоря, Павел ему не очень нравился. «Сам не знаю, что я против него имею, а вот не лежит у меня сердце к этому кудрявому»,— признавался он друзьям.

Шахтеры начали с того, что принесли в своих сумках — мюзеттах — лишнюю порцию еды для русских ребят. Время было тяжелое, и лишняя порция означала очень много для шахтерской семьи. И Стась, и Абель, и Флоден выслушивали у себя дома немало горьких слов вроде: «От семьи отрываешь», «Тащишь чужим еду, когда дома свои голодают». Но Абель не мог смотреть без щемящего чувства на впалые щеки Дани, на синие тени под его глазами. «А вдруг и мой Клод где-то в лагере голодает?» — говорил он себе и все подкладывал и подкладывал еду отощавшим русским.

О себе Даня еще в первые дни знакомства рассказал новым друзьям. Шахтерам было известно, что Дени уже около двух лет в неволе, ничего не знает ни о матери и названной сестре, ни об отце, который с самого начала войны ушел добровольцем на фронт и не смог прислать ни одной весточки, потому что Украину очень скоро заняли немцы.

— Чума проклятая! Всю Европу захватили, негодяи! И когда только мир избавится от этой чумы! — с яростью повторял Абель.

— Никогда не избавится, если все люди не возьмутся за оружие,— возразил ему как-то Даня.— Я еще там,

на заводе в Германии, слышал, что у нас в Союзе, в оккупированных областях, люди ушли в леса, начали партизанскую войну, что почти всюду в русских городах есть подпольные организации. Почему же французы спокойно смотрят на немцев в своих городах, работают на них, выполняют все приказы врагов? Почему французы не берутся за оружие?

— Гм... Так, по-твоему, мы спокойно наблюдаем, как нацисты здесь хозяйничают? — переспросил Абель.— Ох, милый, сказал бы я тебе словечко...

Больше Абель ничего не прибавил, только выразительно посмотрел на присмиревшего Даню. А Даню в тот миг пронзила внезапная догадка: так ли уж спокойно живут-поживают друзья шахтеры? Нет ли у них второй «специальности» там, наверху, после того как кончается их смена? Зачем им понадобилось расспрашивать его и Павла, узнавать, правду ли они сказали о себе, о побегах из лагерей?

Шахтеры часто говорят между собой о каком-то Шарле: «Шарль приказал», «Шарль направил». И Абеля слушаются не только потому, что Абель здесь старший по возрасту. Нет, и Стась и Флоден беспрекословно ему подчиняются, выполняют все, что он приказывает, а приказывать Абель, как видно, умел: уверенная, спокойная сила исходит от этого большого насмешливого человека. Чувствовалось: Абель прирожденный командир.

Иной раз Дане казалось, что он уже совсем у цели и не сегодня-завтра окончательно убедится, что среди шахтеров есть подпольщики.

Но наступал день, все шло как всегда: уголь, бесконечные тачки, обеденный перерыв и ленивые фразы, которыми обменивались между собой уставшие люди, и Даня решал: «Нет, все это одна только моя фантазия. Никаких здесь нет подпольщиков. Как любил говорить папа: «Курице просо снится». Всюду я вижу партизан!» Но как узнать наверное, как заслужить доверие шахтеров, доказать, что советские ребята — свои, что никогда не выдадут шахтеров, не проговорятся?

Он пытался как бы невзначай задавать Абелю и Стасю «наводящие» вопросы.

В ответ оба шахтера только посмеивались — добродушно и непроницаемо.

Но вот однажды (это было уже месяца через три после их знакомства), когда все они, съев свои скудные

припасы, сидели в забое и ждали свистка, Абель вдруг обратился к Дане:

— Кажется, ты здесь как-то пожалел нас, сказал, что нет, мол, во Франции таких людей, как у вас в России? Сказал, что русские, как только началась война, пошли в партизаны, в леса, стали бить врага из подполья, а французы, по-твоему, только смотрят спокойненько, как наци всем здесь распоряжаются... Так? Говорил ты это?

— Что-то в этом роде говорил,— покраснел ужасно Даня.— Только ведь это я так, вообще...

Он окончательно запутался. Да и стыдно ему стало, что вот так, походя, он обидел французов. Обидел и весь народ, и вот этих замечательных ребят, которые сидят рядом и смотрят на него серьезно и ласково и делятся с ним и Пашкой последней едой.

Абель оглянулся на шахтеров, которые вдруг как по команде уставились на него.

— Должен тебя и твоего дружка успокоить,— промолвил он вполголоса.— Мы здесь не только наблюдаем, мы действуем, и действуем, по-моему, довольно успешно. Как вам кажется, ребята,— обратился он к шахтерам,— правда неплохо мы работаем?

Никто не отозвался. Абель порылся в нагрудном кармане своего комбинезона и вытащил крохотный листок папиросной бумаги. Осветил этот клочок шахтерской лампочкой.

— Вот здесь сказано, что за последние две недели партизаны нашего департамента пустили под откос три немецких эшелона, уничтожили тринадцать солдат и офицеров. Кроме того, подожгли немецкий склад.

— Партизаны?! — задохнулся Даня.— Значит, я догадался, здесь тоже есть партизаны?

— Есть. И даже, может быть, очень близко,— усмехнулся Абель.

— Абель! — окликнул его Флоден.

Абель покивал ему успокоительно.

— Не беспокойся, я знаю, что делаю. Шарль давно распорядился ввести этих ребят в курс дела, да я сам до поры до времени придерживал. Думаю, теперь самое время.

Негромкий хрипловатый голос Абеля Даня запомнил на всю жизнь. И голос этот и то, что Абель говорил тогда в шахте.

...Это было ровно за год до нападения гитлеровцев на Советский Союз. Тоже июнь, но 1940 года. Франция, испуганная, растерянная, отчаявшаяся, сгрудилась на дорогах.

Густые тучи пыли подымались над толпами, заволакивали солнце, мешали дышать. Самолеты со свастикой пикировали на беженцев и солдат, расстреливали бегущих. Кричали дети, потерявшие родителей, и родители, детей которых раздавили или застрелили у них на глазах. Грохот немецких танков нагонял бегущие толпы. Немцы рвались к Парижу. После шести недель боев французская армия перестала существовать. Солдаты и немногие офицеры бросились на юг. В этом бегстве терялись целые дивизии, никто не знал, где командование, где такая-то военная часть, куда идти. Боевые знамена валялись в пыли. Паника охватила даже самых отважных. На случайных привалах офицеры говорили солдатам: «Мы вами больше не командуем. Все смешалось. Франции больше нет. Армии — тоже. Старайтесь пробраться на юг, там, может быть, вам удастся как-то продержаться или переждать войну». Большинство подалось на юг, но некоторые (это были главным образом коммунисты) решили твердо: «Мы — в Париж». «Безумцы,— говорили им остальные,— ведь это верная гибель! Немцы вот-вот будут в Париже. Может, они уже там». Однако отговорить смельчаков не удалось.

И вот в Париж один за другим проникают те, кто не признает поражения, кто не хочет складывать оружие. В Париже у них есть товарищи, они находят друг друга, устанавливают связи, принимаются за работу. В Париже создан подпольный штаб Сопротивления. Штаб этот поручает верным людям организовать боевые группы. В каждом районе Парижа действует по нескольку таких групп. Гитлеровские ищейки сбиваются с ног, ищут главарей, ищут рядовых членов Сопротивления, а патриоты в глубоком подполье борются, сражаются, готовят врагам гибель. По всей Франции, на юге, на востоке, на западе и здесь, в Па-де-Кале, есть свои группы стрелков-подпольщиков, партизан Франции,— франтиреров, или, как их называют сокращенно, ФТП.

Сложнейшая, напряженнейшая, полная тревог и опасностей, отваги и гордости, ненависти к врагам и преданности товарищам жизнь идет в городах и селениях, на фермах, почти в каждом доме. Жизнь, несущая

фашистам гибель, постепенно подготовляющая их изгнание и свободу порабощенному народу. Изо дня в день за спинами врагов кипит работа. Студенты, врачи, крестьяне, рабочие, даже священники и монахи — все, кто ненавидит фашизм, идут в Сопротивление, помогают бойцам ФТП, становятся подпольщиками.

— А вы, Абель? А вы и ваши товарищи...— перебил вне себя от волнения Даня,— вы... тоже ФТП?

Абель гордо усмехнулся:

— Ха! Это только ты, малыш, мог думать, что мы здесь небо коптим! Слыхал ты о тайном саботаже, о том, что здесь, под землей, тоже можно бороться, вредить врагу? Знаешь, сколько недополучили немцы угля за эти месяцы? Знаешь, как бьются с нами, не понимают, почему так мало угля дают шахты, почему так часты аварии и систематически портятся механизмы, почему в прошлом месяце три шахты простояли несколько дней?

— О-о... понимаю. Понимаю.

У Дани сделалось такое напряженно-радостное лицо, что даже Пашка, безмятежно прикорнувший в углу, внезапно обратил внимание.

— Что это ты, Данька, не в себе будто? Опять случилось что? Чего этот длинный тебе наговорил?

Даня поспешно спросил:

— Могу я рассказать об этом моему товарищу?

Шахтеры кивнули.

Едва услышав о Сопротивлении, Павел подбросил вверх свой шлем и заорал во всю глотку:

— Подпольщики?! Правда?! Ух, шут их задери, здорово как! И коммунисты, говоришь?! Ну, Данька, теперь не теряй времени зря, надо нам с ними договариваться. Пускай они нам помогают. Тикать нам отсюда надо обязательно. Проберемся к своим, а коли не удастся к своим, то хоть в ихний какой-нибудь отряд запишемся. Согласен? Только бы гадов этих фашистских бить!

И в радости он бросился обнимать Абеля и других шахтеров, а те только смеялись и сочувственно кивали двум русским ребятам.

5. ГОТОВЯТСЯ

Ярко-зеленые куртки, неуклюжие, свисающие штаны, которые то и дело приходится подтягивать и подвертывать. Деревянные крестьянские сабо, натирающие до

крови ноги. На куртке и штанах громадные черные буквы «СУ», означающие, что ты из Совьет Унион — Советского Союза,— значит, самый отверженный, преследуемый каждым конвойным, беззащитный перед любым фашистом.

Немцы одевали пленных в старье, оставшееся на военных складах еще со времен первой мировой войны. Так они в наказание обрядили и штрафников.

Даня и Павел давно притерпелись к своему нелепому виду, привыкли и не думали о нем. В лагерях зеркал не было, а если бы и нашлись, ни одному из лагерников не пришло бы в голову смотреться: не до того им было. И вдруг в один из дней, когда русские по обыкновению встретились с друзьями шахтерами, те учинили им форменный осмотр.

— Встаньте! Повернитесь! — командовал Абель, освещая поочередно то Даню, то Павла своей лампочкой.— Ох, ну и пугала! Ну-ну, не смущайтесь,— прибавил он, заметив, как ошарашены этим осмотром юноши.— Вы же не виноваты. Это свиньи боши так вас вырядили.

— Нет, в таком виде им нечего и думать бежать. Первый же встречный их задержит и отведет в комендатуру,— сказал Ганчевский.

Флоден насмешливо фыркнул:

— Первый встречный? Значит, и ты выдал бы их немцам?

— Обо мне речи нет. У меня старые счеты с фашистами,— нахмурился Стась.— Я повторяю: пускать их в такой одежде — гиблое дело.

— Послушайте, значит, вы хотите что-то сделать, както нам помочь? — решился спросить Даня.

До этой минуты он все еще не верил, что разговор идет об их бегстве. Волнение, радость, страх — все в нем смешалось.

Абель только кивнул в ответ. Он был сильно озабочен.

— Придется раздобыть другую одежду, как-то ухитриться пронести ее сюда, в шахту, и здесь переодеть ребят,— сказал он, о чем-то размышляя.— Но дело не только в одежде...

— А в чем? Неужто Шарль не разрешает? — возмутился Флоден.— Да что ж он, не понимает, что ли, если мы не вызволим ребят, они вот-вот загнутся! Или ты ему не сказал?

— Не воюй раньше времени, Рауль,— усмехнулся

Абель.— И с чего ты взял, что Шарль не разрешает? Он даже настаивает, чтобы мы как можно скорее снарядили ребят. Обсудил со мной все, все мелочи.

— Они согласились помочь нам бежать,— скороговоркой пересказал Даня Павлу.— Ох, Абель, прошу вас, говорите, что вы там решили?

— Решили отправить вас не позже послезавтрашнего вечера, вернее ночи,— обратился уже прямо к нему Абель.— Нужно, чтоб это было в нашу смену. Ведь вас приводят к шахтам раньше, чем приходим мы, и уводят уже после того, как мы кончили работу и поднялись на поверхность. Так?

— Так, так,— подтвердил Даня, наскоро переводя Павлу то, что говорил Абель.

— Значит, довели вас до шахты, пересчитали, как стадо, втолкнули в клеть, и до свиданья, до позднего вечера? — продолжал Абель.

— Да-да, именно так,— кивал Даня.

— Вот Шарль и считает: надо, чтобы вы ушли из шахты вместе с нами. Если мы вас переоденем в наше платье, дадим вам лампочки, шлемы, вы, пожалуй, сможете выбраться посреди нашей толкучки незамеченными.

— Правильно! Здорово придумано! — одобрил Павел.— Наверняка пройдем.

— А дальше как? — спросил Ганчевский.— Куда и как пойдут ребята?

— Дальше мы дадим им адреса наших людей, раздобудем для них карту. Компас у меня есть,— продолжал Абель.— Надо дать адреса таких людей, у которых они могли бы укрыться, если их будут преследовать или если они попадутся на глаза бошам по дороге. Всем известно: кордоны стоят не только на шоссе, но часто и на проселках. Наткнешься на такой кордон — пиши пропало. А в Аррасе, Сен-Кантене и других городах побольше — всюду немецкие комендатуры и гестапо... Шарль советует все это заранее хорошенько продумать, чтоб не подвести ребят. Ведь они штрафники. Если попадутся теперь — им гроб!

Флоден длинно и мучительно закашлялся — уголь так забил ему горло, что мешал говорить.

— Ребятам надо подаваться туда, где нет бошей, в неоккупированную зону,— прохрипел он наконец.— Мой совет тебе, Дени, пробираться быстрее к границе

Швейцарии. Удастся вам перейти границу,— вы спасены. Сможете там отсидеться до конца войны.

— Да что вы говорите, Флоден! — возмутился Даня.— Разве мы для того бежим, чтобы где-то отсиживаться, пережидать войну? Наоборот, мы хотим как можно скорее попасть туда, где воюют. Мы хотим сражаться. Разве вы думаете, что мы меньше вас ненавидим фашизм?!

Он повернулся к Павлу.

— Понимаешь, Флоден предлагает, чтоб мы бежали в Швейцарию и там отсиживались до окончания войны!

— Пускай он такие свои идейки бросит,— сердито сказал Павел.— За кого он нас принимает, в конце концов? Что мы, дезертиры, что ли?!

Флоден засмеялся, увидев сердитые лица ребят: он и без перевода все понял.

— У, какие храбрые утята! — Он явно подтрунивал над двумя пареньками.— Ты слышишь, Абель, они непременно хотят воевать. Что ты на это скажешь?

— Скажу, что одобряю ребят,— отозвался Абель.— Вот я кое-что принес вам обоим.

Он вынул из внутреннего кармана комбинезона листок бумаги. Бумага была потрепанная, сильно потертая на сгибах, как будто ее много раз развертывали и читали. А может, носили глубоко запрятанной под рубашкой...

Но все это пришло в голову Дане много позже. А в тот миг, в штольне, он увидел под светом шахтерской лампочки расплывшийся фиолетовый карандаш, и по глазам ему ударили давно не виденные русские буквы.

Павел с любопытством глянул через Данино плечо.

— Что за листочки? Ба, гляди, по-нашему написано! Дай-ка сюда!

Он выдернул листок из рук Дани. Медленно, запинаясь, с трудом разбирая расплывшиеся буквы, он прочел:

— «Выполняя свой долг перед Советской Родиной, я одновременно обязуюсь честно и верно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду поддерживать моих братьев-французов в борьбе против нашего общего врага — немецких оккупантов». Все.— Павел поднял голову.— Ни подписи, ни числа нет. Что это такое, Данька, как ты думаешь? И кто это писал?

— По-моему, что-то вроде присяги,— неуверенно сказал Даня. Он обратился к шахтеру: — Где вы это взяли, Абель? И что это такое?

— Неужто не догадался? — Абель посмотрел на «маленького русского».— Таких, как вы, немало сейчас у нас во Франции. Вот ваши люди и дают такое обещание, когда вступают в отряды франтиреров.

— Как, значит...— начал Даня.— Значит...

— Да, есть у нас ваши люди,— кивнул Абель.— Сам я, правда, с ними не встречался, но знаю, что они сражаются вместе с нашими. Кажется, Шарль встречал многих русских.

— Так ваш Шарль может...— Даня запнулся.

— Шарль считает, что вам надо пробираться в Париж,— решительно прервал его Абель.— Там есть нужные люди, вам помогут с ними связаться. В Париже вы получите указания и сможете войти в одну из групп.

— В Париж? — переспросил взволнованно Даня.— Неужто идти в Париж?

— Да. А теперь за дело! — И Абель опять вытащил что-то из внутреннего кармана своего бездонного комбинезона. На этот раз это была небольшая карта.— Благодарите Флодена, это он уломал сынишку отдать вам свою карту с календариком.

Флоден засмеялся.

— Ну, моего Пьера уговаривать не пришлось. Как только я напустил на себя таинственный вид и сказал, что мне нужна карта для двух русских товарищей, он сейчас же отдал ее мне.

Пять голов склонились над картой. Черный палец Абеля медленно передвигался по красным и зеленым квадратам, и за ним внимательно следили четыре пары глаз. Абель немного нервничал: надо было объяснить ребятам все как можно подробнее и понятнее, а до конца смены оставалось около часа. К тому же с минуты на минуту мог появиться кто-нибудь из начальства.

— Выйдете отсюда боковыми улицами на южную дорогу.— Глухой голос Абеля стал еще глуше.— Компас я вам дам. Держитесь лесов и кустарников, а по мере приближения к городам пробирайтесь окраинами или старайтесь их обойти. Главных магистралей избегайте, сельские проселки куда надежнее. Дорога ваша, я вам уже показал, идет на Аррас, Боме, Бапом. Оттуда двинетесь на Перонн, Сен-Кантен, Лаон.

— В Аррасе и Перонне и вообще во всех городках

покрупнее непременно есть немецкие комендатуры и гестапо,— вмешался Флоден.— Там, если попадетесь, крышка!

— Да перестань ты пугать парней заранее! — досадливо кинул Стась.

— Я и не пугаю, а только предупреждаю.

— И предупреждать не надо. Дени сам все отлично понимает, а Поль так и вовсе тертый парень.

Абель сделал им знак замолчать.

— После Перонна пойдете по каналу Сомма — Уаза. Увидите местечко, где нет стражи, там и перейдете канал.

Флоден опять не выдержал:

— Легко сказать — найдете местечко! Я ездил на праздники к родственникам жены в Сен-Кантен, так там бошей как блох всюду понасыпано.

— Что ж, значит, им оставаться здесь? — подал насмешливый голос Стась.

— Говорю просто, чтоб знали.

— К югу от Сен-Кантена увидите громадное кладбище,— продолжал Абель.— Там похоронены те, кто погиб в первую мировую войну. Сейчас оно, говорят, совсем заброшено; некоторые наши смогли там передохнуть, провести ночь, даже, может, и не одну. Сами увидите, по обстановке. Дальше пойдете по тем адресам, которые вам дадут Стась и Флоден.

— Многие придется запомнить наизусть,— сказал Флоден.— Если вас схватят, при вас не должно быть ни одной сомнительной бумажки!

— Давайте я заучу,— тотчас вызвался Даня.— Память у меня была довольна приличная. Не знаю, как сейчас. Говорят, от голодовки она слабеет,— прибавил он неуверенно.

Павел перебил его:

— Что он говорит? Что ты ему ответил?

Даня перевел.

— Ага, давай запоминай ты,— согласился Павел.— У меня эти французские названия в голове не держатся.

Стась вытащил из кармана блузы бумажку.

— Держи! — Он протянул бумажку Дане.— Тутай вшистки свое люди. Учь, учь! — И по-французски: — Даем вам три адреса на первый случай. Это все верные люди, можете не опасаться. Поляки и французы. Они вам помогут, переправят дальше. Будут передавать как по цепочке.

Даня кивнул, не отвечая. Он в эту минуту повторял про себя адреса. Повторял, как когда-то в школе. Три раза, четыре, пять раз. Ага, кажется, теперь крепко сидят в памяти.

Разбуди ночью — и то повторит без ошибки. Он вернул бумажку Стасю и еще раз вслух повторил адреса.

Стась кивнул: все правильно.

Он с невольным сожалением посмотрел на обоих русских.

— Значит, сегодня последний день. Славные вы ребята, честное слово, жаль мне расставаться с вами...

Абель повел своим крючковатым носом. Он о чем-то думал.

— Послушай, Дени, а может, вам все-таки уходить врозь? — спросил он вдруг, поглядывая то на Даню, то на Павла.— Все-таки меньше риска. И потом, уверен ты в своем дружке? Помни, Дени, в такой путь надо выбирать верных товарищей.

Даня вступился за приятеля.

— Вы ошибаетесь, Абель. Павел совсем не плохой парень. И очень смелый.

Он повернулся к Павлу:

— Абель советует нам бежать поодиночке.

— Нет, нет, мы вместе, мы только вместе! — замахал руками Павел.— Вместе куда сподручнее. Скажи ему: в случае чего будем друг за друга стоять.

— Мы решили идти вместе,— твердо сказал Даня.

Абель пожал плечами.

— Ну, дело ваше. Я не возражаю. Тогда до завтра. А завтра...— Он помедлил.— Завтра — в путь.

6. В ТУМАННУЮ НОЧЬ

В черном подземном мире никогда не знаешь, день или ночь там, наверху. Часов у остарбайтеров не было. Свои Павел променял на хлеб в лагере. Данины часы — подарок отца к пятнадцатилетию — давно, еще в первом рабочем бараке в Алленштейне, отобрал немец конвоир.

Поравнявшись со старшим, Даня попробовал спросить его, который час, но тот тоже показал пустое запястье. Буркнул:

— На что тебе? Все равно ваши конвойные придут только к ночи.

Бесконечно тянулось время. Медленно, трудно билось сердце, наливались тяжестью ноги. Еще одна вагонетка... Еще...

Иногда в галерее или на разъездах Даня встречался с Павлом, но они только молча взглядывали друг на друга. Каждый знал, о чем думает другой.

— Что же вы? Я вам свищу, свищу... Пора! — раздался вдруг над самым ухом Дани голос Стася.

Павел уже стоял за ним.

В глубине штольни, под кучей породы,— большой узел. Как удалось его пронести, для Дани навсегда осталось тайной.

— Одевайтесь быстрее. Вы должны уйти отсюда,— командовал Абель.

Сам он вместе с Флоденом упаковывал в две сумки-мюзетты еду для беглецов. При красноватом свете лампочки Даня и Павел сбросили с себя опостылевшие штаны и рубахи с буквами «СУ», натянули комбинезоны, фуфайки, темные куртки, береты. Флоден вытащил из узла две пары поношенных ботинок.

— Это мы со Стасем выкрали из дому потихоньку от жен.— Он посмеивался.— Ну-ка, ребята, примерьте, подойдут ли. В таком деле обувка — самое важное. Вдруг придется бежать, а ботинки как раз и подведут.

Дане ботинки были великоваты, зато Павлу как раз. Абель стащил с себя толстые, домашней вязки носки, протянул их Дане.

— Вот возьми, жена вязала. В них никогда не натрешь ноги.

Он смотрел на Даню. Ему было жаль расставаться с этим мальчиком, так похожим на сына, Клода. Но держать его здесь только потому, что он напоминает ему Клода, какой эгоизм! Сам Клод никогда бы не простил этого отцу. Черт, какая чепуха иногда лезет в голову — слезливая, сентиментальная чепуха! И все-таки Абелю, умному, проницательному, прожившему долгую, нелегкую жизнь, было в эту минуту тревожно, не по себе: отпускать двух русских мальчишек в путь, таящий так много опасностей! И еще по совершенно чужой для них стране. Абелю хотелось сказать ребятам что-нибудь на прощанье,— понятно, не слишком чувствительное, чтоб не засмеяли товарищи. Но он не решился. Только со своим привычно-насмешливым видом крепче обычного хлопнул Даню по спине.

— Совсем потомственный шахтер!

Придирчивым взглядом шахтеры оглядели обоих русских. Кивнули: сойдет. Теперь парни по виду ничем от них не отличались.

— Посильнее подмажьтесь, красавцы, угольком! — напомнил Флоден.— При взгляде на вас всякому должно быть ясно: вот идут настоящие обитатели ада. Вон глядите, как уголь въелся нам в кожу, даже в праздник не отмоешься.

Павел и Даня старательно начернили щеки.

— В руки — лампочки, поверх беретов — шлемы,— продолжал командовать Флоден.— Вот, держите пропуска. Они на чужое имя, но вахтер обычно не смотрит. Да и мы будем поблизости. Устроим такую давку — не до пропусков будет.

Между тем Павел делал Дане какие-то знаки.

— Что такое? — не понял Даня.

— Кормов маловато. Две махонькие торбочки. Разве нам хватит? Сам видел, сколько шагать до Парижа.

— Больше просить не буду,— твердо сказал Даня.— Они и так оторвали у самих себя, может, детский паек нам отдали. Ты ведь знаешь — у них все по карточкам.

— Ну ладно, ладно, я просто так,— пробормотал Павел.— А про деньжата все-таки скажи. У нас ведь ничего нет.

Шахтеры точно поняли. Абель в темноте позвенел монетами. Стась и Флоден тоже что-то высыпали ему в ладонь.

— Вот, держите, ребята, это вам на всякий случай. Больше, к сожалению, не наскрести,— конфузливо промолвил Абель и сунул Дане деньги.

По штольне замелькали неясные тени — это шли шахтеры.

— Смена кончилась. Пошли! — сказал Абель.

У Дани екнуло сердце. Молча, поспешно группа миновала штольню, потом галерею. Никто не обращал внимания на переодетых русских — они выглядели совершенно так же, как остальные.

Возле лифта уже собралась толпа шахтеров. Но если вы думаете, что клеть ждали, весело перебрасываясь шутками, бездумно зубоскаля, вы ошибаетесь. Здесь, как и в забоях, слышался только хриплый кашель шахтеров, их трудное, надсадное дыхание. Мучительно тянулись минуты.

Наконец вот она, клеть. Тело к телу набиваются внутрь шахтеры, прессуются, молча напирают на соседа. Горячо дышит в щеку Дане какой-то черный человек с очень яркими белками. Толчок. Еще толчок. Клеть двинулась, неровно качаясь, подымается. Мелькают тусклые лампочки горизонтов. Скрипят ветхие доски. Все тише, тише скрип. Толчок. Остановка.

Раздвигаются старые двери клети, и сразу густым потоком люди устремляются наружу, к воротам. Там ночь. Чуть льют слабый свет синие фонари. Ага, это очень на руку беглецам. Стоп. Давка! Впереди, у ворот, вахтеры проверяют пропуска. Но так намаялись люди за день, что им невтерпеж эта последняя задержка. Нет, довольно, довольно нас здесь томить! Пускай выпускают, мы больше не хотим ждать!

Передние ряды напирают, поднатуживаются, всем так хочется поскорее по домам. Даня и Павел стиснуты в этой толпе, им трудно дышать. Но это хорошо, это очень хорошо.

— Эй, что вы там копаетесь? Довольно формальностей, пропускайте людей! — кричат нетерпеливые голоса.

Вахтеры отругиваются, но и они люди, им понятно нетерпение шахтеров, и, поддавшись этому нетерпению, они почти не смотрят в наспех развернутые таблички пропусков.

Все ближе, ближе контроль. Даня и Павел — оба напряжены до предела. Сейчас их очередь.

— Выше носы! — шепчет кто-то у самого уха Дани. Кажется, Абель.

Три шахтера следуют вплотную позади. Вот они напирают, и Даня чувствует, как ноги его отделяются от земли и он вместе со всей толпой, как щепка, летит сквозь тамбур, мимо раздраженно орущих вахтеров:

— Пропуска! Предъявите ваши пропуска!

— Завтра! Завтра предъявим! — откликаются насмешливые голоса.

— Ну, теперь глядите в оба, берегите себя,— говорит совсем близко голос Ганчевского.

Даня хочет ему что-то сказать, поблагодарить, но Стась и другие уже исчезли, растворились в кромешной темноте. С неба сыплется ледяная крупа — не то снег, не то дождь. Со всех сторон шлепанье невидимых ног по лужам. Крикнуть друзьям? Нет, невозможно.

Павел изо всей силы дергает Даню за рукав.

— Не мечтай! Тикаем! Быстро!

7. «ШЕЛ Я И НОЧЬЮ И СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»

Дороги как намыленный мрамор: шагу не ступить, чтоб не разъехались ноги. Все куда-то ухаешь или съезжаешь помимо воли вниз, и опять надо карабкаться и опять оскользаться. Дороги с примерзшим сальцем. Под ноги то и дело подкатываются жесткие комья, а в колеях стоят застывшие лужи, которые вдруг коварно лопаются, и ты проваливаешься в ледяную воду.

Дороги сухие, холодные, безнадежные. Катятся по ним прошлогодние листья, ветер свистит тоскливо, и лезет за пазуху, и выстуживает, кажется, самую душу. Дороги темные и безлюдные; ни зги кругом, даже петухов не слыхать. Дороги светлые и оттого особо опасные. Каждый встречный кажется врагом, и торопишься укрыться под кустами, затаиться у какой-нибудь стены, не дышать.

Дороги... Дороги...

Даня дрожал мелкой, собачьей, как он думал про себя, дрожью: куртка промокла насквозь еще дня три назад, просушить ее негде, сырым тяжелым грузом лежит она на спине и плечах. И все-таки где-то глубоко внутри шагает с Даней песня, любимая песня отца. Поет ее Даня про себя, одним дыханием:

...Шел я ночью и средь бела дня
Вдоль городов, озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня-а,
Парни снабжали махоркой...

— Ты чего это бурчишь? — внезапно на ходу обернулся Павел.

Даня вздрогнул, смутился.

— Я? Я ничего. Холодно.

— Эх ты, барышня-неженка! — проворчал Павел.— Нá вот, фуфайку дам.

Он уже расстегивал куртку. Даня замотал головой: нет, нет, не надо, это он просто так, сболтнул, вовсе ему не холодно. Даня был тронут: Пашка, что ни говори, настоящий, хороший товарищ. Вон даже фуфайку свою хотел отдать, хотя и сам застыл так, что слышно, как зубы стучат. А петь Даня больше не будет, загонит песню поглубже, чтоб не пелось, даже дыханием. Александр Исаевич тоже любил эту песню, играл ее на виолончели и как-то, когда все они сидели на красном диване...

Стоп! Стоп, Данька,— запретная зона! Не сметь

вспоминать! Давай шагай, нечего пускаться в какие-то там мемуары! Думай, о чем хочешь, а это трогать не смей! И почему именно эта песня привязалась к нему здесь, на чужой земле! Может, потому, что в песне такой же горемыка беглец, как он, тоже спасался от погони, так же, как он, чувствовал себя загнанным зверем, за которым охотятся, которого выслеживают. И так же, как он, шел «вдоль городов, озираяся зорко...»

Совет друзей-шахтеров выполнен: Бетюн они обошли окраинами. Долго плутали в темноте, попадали в какие-то немыслимо узкие улочки, шли мимо бесконечных складов, сараев. Потом двинулись к югу. Ах, какой же городской парень оказался этот Пашка — он даже с компасом ни разу не имел дела, понятия не имел, как с ним управляться! А Дане очень пригодились походы с отцом, походы по карте, с компасом в руках. Да, но зато у Павла был опыт прежних побегов, и какое-то чисто звериное чутье вело его с первых же минут в кромешной холодной тьме, помогало находить нужное направление.

Скорее, прибавь шагу! Торопись, двигайся, беги! Ведь там, в лагере, наверно, уже заметили, что недостает двух штрафников, уже раздаются звонки по телефону, а может, объявили о побеге по радио. И все их приметы известны теперь каждому кордону на дороге. Быстрее! Быстрее!

А ледяная крупа сыпалась за воротник, стекала колючими струйками по спине, знобила все тело. Даже Павел, хвастун и задира, хвалившийся выносливостью и несокрушимым здоровьем, чертыхался, проклинал собачью погоду и признался, что и у него душа выстыла. Скорее, скорее прибавь шагу, не отвлекайся, помни: главное — уйти! Не смотри по сторонам, на красивые особнячки, где сквозь плотные шторы нет-нет да пробьется теплый лучик света. Ах, зайти бы на этот лучик, в тепло, в сухую уютную комнату, увидеть дружеское лицо, пожать чью-то хорошую руку... Эй, эй, опять размагнитился? Опять мечтаешь? А ну-ка, брат, сейчас же прекрати! Если хочешь, можешь даже петь, можешь считать шаги, только, разумеется, все это про себя. Мимо, мимо... Фермы, рабочие поселки, домики — все это не для них, беглецов. А ноги сопротивляются, ноги не хотят идти по мерзлым кочкам, по чавкающей грязи, меж темных, больно хлещущих кустарников, ноги невольно направляются туда, где человечье жилье, где пахнет хлебом, где из труб вьется дымок.

В первый день, как только рассвело, они набрели на какую-то заброшенную ригу. От усталости и волнения оба тотчас же провалились в сон, хотя, кроме клочков старого гнилого сена, в риге ничего не было. Зато, когда проснулись, уже в сумерках, оба так застыли, что с трудом встали на ноги. На второй день не могли найти пристанище. Было уже совсем светло и на дороге начали попадаться люди, когда они юркнули в полуразрушенный, видно, давно заброшенный домишко. Стекол в окнах не было, и ветер гулял по четырем комнатам, где еще сохранились какие-то рамки на стенах и несколько сломанных стульев.

— Эх, запалить бы костерок из этих стульев, славно бы согрелись! — шепотом мечтал Пашка, обходя комнаты.

В ванной стояла разбитая ванна, но воды не было. Беглецы ходили на цыпочках — уж очень гулко раздавались в пустых комнатах шаги. Даня в изнеможении уселся в угол ванной: здесь как будто меньше дуло. Ни клочка соломы, никакой подстилки. Пашка шарил даже под ванной, но вытащил только деревянный складной коврик.

— Нечего делать, придется ночевать на этой перине.— Он кинул коврик Дане.— Уступаю тебе. Во мне небось сало еще осталось, не все немцы выжали. Я сам по себе мягкий, от рождения. Отосплюсь на своих собственных боках, что твой царь!

Он наморщил курносый нос:

— Вот насчет харчей хуже дело. Тут собственным салом не обойдешься.— Заглянул в свою мюзетту, приоткрыл Данину.— Тю! Да тут и одному нечего пожевать.

Чуть-чуть хлеба, пара луковиц. Что́ эта малость для двух парней, и так отощавших в лагере да еще отшагавших по холоду много километров.

— Вот горяченького бы теперь! — возмечтал Павел.

— Заткнись,— устало посоветовал Даня.— Ешь все, что у нас осталось, мне не хочется.— Он свернулся калачиком в своем углу.

— Ну уж это ты брось! — Павел аккуратно разделил хлеб, положил возле Дани его часть и луковицу.— Изволь лопать, а то совсем ноги протянешь. А я пойду по дому пошарю, вдруг чего-нибудь из жратвы найду.

Сон уже подступал к Дане. Он слышал шаги Павла в доме, потом на лестнице, потом наверху, на чердаке.

Внезапно проснулся от восторженного шепота у самого уха.

— Яичница! Данька, настоящая яичница!

Он с трудом разлепил веки: перед самыми его глазами Пашка держал в берете три больших белых яйца и несколько маленьких голубоватых.

— Там, на чердаке, видно, куры неслись, а голубей было, наверно, видимо-невидимо. Но все это в прошлом, а сейчас вот что там осталось... Живем, Данька!

Яичница! Яичница!

Старая банка из-под олифы — сойдет! Щепки? Тащи их сюда! Здесь, на этих вот каменных плитках, щепками можно развести костерок. Огонек самый крохотный, такой огонек, чтоб ни дымка, ни запаха не проникло за стены, чтоб ни одна душа не заподозрила, что в доме кто-то есть!

С каким вдохновением оба беглеца принялись за дело! В мюзетте Дани нашлась даже соль, завернутая в чистую тряпочку. Что за драгоценный человек Абель — обо всем позаботился!

И вот заклокотала, зашипела, заворковала в старой банке настоящая яичница! Что за беда, что от нее сильно несло олифой, ведь это была горячая восхитительная пища, напоминавшая о какой-то далекой, немыслимой жизни. Все приобрело сразу другие краски, другой вид — и холодный угол ванной, и весь этот пыльный, давно необитаемый дом, и холод уже не так выстуживал тело. И как же сладко спалось обоим после того, как банка была чисто-начисто вылизана!

Ветер все так же задувал в разбитое окошко под потолком, с улицы доносились голоса, свистел далекий паровоз, а они лежали в блаженном сне.

Первый адрес, который дал им Абель: Аррас, старая аптека, возле цитадели Тюренна. Спросить кузину Паскаль.

К Аррасу, старинному небольшому городу в департаменте Па-де-Кале, беглецы приблизились на следующую ночь. С неба сыпало той же ледяной крупой, снежные завитки вырывались из-под ног, бежали по асфальту впереди. В небе — студеном, безлунном — смутно виднелись островерхие крыши, башня ратуши, шпили и купола средневековых зданий. Окраинами беглецы подошли к цитадели Тюренна.

— Должно быть, где-то здесь,— пробормотал Даня, вглядываясь в темные дома.

Закрытые ставни. На улице ни души. Только далеко пыхтит что-то, как будто дышит во тьме большое усталое животное, да лают собаки.

Чу... шаги! Беглецы прижались к какой-то подворотне, вросли в нее, замерли. По темной площади, отбивая шаг, шли трое с автоматами. Немцы? Во тьме не разглядеть.

Внезапно юркий, злой, расторопный зайчик засновал по стенам совсем рядом с беглецами. Зайчик-сыщик, зайчик-доносчик. Фонарь! У этих троих с собой фонарь!

Острый холод пронизал Данины волосы, заставил содрогнуться. Зайчик сновал все резвее, все шарил по дверям, по окнам, вырывал из темноты то кусок ставня, то лепной карниз над старинным входом, то плиту тротуара. Вот он бежит совсем близко, вот сейчас набежит на две пары ног в грубых, заляпанных грязью шахтерских ботинках...

Дане хотелось, чтобы прекратился стук сердца — слишком громко, могут услышать те трое. У самой своей щеки он чувствовал тяжелое дыхание Павла. Все ближе зайчик...

Уф! Ушел! Скрылся за поворотом! Глуше топот за стенами, громче лай собак, почуявших посторонних.

Павел сдернул берет, тихо выругался — лоб был весь мокрый. У Дани пересохло горло. Мучительно хотелось пить.

Они заставили себя оторваться от стены, пойти дальше. Все было тихо. Вот глухая каменная ограда цитадели. К ней прилепилась старинная аптека. Рядом — дом о трех окнах. Тоже старинный дом, где жили, видно, небогатые люди, недаром всего три окна — ведь в средние века, когда строили дом, за каждое лишнее окно приходилось платить большой налог. Все это машинально проносится в голове Дани. «Кузина Паскаль, кузина Паскаль»,— повторяет он про себя. В окнах ни зги.

— Здесь, что ли? — шепчет Павел.

Даня кивает, тихонько стучит в ставень возле старинной двери. Беглецы ждут затаив дыхание. Ни звука внутри, дом точно оглох. Стучать сильнее нельзя.

— Стучи еще,— шепчет Павел.

Даня снова стучит костяшками пальцев, на этот раз — в дверь. Опять текут, тянутся бесконечные секунды. Вдруг у самого плеча Дани бесшумно распахивается ставень.

Окно рядом с дверью приоткрывается, доносится приглушенный голос:

— Кто стучит? Кого вам нужно?

— К кузине Паскаль от кузена Абеля.

Это говорит Даня. Голос у него срывается от волнения.

— Сколько вас?

— Двое.

— Хорошо. Сейчас.

И опять они стоят у старинной массивной двери и ждут. Наконец гремит засов, в темном проеме — маленькая круглая женщина. Еще не видно, молодая она или старая, еще неясно, друг она или недруг, но беглецы уже вступили в тепло жилого дома, уже мерцает где-то в дальней комнате огонек и чья-то рука — маленькая и пухлая — берет за руку Даню.

Проходит полчаса — и вот они сидят за накрытым чистой скатертью столом, перед ними горячая картофельная похлебка, хлеб и даже вино в кувшине, и они едят, едят, едят, пища с тарелок исчезает, как на сеансе фокусника, и беглецов уже сладко размаривает от тепла, от сытости, а главное — от ощущения безопасности. А кузина Паскаль, кругленькая, пожилая, со смеющимися темными глазами и усиками над верхней губой, все бегает на кухню и в кладовку, все болтает непринужденно, даже весело (сна у нее ни в одном глазу, как будто на дворе белый день!).

— Ох, бедные вы мои мальчуганы, ишь как наголодались!.. Так вы русские? Как это здорово! Никогда в жизни не видела русских, а ведь немало прожила на свете. У вас, я где-то читала, почти целый год стоит зима и все занесено снегом, правда? Гитлер напоролся на вас, хорошо вы его отделали. Говорят, какой-то его фельдмаршал сдался вам со всем своим корпусом. Так, значит, вы сейчас в Париж? Да, я слышала, там есть и русские подпольщики. У нас здесь полно немцев, то и дело обходы, обыски, аресты... Но вы не беспокойтесь, Абель правильно сделал, что направил вас ко мне. У меня вы в бóльшей безопасности, чем в любом другом месте. Ведь я, как вам известно, провизор, а провизоры немцам нужней, чем хлеб. Где еще они раздобудут нужные лекарства и наркотики? Вы и вообразить не можете, ребята, сколько среди бошей наркоманов! Еще бы! Убийцам необходимо забыться, одурманиваться, а они все убийцы. Что только

кругом происходит!.. Ну-ну, не буду вас пугать... Абель — мой любимый кузен, мы с ним дружим с самого детства, он меня, бывало, таскал за вихры. Я и так все сделала бы, что только могу, для русских парней, но уж если сам Абель послал... Вы не первые пришли ко мне, я ведь чем могу стараюсь насолить бошам. Придется вам пережцать здесь пару деньков, покуда я не повидаюсь кое с кем. Вам у меня будет уютно, хотя, конечно, с едой нынче большие трудности. Но вы, я вижу, ребята неприхотливые.

Павел давно уже уронил голову на стол и крепко спал, а Даня все еще таращил глаза, все еще старался следить за неумолчной болтовней кузины Паскаль. Кузина Паскаль была такая славная, уютная в своем белом фартуке поверх темного платья, она говорила все глуше, все туманнее были ее очертания, вот и белый фартук расплылся, исчез...

— О, да они, бедняги, заснули, пока я тут болтаю! — раздался голос у самого уха Дани.

Он с трудом поднял голову от стола. Кузина Паскаль смеялась, расталкивала его.

— Ну, забирай своего товарища, и идите оба наверх. Там есть комнатка с широкой кроватью, как раз на двоих. Завтра еще успеем наговориться.

8. ЕСЛИ БЫ ВЫДАЛАСЬ СВОБОДНАЯ МИНУТА...

Да, если бы выдалась когда-нибудь, в будущем, свободная минута, свободная от заданий, от боев, от других, более важных в ту минуту мыслей, Даня вспомнил бы во всех подробностях бегство из шахты. Он вспомнил бы гудящие от ветра дороги, мерзлые комья земли, шипы кустарников, впивающиеся в брюки, цепляющиеся за куртки, рвущие их в лохмотья. Он вспомнил бы и ту бутылку с холодным кофе, что дала ему и Павлу в дорогу кузина Паскаль, носки ее покойного мужа, надетые взамен рваных и сырых. И опять — ощущение опасности, подстерегающей за каждой стеной, за каждым углом. И опять еле различимые в темноте тропки, и грызущий голод, и такое мучительное чувство, что вот сейчас, сию минуту, во что бы то ни стало надо найти теплое человеческое жилье, и приветный огонек, и приветливое лицо.

И вспомнился бы стог соломы — огромный желтый стог посреди поля, куда они забрались уже на рассвете,

оба измученные долгим переходом, с кровоточащими ногами. Жилья поблизости не было, казалось, все было спокойно. Они вырыли в стогу нору — глубокую, мягкую,— залегли в нее, согрелись и заснули. Заснули так крепко, так сладко...

В ушах — раздирающий крик. Ах, как он кричал, этот маленький старик крестьянин:

— Помогите! Сюда! Сюда! Ноги! Ноги!

И опять испуганные вопли на всю округу. Да он подымет на ноги деревню, он целую орду сюда созовет!

Они высунулись враз из стога — оба заросшие неряшливой щетиной, бледные, с синими тенями под глазами — точь-в-точь бандиты в лохмотьях. Крестьянин уставился на них, он, верно, думал, что в стогу трупы. (Ноги-то их, оказывается, торчали наружу!) А тут вдруг двое таких красавцев, встретишь — испугаешься! Даня хотел с ним объясниться, начал что-то говорить, но крестьянин в ужасе замахал руками и, бросив вилы, кинулся бежать.

— Надо отсюда убираться, а то он всю свою деревню сюда пригонит,— сказал тогда Павел, и они пустились наутек.

Ферма дядюшки Жубера. Дядюшка толстый, медлительный, с пузом, перетянутым толстой цепочкой старомодных часов. Тяжелодум. Держал их чуть ли не час на пороге, все раздумывал, пустить их ночевать или не пускать. Разглядывал с головы до ног, и не понять было — друг он или враг, выдаст он их бошам или, наоборот, спрячет у себя и вообще слышал ли, о чем его просят двое беглецов. И как обрадовались они, когда он наконец проворчал:

— В дом не пущу. Будете спать в конюшне, рядом с Фулетт. Она добрая лошадь, не лягается. Но берегитесь: если будете курить, тотчас выгоню. Пожара у себя не хочу.

И вот ночи у мохнатых ног першерона Фулетт. Конюшня большая и теплая. Кроме того, прибегает сынишка дядюшки Жубера, тринадцатилетний Жак,— приносит то ломоть хлеба, густо намазанный маслом, то кусок мяса, то яблоки. Жак смотрит с жадностью на русских — ведь это такая диковинка в здешних местах! У них на ферме радио нет, но зато в городе, в доме учителя, он слышал, что русские начали одолевать бошей.

— Вот молодцы ваши русские!— говорит он востор-

женно.— Никто не мог справиться с этими мерзавцами бошами, а русские взяли в плен целую армию! Теперь и наши будут их бить, вот увидите. Все наши парни постарше скрываются от бошей, чтобы их не увезли в Германию или не заставили работать. Скоро все это изменится, я вам это верно говорю, можете мне поверить. Тогда уж с бошами рассчитаются за все!

Жак... Его круглая веснушчатая физиономия. Он всегда улыбался. Где-то он сейчас?

И все-таки мальчик чуть не погубил их тогда. Прибежал с поручением от учителя: учитель слышал, что в Перонне есть русский, владелец кафе. Вот к кому стоило бы обратиться беглецам: он наверняка поможет.

И, конечно, беглецы тотчас же заторопились в Перонн. В сумерках пробрались к площади, на которой было маленькое кафе. В окна ничего нельзя было разглядеть — прикрыты ставнями. Почему-то у Дани мелькнуло смутное опасение.

— Ты постой пока в подъезде, а я зайду погляжу, что это за русский такой,— сказал он Павлу.

Маленькое кафе было совершенно пусто. Посреди зала гудела чугунная печка, за стойкой гремела бутылями неимоверно толстая француженка в платье с разорванным рукавом.

— Что вам угодно? — спросила она, подозрительно оглядывая бледного оборванца.

— Хотелось бы видеть хозяина кафе,— пробормотал Даня.

— У вас к нему какое-нибудь дело?

— Да.

— Тогда подождите вон там, в углу. Муж скоро придет.

Даня уселся за дальний столик. Хозяйка все переставляла бутылки и пивные кружки на стойке и продолжала краешком глаза следить за пришельцем.

Ощущение опасности все сильнее охватывало Даню. От печки шло упоительное тепло. Хозяйка пыталась что-то спрашивать, но на все ее вопросы Даня отвечал только «да» или «нет».

Наконец пришел хозяин. Внешность его тоже не понравилась Дане: мышастый, юркий, с вынюхивающим носом.

— Тебя ждут,— сказала ему громко жена и тихо прибавила что-то.

— По какому делу? — спросил хозяин.

— Я... хотел бы...— начал, приподымаясь, Даня.

— Поляк? — перебил его хозяин.

Почему-то в эту минуту Дане показалось, что лучше назваться поляком. Хозяин нравился ему все меньше. Он кивнул.

— Что же вы от меня хотите? — недружелюбно спросил хозяин.

Даня начал сбивчиво объяснять: он хотел бы повидаться с земляками. Не знает ли хозяин, где он мог бы встретить поляков?

Хозяин всматривался в него все пытливее, все подозрительнее.

— Так вы хотите встретиться со здешними поляками? А зачем?

Даня припомнил все польские слова, которые случайно знал — и «проше пана», и «дзенькуе», и «мышлялем»,— все, что он слышал от Стася Ганчевского. Хозяин посматривал на него, покусывая тонкие губы.

— Подождите меня здесь, я для вас все разузнаю,— сказал он наконец и, кинув взгляд жене, вышел в комнату за стойкой.

Даня ощутил совершенно ясно: хозяин отправился звонить по телефону, он вызывает жандармов арестовать неизвестного бродягу. Надо смываться, и как можно скорее.

Даня поднялся с места, подошел к печке, нагнулся, делая вид, что греет руки. Хозяйка не спускала с него глаз. Вот черт! Что же делать? От печки до двери шага четыре. Дверь тонкая, со стеклом, можно распахнуть ее одним махом. Спиной, всем телом Даня чувствовал кошачьи глаза хозяйки. Еще шажок...

Дверь распахнулась. Вошел мальчик-почтальон с большой сумкой. Внимание хозяйки вмиг переключилось на почтальона.

— А, Гастон, что принесли нам?

Даня оттолкнул мальчика от двери, рывком открыл ее, прыгнул. На улице было уже совсем темно. Вслед ему закричали пронзительно и визгливо. Даня промчался мимо подъезда, где затаился Павел. Кинул: «За мной! Живо!» Бежали по темным незнакомым улицам, сворачивали в какие-то дворы, выбежали наконец к реке. Прислушались: тихо. Погони нет. Ух, вот это пробежка!

9. СКИТАНИЯ

И еще воспоминания...

Гигантское кладбище близ Сен-Кантена. Парад могил, растянувшийся километра на два в длину и километр в ширину. Артиллеристы, пехотинцы, саперы, авиаторы — все по родам своих войск, все по чинам и званиям. Это павшие в первую мировую войну. Сколько лежит здесь таких же мальчиков, как Пашка и Даня, или чуть постарше! Имена, имена... У Дани и сейчас мозжит сердце при воспоминании об этом поле мертвецов.

И все-таки они там остались — два полуживых от голода и усталости беглеца среди своих мертвых сверстников. Мертвые стали их товарищами, они их укрыли, дали приют в одном из склепов. Здесь уже давно никто не бывал — не до старых кладбищ было Франции в те дни. Здесь можно было передохнуть, отоспаться. И они жили в тесном и темном склепе, жили бок о бок с мертвецами, не думая о мрачном соседстве, счастливые уже тем, что могут не бояться обхода полицейских или гестаповцев. Спать им приходилось в такой тесноте, что голова одного оказывалась между ногами другого, но зато было тепло. Пашка, тот использовал старые высохшие венки как изголовье. Он был циник, Пашка, трунил над всякими «тонкими чувствами» Дани.

— Интеллигентик ты! Все что-то надумываешь, растравляешь себя. Да мы что? Мы для здешних покойничков одно развлечение. В кои-то веки сюда, к ним, зашли люди, да не какие-то чужие, а свои в доску парни. Они нас сразу за своих признали, можешь не сомневаться, мы себя показываем точь-в-точь как они при жизни. Так же и поступаем. Сейчас война, они там, в своих могилках, небось про это знают, слышали, сами были на войне, на себе все испытали. Так что же ты себя зря расстраиваешь?

И Даня, слушая эти рассуждения посмеивающегося Пашки, начинал думать, что товарищ его, может быть, и прав.

Все-таки спустя несколько дней их поймали. Да-да, поймали, как глупых цыплят! А они-то скрывались, хитрили, обходили стороной города, крались, искали

укрытий, вылезали только в сумерках. И вот нате пожалуйста, попались глупейшим образом!

Кажется, это случилось возле Эперне, в одном из домов, адрес которого дал Абель. В бедном, обшарпанном, закопченном с виду домишке, у леса, жил дровосек. В этой хижине, среди висящих по стенкам пил, топоров, железных кошек, в каких лазают по деревьям, Даня вдруг вспомнил старые французские сказки, которые некогда читала ему мать. Там, в этих сказках, непременно бывала хижина дровосека и его семья. Помнится, сам мальчик с пальчик был сыном дровосека.

Хозяина не было дома. Его жена, полька, принесла ребятам молока, хлеба, пыталась что-то им объяснить. Женщина была такая истощенная на вид, так все кругом было бедно, скудно, неприбрано, что Даня вопросительно посмотрел на Пашку: может, не стоит их объедать? И тут вдруг у самых окон затрещал мотоцикл, и в дом вошли два жандарма.

— Кто такие? Откуда? Что здесь делаете?

Жена дровосека — тоже связная Абеля — еще лепетала, что это, мол, помощники мужа, работают вместе с ним в лесу, зашли сейчас погреться, а жандармы уже надевали на беглецов наручники.

Их привезли в мэрию соседнего городка. Допрос состоялся тут же, во дворе. Документы? Нет документов? Тогда объясните, кто вы такие, что́ делали в здешнем департаменте? Что делали в хижине лесника Демаре?

Даня пытался поддержать то же, что говорила жена Демаре: оба они поляки, документы потеряли в лесу, работали помощниками...

— Врете. Все врете,— решительно отрубил старший из жандармов.— И рожи у обоих самые бандитские. Будете сидеть в каталажке, покуда не выясним, кто вы такие. Подозреваю, что вы не такие уж безобидные типы, наверняка за вами что-то числится.

Во дворе стояла двухколесная телега, какие употребляют здешние крестьяне, чтоб ездить в горы за топливом. Вот к этой-то телеге и прикрепили толстой цепочкой обоих беглецов. Они стояли посреди двора, окруженного бетонным забором, а из-за забора блестели любопытные глаза мальчишек и девчонок. В маленьком городе слухи распространяются быстро, и все

уже знали, что жандармы Бют и Руссель поймали двух опасных бандитов.

А «бандиты» мокли под холодным дождем, сыплющемся с неба, мокли молча, не глядя друг на друга, коченея от студеного ветра. Разговаривать? О чем? И так все было предельно ясно: жандармерия запросит другие департаменты в зоне, нет ли сообщений о побегах. Ответят, конечно, что есть запрос из Бетюнского лагеря, вот их и вернут туда незамедлительно. А что ждет беглецов в лагере? Лучше не думать, не надо, нельзя про это думать, запрещаю, запрещаю себе думать! А думается, как назло, думается, страх залезает глубоко в сердце, в мозг, ледяной струей ползет по спине, дрожью сотрясает все тело. Расстрел? Конечно, расстрел! Или уж такая каторга, что хуже расстрела!

Час. Два часа. Три.

Все тот же дождь. Все тот же ветер. Все те же мысли. Оба одеревенели. Не чувствовали собственного тела.

И вдруг опять треск мотоциклов. Еще два жандарма въезжают во двор мэрии. На этот раз жандармы молодые, с усиками, разрумянившиеся от холода и добродушные.

— Это что за фигуры? Кто их приковал к телеге?

Очевидно, они начальство. Выбегает давешний жандарм, козыряет, что-то объясняет шепотом.

Один из приехавших — розовощекий шатен — прерывает его:

— Обыскивали?

— Н-нет.

— Шляпы! Не догадались? Ведь это первое, что надо делать, когда арестовываешь таких. У них может быть оружие.

Он сам принялся выворачивать карманы Дани и Павла, шарить в подкладке курток. Внезапно что-то зазвенело в кармане Павла, вывалилось на землю. Жандарм проворно нагнулся, поднял. Это был алюминиевый лагерный жетон с номером. Наверное, Павел машинально переложил его из кармана старых брюк с буквами «СУ», когда переодевался в шахте. Не думал он тогда, что жетон сослужит ему и Дане добрую службу.

— Ага, так вот кто вы такие, ребята! — сказал, разглядывая жетон, жандарм.— Теперь мне все по-

нятно. Так, так. Кажется, мы с вами из одного котла глотали их поганую баланду...

Он приказал:

— Снять с них цепи! И наручники тоже! Смотрите, совсем закоченели парни! Вы, Руссель, окончательно «обошились», скоро будете пытать людей, как в гестапо!

— Да ведь у них такой подозрительный вид,— оправдывался Руссель, распуская цепь и снимая с беглецов наручники.

Они оба чуть не упали, так закоченели. А жандарм сыпал вопросами:

— Военнопленные, конечно? Вижу, вижу... Правда, очень молоды и уже солдаты? Из какого лагеря драпали?.. Гнались за вами боши?.. Как вам удалось их провести? А собак они не пускали по следу? Это ведь их излюбленный способ ловить беглецов.

Он ткнул в грудь второго жандарма:

— Мы с Сенаром тоже были лагерниками. Сидели в шталаге в Штетине. От их баланды чуть ноги не протянули. На наше счастье, бошам понадобились сыщики, полиция, жандармы — вот они и стали помаленьку выпускать нашего брата. Думают, что мы самые верные их слуги. Гм!..— Он иронически усмехнулся.— Ну-ну, пусть думают, это нам всем на пользу.

В свою очередь Сенар обратился к Дане, который разминался, оттирая затекшие руки и ноги:

— Ну, теперь скажи нам, как своим товарищам, откровенно, кто вы такие? Чем промышляли в дороге? Воровали, конечно? Говори прямо, не бойся. Мы за это вас не станем наказывать. Нам сообщили, что ограблено несколько ферм в департаменте Па-де-Кале, а один дом в Сен-Кантене обчищен дочиста. Ваша работа? Да ты не бойся, не бойся, мы вам ничего не сделаем, мы же понимаем, что значит голодать и удирать из лагеря,— прибавил он, видя, что Даня качает головой.

— Вы ошибаетесь, мы не крали,— сказал Даня.— Мы поляки, а здесь у вас много наших земляков. Ну, мы заходили в дома, просили, и люди нам давали приют и кое-что из еды. И на фермах нас тоже подкармливали,— прибавил он.

— Французы?! На фермах? Да ты шутишь, парень! — весело изумились оба жандарма.— Ну, значит, боши уж очень обрыдли народу, если народ вам помо-

гал едой. Сейчас, когда так трудно, выпросить что-нибудь у француза — это, знаешь ли, не так просто. Довели боши,— обратился Сенар к товарищу.— Ну а если не крали, то все же кто вы такие?

— О, ну что ты к ним пристал! — не выдержал первый жандарм.— Не хотят говорить, и не надо. Не видишь, что ли, они еле стоят на ногах! Оголодали, верно, как волки.

Он распорядился:

— Накормить этих бедолаг, да посытнее!

Потом обратился к Дане:

— Что скажешь, если я устрою вас на ночевку в жандармерии?.. Нет, нет, это не арест, ты не думай, просто у нас есть теплое караульное помещение и койки. Иногда нам во время дежурства приходится там ночевать. Думаю, там вам будет куда уютнее, а главное, безопаснее, чем в лесу или на сеновале. К нам боши не суются. Отдохнете как следует, отоспитесь, а потом мы вам покажем дорогу в Швейцарию. Вы ведь, конечно, туда стремитесь, чтобы где-нибудь в спокойном местечке пережить войну?

— Туда,— на всякий случай подтвердил Даня.

Он наскоро пересказал Павлу, что́ именно предлагает жандарм.

— Вот это дело! — восхитился Павел.— Тут нас никакой фриц не станет искать. Давай, Данька, соглашайся!

Итак, они ночевали в жандармерии, в неуютной, но зато теплой комнате. На настоящей кровати, под настоящим одеялом! И спали же они там! Правда, Павел еще немного опасался: а вдруг жандармы нарочно заманили их в ловушку и ночью приведут немцев, выдадут их, как сонных кроликов. Но Даня почему-то с самого первого слова поверил этому парню с тоненькими усиками на розовом от холода лице. И еще помнил, что́ говорил ему Абель: «У нас почти все, весь народ ненавидит гитлеровцев. Даже полиция, даже жандармы. Не было еще случая, чтоб они выдавали наших людей немцам».

И правда, ночь прошла спокойно, хотя у них и взяли перед сном отпечатки пальцев. «Это для порядка и регистратуры»,— сказал Сенар. Кажется, в глубине души он все-таки был убежден, что это они обокрали фермы по дороге. Возможно, он где-то сличал

их отпечатки, потому что утром был особенно приветлив с обоими беглецами и перед уходом обильно накормил их завтраком.

10. У НОТАРИУСА

...И еще дом, запомнившийся навсегда. Старый, угрюмый с виду нотариус Кламье в Лаоне и его говорливая, радушная жена.

Темные полированные стулья с высокими спинками, суконные тапочки на пороге, чтобы каждый пришедший надевал их, не портил золотистый паркет. («Как в музеях»,— усмехнулся Павел, но тапки надел.) Самая главная персона в доме — сын, Марсель, почти однолеток беглецов, секретарь епископа Лаонского и вместе с тем служитель при церкви, студент теологии. Это кузина Паскаль дала им адрес своих родственников, и, конечно, беглецы этим адресом воспользовались. Но боже, как неловко чувствовали они себя — обросшие, истощенные, загнанные оборванцы — в этом благополучном, обеспеченном доме, где все продукты, отличные дефицитные продукты — сахар, масло, настоящий кофе,— покупали на черном рынке, где была даже молоденькая горничная в белой кружевной наколке, бесшумно снующая по комнатам. И эта зеркальность полов, и полированная мебель, и сумрачный взгляд хозяина — мсье Кламье, местного аристократа и «отца города»!

Им отвели комнатку почти на чердаке, уютную, со всем необходимым. Сюзанна, горничная, приносила им утром горячую воду и с любопытством смотрела, как из-под хозяйской бритвы проступают новые лица — молодые и привлекательные. Хозяин прислал им с Сюзанной простые, но теплые и прочные фуфайки, новые башмаки.

— Теперь опять потопаете дальше? — спросила Даню Сюзанна.

Он кивнул, глядя на ее остренькую, легко краснеющую мордочку.

— А то погодили бы, отдохнули бы у нас еще,— сказала она, потупившись.

— У вас слишком строгий дом,— усмехнулся Даня.— Я думаю, ваши хозяева не очень-то нам рады.

Сюзанна покраснела.

— Вы ошибаетесь, мсье. Я не могу вам объяснить, но вы очень ошибаетесь.

А может быть, Даня и правда ошибался?

Вот, например, сам мсье Кламье, такой суровый и замкнутый на вид, когда состоялся генеральный совет, как и куда направиться беглецам дальше, первый спокойно сказал:

— Прежде всего, по-моему, надо позаботиться о документах для молодых людей. У них обязательно должны быть удостоверения личности. Куда бы они ни направились дальше, их непременно ждет проверка документов. Этим должен заняться ты, Марсель.

Марсель, красивый, бледный, очень самоуверенный на вид, пожал плечами.

— Тебе легко говорить, отец. Но как все это устроить?

Нотариус выразительно глянул на сына:

— Думаю, ты все и без меня сообразишь. У твоего епископа, конечно, имеются бланки епархии. Раздобыть такие бланки, парочку или немного больше, вероятно, будет нетрудно. Если не удастся достать печать, я дам свою. Всегда можно поставить оттиск так, что никто не разберет, что за печать.

— Ого, отец, да ты, оказывается, мастер! — присвистнул Марсель.— Вот что значит...— Он не договорил, задумался.— Да, но все, что ты предлагаешь, связано с риском. Это большой риск.

— Ничего, рискнешь. Если понадобится, рискнешь и работой,— отрезал отец.

Марсель кивнул.

— Попытаюсь.

Дане показалось, что Марселю вовсе не по душе все это дело, и он про себя пожалел, что им с Павлом пришлось воспользоваться адресом кузины Паскаль: фермеры, дровосеки, словом, простые люди были куда более приветливы и дружелюбны, чем эти «полированные».

И все же...

Внезапно словно темный занавес опустился над домом нотариуса Кламье. Даня не может припомнить, когда именно он заметил, что в доме изменился «климат». Все помрачнело, замкнулось, наполнилось скрытой, но ощутимой тревогой. Даже госпожа Кламье — он это ясно помнит,— такая говорливая, живая в первые дни, внезапно затихла, потерянно бродила по дому и тревожно заглядывала в лицо сына. А Марсель почти

не бывал дома, еще больше побледнел, осунулся, резко вздрагивал, когда его окликали, весь был как нерв натянутый, напряженный. Что-то грызло его, это было ясно даже Павлу, который сказал Дане:

— Приключилось что-то со здешним пареньком. Влюбился, что ли? Или несчастье у него какое? Да и вообще у них стало здесь как после похорон, чуешь?

Однако делами беглецов Марсель занимался рьяно. Однажды с торжеством принес и показал им похищенные из канцелярии епископа бланки. Кажется, он сам изготовил удостоверения личности и сам приложил отцовскую печать — жирно и неразборчиво. Даня превратился в уроженца Лодзи Яна Калиновского, а Павел — в выходца из города Белостока Тадеуша Сикорского. Оба новоявленных поляка — католического вероисповедания, оба — на службе у епископа Лаонского, в аббатстве города Лаон.

— А теперь вам надо придумать приличные биографии,— сказал Марсель, хмуро обозревая свою работу.— Вдруг вас, чего доброго, станут расспрашивать, как и когда вы попали во Францию, откуда приехали, где были раньше. Сейчас гестапо стало так свирепствовать...— Неуловимая тоска промелькнула у него в голосе. Он встряхнулся.— Идем к отцу. Отец вам все придумает.

Нотариус Кламье сидел в своем массивном дубовом кабинете тоже насупленный и мрачный. Впрочем, увидев Марселя с двумя русскими, он оживился.

— Конечно, конечно, вы должны вызубрить назубок свои новые биографии. Даже если вас разбудят ночью (а гестаповцы всегда приходят по ночам), вы должны тут же сказать, как вас зовут, откуда и когда вы приехали во Францию и вообще кто вы такие и чем занимаетесь. Если вас задержат, одними документами не отделаетесь. Нужно все это хорошенько обдумать... Вот, скажем, если бы вы были постарше, могли бы сойти за польских солдат, прибывших в тридцать девятом году сюда из Румынии, вместе с частями Андерса. Тогда вы могли бы сказать, что в сороковом году воевали во Франции. Это было бы вполне достоверно. Но вы оба слишком молоды, и поэтому...

— Отец, я все придумал! — воскликнул Марсель.— Ведь вполне может быть, что оба они еще мальчишка-

ми рвались воевать. Вот они и сбежали из дому, присоединились к солдатам Андерса и вместе с ними попали во Францию, а здесь встретились со своими земляками. Стали постарше, и их уже не влекла, как прежде, солдатская жизнь. Поэтому земляки легко уговорили их уйти из армии и даже сами нашли для них подходящую работу. Вы что умеете делать? — обратился он к Дане.— Ну, например, столярничать можете?

— Могу,— кивнул Даня.

— А ваш приятель?

— Он парикмахер по профессии,— объяснил Даня.

— Вот и отлично! — обрадовался Марсель.— Я подговорю своего дружка Франсуа (он по происхождению поляк), чтобы подтвердил, если понадобится, что это именно он устроил вас обоих на работу в аббатство. Вы,— Марсель дотронулся до Павла,— выбриваете священникам тонзуры, понимаете?

Даня объяснил как мог Павлу, что от него требуется.

— Ага, на это я способный,— закивал очень довольный Павел.— Всех попов могу и стричь и брить.

— Неплохо придумано,— одобрил Кламье.— Заставь-ка их, Марсель, вызубрить это. Им пригодится, я уверен.

Однако Павел начал уверять, что он уже все понял и запомнил, ему-де не к чему «зубрить». Так что к Марселю отправился один Даня. Тогда и произошел тот знаменательный разговор.

11. ИСТОРИЯ МАРСЕЛЯ

Они поднялись по темной деревянной лестнице в комнату Марселя — большую, аскетически пустую, с узкой спартанской кроватью и книжными шкафами по стенам. Даня увидел старинные кожаные переплеты, вынул одну из книг наугад — это было сочинение по истории церкви. Да и все остальные книги, как он мог заметить,— сочинения по философии, истории, теософии. Между тем Марсель беспокойно шагал по комнате, беспрерывно поправлял и без того гладкие светлые волосы, что-то трогал на столе нервной, совсем еще мальчишеской рукой. Ему было явно не по себе.

— Конечно, все это надо вызубрить,— начал он,

запинаясь и очень тихо.— Но прежде... прежде, Дени, я что-то хочу спросить у вас. Послушайте, Дени, есть у вас девушка?

— Что? — переспросил Даня удивленно.— Вы сказали: девушка?

— Да. Я спрашиваю, есть у вас или у вашего приятеля девушка? Ну, девушка, с которой вы дружите, которая для вас самая дорогая, единственная на свете?

Даня начал мучительно краснеть. Сказал с усилием:

— Ну, у меня, допустим, есть... То есть была.

Марсель поник.

— Вот и у меня была...— шепнул он.— Еще на днях я говорил «есть», а сейчас — «была»... Взяли ее.

— Как взяли? Кто?!

— Боши. Эсесовцы. Шесть дней назад. Она еврейка и, кроме того, в Сопротивлении. Еще в университете вступила в организацию студентов. И вот ее выследили, а может, кто-то предал.— Марсель заломил руки.— Я... Теперь я на все готов... Я хотел бы уйти с вами. Вместе с тобой.— Он просительно взглянул на Даню.— Я хочу мстить. За нее, за себя, за всех людей на свете!.. Ведь ты возьмешь меня? — Он весь подался к Дане, он дрожал и заикался.— Ты не сердишься, что я говорю тебе «ты»? Ведь мы ровесники.

— Что ты, что ты, конечно же будем на «ты»! — заторопился Даня.— Да расскажи, как все это случилось? Может, можно еще помочь, освободить ее?

Марсель махнул рукой.

— Безнадежно. Больше ничего нельзя сделать. Я уже все перепробовал. Даже отца уговорил пойти к коменданту, к начальнику СС, просить за Рене. Отца знаешь как в городе уважают! Он долгое время был здесь депутатом, боши перед ним заискивали, но, как только он заикнулся о Рене, его тотчас же прервали, вежливо выпроводили и намекнули, что он этими хлопотами может сильно повредить и себе. Конечно, отец отступил...

— Испугался? — иронически спросил Даня.

Марсель покачал головой.

— Видно, ты ничего еще не сообразил. Отец за себя не боится. Но он не вправе распоряжаться собой. Ему комитет не разрешит. Слишком много людей зависят от него, от его незапятнанной репутации у немцев. Его положение в городе нужно многим людям, он не смеет рисковать.

— Какой комитет? Почему от него зависят люди? — опять ничего не понял Даня.

Марсель испытующе посмотрел на него.

— Кажется, можно сказать... Я тебе доверяю. Уверен, что ты не подведешь ни меня, ни папу. Словом, отец тоже в Сопротивлении... Что, поражен? У, ты даже представить себе не можешь, сколько людей кругом влились и вливаются в подпольную борьбу. Даже наши семинаристы, даже многие священники в аббатстве! Я не уверен, что наш епископ стоит в стороне. Очень возможно, что и он помогает сопротивленцам. И я, и наша Сюзанна, и даже мама... Но, послушай, я должен тебе рассказать о Рене, ты поймешь... Она такая удивительная, такая единственная девочка! Маленькая, тоненькая, как мизинец, целая охапка кудрей. Кудри черные как ночь, как эта занавеска. И глаза огромные, во все лицо. Она мне по плечо, не больше, мы с ней мерялись. А поет как! И при этом настоящая героиня, смельчак! Ты знаешь, как она вела себя при аресте?.. Да ты меня не слушаешь! — кинулся он вдруг к Дане.— Ты почему меня не слушаешь?! Неинтересно тебе?! Глупо, что я все это тебе выкладываю, ты так и скажи!

Марсель был в бешенстве. От бешенства даже замолк. А Даня в это мгновение почувствовал горячий, сильный, пронзающий укол в сердце, так близко, так живо увидел он Лизу! Свою Лизу, тоже единственную, тоже любимую.

— Что ты вообразил? Я слушаю, я очень тебя слушаю! — Он опомнился, оторвал от себя руки Марселя.— Говори. Рассказывай.

— Мы познакомились в прошлом году, в студенческом лагере,— чуть остыв, начал Марсель.— Я был там после воспаления легких, а она поехала туда немного отдохнуть. У нее была бессонница и какие-то галюцинации. Понимаешь, она парижанка, ей всего семнадцать лет, но столько пришлось пережить, что на пять жизней хватит. Вместе с родителями и дедом, глубоким стариком, она ушла из Парижа пешком, под обстрелом немецких самолетов. Дед у нее знаешь какой был! Он все время, даже под бомбами, повторял: «Перед врагом не отступают. От врага не уходят!» И его приходилось тащить насильно.

Ну, когда боши утвердились здесь, родители (они учителя) поехали в Амьен — преподавать в школе, а

Рене оставили с дедом и бабкой в деревне. Деревня эта совсем рядом с Орадуром. Прошло несколько месяцев, дед заболел, и у него определили рак бедра. Дед сразу все понял, ничуть не испугался, только захотел перед смертью повидать сына, отца Рене. Она была тогда совсем девчушкой, но уже понимала, что такое война. И вот ей одной пришлось везти двух беспомощных стариков в Амьен. Она мне рассказывала об этом путешествии, так просто волосы вставали дыбом... Понимаешь, они приехали в город ночью. Оккупированный Амьен был весь разрушен. Поезд остановился посреди черных развалин. Ни вокзала, ни домов, ничего... Какие-то люди помогли Рене вынести дедушку. Они положили его прямо на землю. Пришлось оставить его и бабушку и идти черной ночью, среди развалин, по незнакомому городу — искать помощи, какую-нибудь фельдшерицу, носилки... Среди развалин вокзала лежали немецкие солдаты, в темноте Рене шла среди этих спящих, а они просыпались и говорили ей всякие гадости, понимаешь, в солдатско-немецком вкусе. Вышла из вокзала, а тут бомбежка. И она продолжала идти под бомбами, в кромешной тьме, без всякой помощи. Она мне потом сказала, что именно в те минуты решила, что так продолжаться не может, нужно что-то делать, бороться, чтобы уничтожить нацистов. Она уже слышала тогда, что существует Сопротивление, только не знала, как к нему присоединиться.

В Амьене после смерти дедушки (он умер очень скоро, в больнице) Рене встретила студентов. Некоторые из них уже участвовали в Сопротивлении, кое-кто даже побывал в тюрьме, но потом с помощью товарищей освободился. Студенты ввели Рене в свою компанию, и она решила вернуться в Париж, чтоб там взяться за работу. Ей дали письма, рекомендации. Родителям она сказала, что хочет продолжать занятия в университете (она поступила в медицинский).

В Париже ей долго не давали никаких заданий, говорили, что она слишком молода, не справится. Но она сумела всех убедить. В тот момент немцы забирали студентов для отправки на работы в Германию. И главной задачей было не давать им людей. Рене занялась пропагандой. Она писала на стенах: «Ни одного человека для Гитлера!» Делалось это по ночам,

когда вообще было запрещено появляться на улицах. Но она такая маленькая... А потом она стала связной. Однажды чуть не попалась. Это было, когда студенты затеяли факультетскую демонстрацию. Несколько факультетов должны были выйти на улицы, демонстрировать свое единство и ненависть к оккупантам. У всех были задания: одни должны были разбить витрину магазина, где продавались фашистские газеты и вообще нацистские издания, другие — говорить речь против оккупантов. У Рене была красная кофточка, которую ей связала мать. Мать ведь не знала, что Рене подпольщица, а у девочки не было ничего теплого. И вот Рене в этой заметной кофточке — на демонстрации. Ее товарищ по Сопротивлению стоит посреди толпы и говорит речь. И вдруг появляется нацистский солдат. Он увидел студента и прицелился в него из автомата. Рене закричала: «Поль, Поль, спасайся!»— И повисла на солдате. Солдат выронил автомат, нагнулся за ним, в это мгновение Поль услышал крик Рене и бросился бежать. Пока солдат нагибался, Поля и Рене и след простыл. Рене долго опасалась, что солдат приметил ее красную кофточку, боялась даже выходить на улицу. Тем временем ее родители переселились сюда, в Лаон. Их, как евреев, заставили носить желтую звезду, всячески мучили, не давали ничего покупать в магазинах, выгнали из школы, но они как-то еще держались.

Рене и в лагерь-то поехала только по настоянию товарищей. У нее начался подозрительный кашель, она совсем себя не берегла, извелась, так ее измотало постоянное напряжение. И не ела она почти ничего и мало спала, потому что работала главным образом по ночам. Совсем как былинка, но внутри эта былинка, даю тебе слово, была стальная. Ничем ее не согнуть, не сломать... Там, в лагере, мы и встретились...

Марсель тяжело перевел дух. Трудно давались ему эти воспоминания.

— Я тогда был еще верующий. У моей матери в семье много священников, и сам я с детства ходил в аббатство, помогал, прислуживая в храме, очень любил петь псалмы и тоже готовился стать священником. Но Рене из меня все это живо вытряхнула. Первое, что она мне сказала: «Твой бог ведь, по

твоей вере, самый справедливый и самый милостивый, правда?»— «Правда»,— говорю. «Тогда как же он допускает такую бойню, как он позволяет, чтоб такая беда обрушилась на человечество, чтоб побеждали самые жестокие и злобные на земле? Посмотри кругом, ты что, слепой?» А потом она принялась разбирать все заповеди и все молитвы, которые я затвердил с детства, и в каждой находила такое, что никак не вязалось с тем, что мы видели и ощущали вокруг. И понемногу я стал сомневаться и отходить от религии и уже не думал о себе как о будущем служителе церкви. Теперь мне страстно захотелось помогать Рене, быть с ней заодно. Я готов был, если воспротивится моя семья, бросить все и уйти с Рене. И вдруг совершенно случайно я узнал, что мой отец сам давно уже в Сопротивлении, что ему помогают мать и Сюзанна. И когда Рене предложила мне работать вместе с ней, я, конечно, сразу же согласился. Мы с ней были в одном «треугольнике», а потом ей дали какое-то важное задание. Она даже мне не сказала какое, но, когда я пришел на свидание, которое мы с ней назначили после этого дела, она не пришла. И вот я узнал от одного товарища, что она попалась. Ее забрали и теперь, наверное, бьют, пытают... Пытают Рене, мою девочку, мою маленькую...— Марсель лег головой на стол и зарыдал.

Даня молча смотрел на его прыгающие плечи. Что можно было сказать в такой беде? Чем утешить?

Наконец он решился.

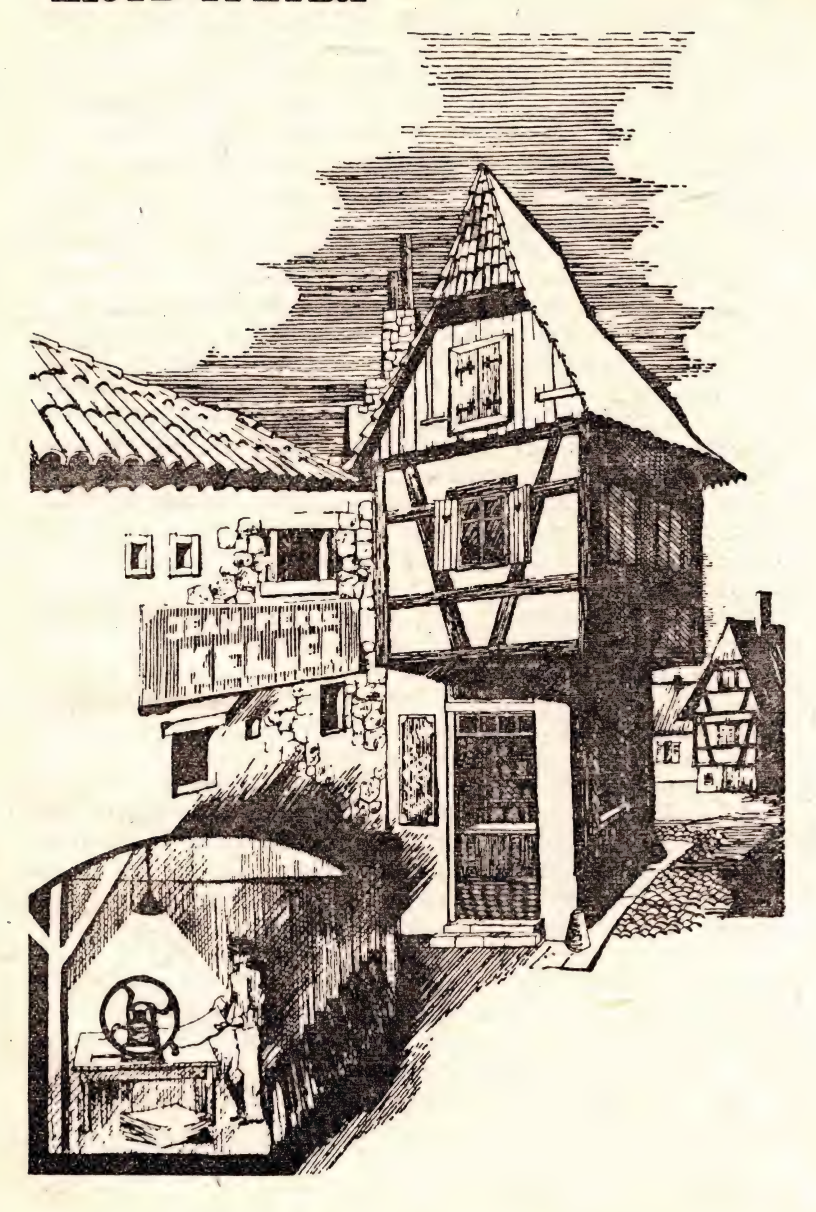
— Пойдем с нами. Не позже послезавтрашнего дня. Пойдем. Мы еще сами, конечно, не знаем, где будем, что станем делать, но одно скажу тебе: мы решили сражаться, сражаться во что бы то ни стало!

В ту минуту Даня даже с радостью думал: вот к ним присоединился новый товарищ, третий! Еще бы несколько человек, и был бы целый отряд. Оружие раздобыть — это они сумеют. А отряд с оружием — это вам не два беглеца с пустыми руками!

Однако все это оказалось мечтами, которым не суждено было сбыться, потому что на следующую ночь в мансарду, где крепко спали оба русских, вбежал нотариус Кламье в халате, накинутом на плечи.

— Скорее уходите! Уходите как можно дальше от города. В доме немцы. Они пришли за Марселем. Сюзанна вас выведет и покажет дорогу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



1. АНЕКДОТЫ

Ба-а, «Последние в жизни» сдают! Вон какая здоровенная дырка на подошве! Кажется, придется все-таки обзавестись самыми модными военными туфлями на деревянной подметке! Как же это — назывались «последними», а оказываются далеко не последними. Ничего удивительного, если каждый день приходится отмахивать пешедралом такие концы! Велосипед? Но он тоже, бедняга, совсем облысел, дребезжит, точно старая жестянка, то и дело с него соскакивает цепь, а позавчера, когда Николь ездила к «тем», часть дороги пришлось тащить велосипед на себе — шина испустила дух,— и Николь чуть не опоздала. Тум-тум ти-та-та... Но «он», конечно, сразу раздобыл у Жан-Пьера резиновый клей, поставил прочную заплатку, и обратно Николь ехала уже без всяких приключений. «Он», оказывается, все может, а на вид белоручка, даже маменькин сынок. А как «он» сказал: «Можешь всегда на меня рассчитывать»— и при этом так посмотрел!.. Тра-та-та... Тим-тири-тим... Жермен говорит: «Люблю мужчину в доме, тогда везде полный порядок»... Тра-та-та...

Жермен с перьевой метелочкой — у книжных стеллажей. Жермен все так же кутается в вязаную материнскую пелеринку, хотя на дворе уже запахло весной, деревья на Елисейских полях набухли почками, а в нишах под Триумфальной аркой появились парочки — первые предвестники весны. Ишь как стучат по асфальту деревянные каблучки парижанок! Светит солнышко, выползают на свет иззябнувшие за долгую зиму люди, опасливо оглядываются — немецкие патрули, проклятые немецкие патрули шагают по улицам, то и дело проверяют документы, придираются к тем, кто покажется им подозрительным.

— Николь, я спрашиваю, что это за песня?

Но Николь не слышит, все поет свое, все подсвистывает и при этом смешно, как щенок, щурится... Что там у них произошло, в Виль-дю-Буа? Жермен давно уже понял, отчего у младшей сестры сделался такой переменчивый нрав: то беспечно весела, как, например, сейчас, то вдруг сварлива, придирчива, недовольна всем миром, и в первую очередь собой. Спорит, ссорится со старшей сестрой, впадает в мрак, молчит иногда по целым

днями. Ага, на полке не хватает зеленого томика. Толстой, «Война и мир». Ясно! Все русские книги, какие оказались в лавке, Николь прямо глотает. Перечитала Достоевского, Чехова, даже этого... как его... Гоголя... Конечно, это тоже способ понять русских, их такую сложную для французов, таинственную славянскую натуру. Наверно, и Жермен стала бы изучать русскую литературу, случись с ней то же, что с Николь. Русские, которые побеждают непобедимых гитлеровцев! Русские, которым нипочем самые страшные морозы, боль, раны!.. Ведь этот парень, так внезапно появившийся у них в холодную февральскую ночь, почти умирал. И все-таки первые слова, едва он очнулся тогда, после тяжелейшей операции: «Пустите меня! Я должен отыскать своих!»

Второй тоже неплох, видна в нем лихость, бесшабашность какая-то, и товарищ он хороший, заботился о раненом, ходил за ним, как нянька. Но в первом, в Дени, Жермен угадывает бо́льшую внутреннюю жизнь, тонкий интеллект, скрытый огонь, сильную волю. Все-таки надо бы разузнать, что там у них происходит, как он относится к Николь. О, как все смешалось на свете из-за этой страшной войны, сколько кругом горя и как мало радостей! Надо, о, как надо бы им с Николь поговорить по душам, да разве это возможно? Николь при малейшем намеке взорвется как петарда — Жермен отлично это знает. Но что выйдет из всего этого?

— Эй, Жермен, что ты там возишься? Хочешь свежий анекдот?

Ну конечно, Жермен не прочь послушать. Несмотря на оккупацию, по Парижу ходит множество дерзких историй, высмеивающих бошей, издевающихся над их повадками.

Николь просто-таки захлебывается:

— Слушай! В переполненном автобусе немецкий солдат наступает на ногу пожилому французу. Тот охает и отвешивает немцу оплеуху. Пока прибегает контролер, пока вступаются пассажиры, из глубины автобуса пробирается маленький старичок, размахивается и тоже дает немцу оплеуху. Разражается скандал, всех трех ведут в полицию. Полицейский комиссар допрашивает «пострадавшего» и обоих драчунов. «Видите ли, у меня очень чувствительные ноги,— го-

ворит пожилой француз,— мсье наступил, и у меня от боли — моментальный рефлекс. Но я прошу мсье извинить меня».

Бош ворчит:

«Рефлекс! Странный рефлекс... Но, в конце концов, я готов извинить мсье. Однако вторая оплеуха...»

Комиссар обращается к старичку:

«Вам на ногу никто не наступал, и вообще вы сидели далеко. Почему же вы ударили мсье?»

«Как вы не понимаете, комиссар? — отвечает старичок.— Когда я увидел, что бьют немца, я решил, что англичане уже высадились».

Жермен смеется, откинув тонкую белую шейку. Николь польщена: ее анекдоты имеют успех.

— Хочешь еще? Слышала стихи про рождество? Нет?

У нас не будет нынче рождества —
Эвакуировали Деву и Христа,
Иосиф в лагере вымаливает хлеб,
А боши реквизировали хлев.
Всех ангелов с небес зенитки сбили,
Волхвы в Британию давно уплыли,
Бык ныне царствует в Берлине, а осел...
Он в Риме стойло теплое нашел.

— Ты набита анекдотами и историями, точь-в-точь как старый матрац соломой,— объявляет Жермен.— Где ты набралась? Наверно, у Жан-Пьера? Кстати, ты давно не рассказывала ничего о наших русских. Как они там? Как здоровье Дени? Зажил его шов? И вообще, как они прижились у Жан-Пьера?

— Шов заживает. С Жан-Пьером оба ладят,— буркнула, внезапно мрачнея, Николь.

— Ну еще бы не ладить, ведь Келлер такой добряк. Вот кто по-настоящему хороший человек! — продолжала Жермен, точно не замечая переменившегося настроения сестры.— А у Дени характерец неукротимый, вроде твоего. Никогда не забуду, как он бушевал здесь, у нас, как требовал, чтобы его немедленно отпустили. Ему, видите ли, надо во что бы то ни стало сию минуту идти куда-то, кого-то отыскивать, сражаться с фашистами. Ничего не желает слушать, рвется с постели. А ведь какая была рана — легкое прострелено, весь исходил кровью. Доктор Древе, когда извлекал пулю, шепнул мне, что не очень-то надеется на благополучный исход...

— И все-таки, несмотря на все это, ты и Гюстав потребовали, как только Дени стал передвигаться, чтобы он и Поль перебрались в Виль-дю-Буа, к Келлеру,— зло перебила ее Николь.— Потребовали, чтоб они ушли от нас!

— О, ну сколько же можно говорить об одном и том же! — в сердцах воскликнула Жермен.— Ты что, маленькая, не понимаешь? Им нельзя было здесь оставаться. Два взрослых парня в крохотной квартирке, которая у всех на виду, можно сказать, в самом центре Парижа! У нас и немцы покупатели бывают, и соседи непременно бы дознались, что у нас живут чужие... А это всем нам грозило самыми страшными последствиями. Да и не одним нам, ты это отлично знаешь сама, только делаешь вид, будто мы поступили жестоко из эгоизма. Тебе нравится мучить меня и Гюстава,— уже жалобно договорила старшая сестра.

— Да уж твой Гюстав...— протянула Николь.

— Вовсе он не мой. Он общий! — опять вспыхнула Жермен.— Ты же знаешь, чем он занят. Разве это его собственные дела?

Николь успокоительно похлопала сестру по хрупкому плечу.

— Не кипятись, пожалуйста, никто не обижает твоего Гюстава. Я тоже, между прочим, уверена, что он и герой и мировой парень. Только уж слишком педант. Вообразил себя настоящим вождем и завел такую дисциплину — не вздохнуть! Кстати, Дени меня расспрашивал о нем и о Келлере. Чем они занимаются, да почему Жан-Пьер торгует с немцами, и так далее. Кажется, он что-то подозревает. Тот разговор, когда он лежал у нас... Мы думали, он без сознания, а он, оказывается, все слышал.

Жермен испуганно вскинула глаза.

— Какая неосторожность! Надеюсь, ты ему не сказала?

— Но ведь из Бетюна пришел хороший ответ! — возразила Николь.— Они оказались своими, все подтвердилось.

— И все-таки, покуда Гюстав не позволит, я тебе запрещаю болтать на эти темы,— строго сказала Жермен.— Я ничего не имею против,— прибавила она,— мы очень рады, что Шарль так о них отозвался, да и Гюставу они оба нравятся. Гюстав говорит: надо по-

знакомить русских с нашими. Пускай наши своими глазами увидят тех, кто бьет немцев. Правда, ни Дени, ни Поль боев и не нюхали, но ведь они той же породы, советские. Думаю, если дойдет до дела, они не подведут.

— Еще бы! — горделиво сказала Николь.— Дени — это знаешь какой парень!

— Вот Гюстав и хочет...— начала Жермен.

Николь вдруг сердито покраснела.

— Как, уже выводы? Уже намерен их использовать?!

Жермен остро глянула на младшую сестру.

— А что? Тебе это не нравится? Ты возражаешь?

— Да нет,— заметно смутилась Николь,— я ничего не говорю. Только Дени, по-моему, еще слаб для чего-нибудь серьезного. Ведь он только недавно поднялся.

— Но если нужно?

— Тогда вместо него пойду пока я! — решительно сказала Николь.

«Ого, как видно, это всерьез!— думала, хмурясь, Жермен.— Как она вскинулась! Смотрите-ка, готова на риск, даже собой пожертвовать, лишь бы уберечь его. О, это очень-очень серьезно...»

Вслух она сказала:

— Все это не нам решать. Кажется, скоро станет очень горячо.

— Тебе известно что-нибудь новое? — с живостью спросила Николь.

— Нет, все, что было, тебе известно, как и мне. Но если взглянуть на сводку...

— Покажи! — потребовала Николь.

— Пожалуйста.

Жермен нагнулась к нижним стеллажам. Там, за толстыми томами «Истории масонства», был выдолблен в стене тайничок. Жермен, не глядя, нащупала бумажный жгут, вытянула его, развернула.

— Нá, читай!

Вот что прочла Николь:

«6 апреля в пять часов вечера колонна фашистских солдат в полсотни человек возвращалась из ресторана на площади Наций. На углу бульвара Шаронн три партизана подкараулили колонну и бросили в нее несколько бомб. Десятки убитых и раненых фашистов.

10 мая у Одеона партизаны напали на группу эсэ-

совцев. Фашистов забросали гранатами. Много убитых и раненых.

22 мая на бульваре Линне атакована машина бошей».

Николь обратила к сестре разгоряченное лицо.

— И все это совершила одна группа? Всего несколько человек?

— Кажется,— кивнула Жермен.— Наверное ничего еще не известно. Но и другие, ты же знаешь, не сидят сложа руки. Сама видишь, в Париже бошам становится неуютно.

— Браво-о! — заорала вдруг совершенно по-мальчишечьи Николь и подбросила к самому потолку одну из своих «Последних в жизни», да так, что туфля звонко шмякнулась об пол оторванной подметкой.— Браво, скоро мы с ними разделаемся! Скоро победа!

— Тише ты, сумасшедшая, соседи сбегутся или, чего доброго, услышат боши! — унимала ее, сама очень довольная, старшая сестра.

2. В ВИЛЬ-ДЮ-БУА

— Чем могу служить, мадемуазель Роллан?

— Я по поводу Арлетт, мсье Келлер. Пришла поговорить о вашей девочке.

— Опять что-нибудь натворила в школе? Вот негодница! Девчонке тринадцать, совсем уже большая, а никак не может без шалостей!

— На этот раз это не шалость, мсье Келлер,— начала, растягивая слова, учительница.— Если посмотреть на это как на... И вообще многие могли бы расценить это как...

Мадемуазель Роллан окончательно запуталась. Ее надутые красные щеки — точь-в-точь детские воздушные шары,— казалось, готовы были лопнуть.

— Да что же такое сделала Арлетт? — не на шутку встревожился Келлер.— Что выкинула? Вы сказали, что это может быть расценено как... что?

— Как политическая акция! — единым духом выпалила мадемуазель Роллан.— Да-да, ведь у нас есть такие, что не дремлют. Они готовы приписать школе и мне самой бог знает что!

И мадемуазель Роллан принялась залпом выкладывать «дело» Арлетт:

— Был урок пения. Я вела его сама, потому что мадам Бернар больна. Я не очень-то знаю их обычный репертуар. И вот я предложила девочкам петь то, что им самим нравится. Тогда вышла ваша Арлетт, сделала знак остальным и начала петь, как бы вы думали, что?

— Понятия не имею,— пожал мощными плечами Келлер.— Какую-нибудь неприличную шансонетку?

— О, если бы! — воскликнула учительница.— Нет, нет, все было много хуже! — Она всплеснула руками.— Вообразите, Арлетт запела издевательскую песенку о радио:

От зари и до зори
Врет Радио-Пари,
И знает весь народ,
Что немец подло врет!

А окна в классе открыты, мимо идут люди... Вы понимаете мое волнение, мсье Келлер? Что подумают?! Ведь всюду есть любители так преподнести это, что меня сразу уволят. И школу могут закрыть! Скажут: «Вы внушаете детям такие идеи, такие настроения...» — Мадемуазель Роллан отерла носовым платком щеки, обмахнулась: ей было жарко.

Келлер неторопливо передвигал на полке за прилавком какие-то банки, бутылки. Учительнице вдруг показалось, что он усмехается. Как! Ему смешно? И тут вдруг учительница увидела и впрямь ухмыляющуюся физиономию Келлера.

— Вот негодница эта Арлетт! — не сдержавшись фыркнул он.— Распевать такие песенки под носом у бошей! Ай-ай-ай! — Он покачал головой с самым лукавым видом.— Но согласитесь, мадемуазель, для этого нужна смелость. Не правда ли? Мне даже хочется аплодировать им, нашим ребятам. А вам разве не хочется? Ну, скажем, так, самую малость. Разве вы не согласны с этой песенкой? Ведь в самом деле передачи бошей — это препротивная штука. Сплошное вранье! Неужто вам они нравятся?

Мадемуазель Роллан мялась, теребила носовой платок.

— Ну да, ну да, мсье Келлер, в какой-то степени

и я не в восторге от их радио. Но поймите, моя работа... Ведь может быть комиссия...

— Не беспокойтесь, вас не дадут в обиду, мадемуазель,— прищурился лавочник.— Я вам это обещаю.

В его голосе была такая уверенность, что учительница невольно начала успокаиваться. «А ведь и в самом деле Арлетт молодчина! — мелькнуло у нее вдруг.— И что это я праздную труса? Право же, этот Келлер может подумать, что я совершенная дрянь». На лице у нее можно было легко прочесть эти мысли. Во всяком случае, Келлер смотрел на нее очень добродушно.

— Так я пойду, мсье Келлер,— сказала учительница.— И, пожалуйста... ничего не говорите Арлетт. Давайте забудем этот эпизод.

— Давайте забудем,— улыбаясь, подтвердил Келлер.

За Орлеанскими воротами Парижа, в предместье Виль-дю-Буа, все знали толстяка Келлера, приказчика в сельской лавочке, где можно было купить все нужное здешним людям — от лопаты и вина до ситцевого платья и гитары. Знали не только самого веселого и острого на язык Келлера, но и его жену Фабьен и двух детей — пятнадцатилетнего Андре и тринадцатилетнюю Арлетт.

Для огородников, водопроводчиков, мелких служащих, населяющих Виль-дю-Буа, лавка Келлера служила вечерним клубом: сюда можно было зайти пропустить стаканчик аперитива, почитать свежую газету, а главное, обменяться местными новостями: кого выбрали в муниципалитет, мальчика или девочку родила мадам Оливер, на ком именно женится старший сын Мигрелей, и за сколько приобрел свой подержанный «Панар» молодой Кювье. Жан-Пьер Келлер охотно принимал участие в этих вечерних бдениях, но не забывал ловко и быстро обслуживать покупателей. Фабьен была неизменно приветлива, а ее стройная фигура и пикантное личико очень нравились мужчинам.

Однако с тех пор как пришли оккупанты, вечерние собрания в лавке почти прекратились. Кому охота нарываться на неприятности, если введен комендантский час и людей вечерами хватают прямо на улице!

И потом, боши очень подозрительно относятся ко всяким сборищам французов, в особенности в последнее время, когда начались разные «акции». Того и гляди, нагрянут в лавку, начнется проверка документов, выяснение личности, да мало ли еще что...

Кроме того, в лавке часто бывали немцы. Да, да, они бывали там, покупали пиво, прославленные французские сыры и охотно болтали с приказчиком по-немецки. Ведь Келлер, уроженец Эльзаса, говорил по-немецки, как истый немец, да и похож был на немца — крупноголовый и крупнотелый и тоже любитель пива. Но именно на своей родине, в Эльзасе, Жан-Пьер Келлер насмотрелся на повадки бошей, на их грубость, самомнение, жестокость. Когда к власти пришел Гитлер, он окончательно возненавидел всех его последователей. А уж когда гитлеровцы явились в Париж...

— Ого, поглядите-ка в окно!— закричал однажды утром своим домашним парикмахер Греа, живший в домике напротив лавки.— Ну-ка, ну-ка, что вы там видите?

Домашние Греа, а вместе с ними и другие жители Виль-дю-Буа увидели у лавки Келлера развевающиеся на ветру выставленные для продажи ситцевые платья и фартуки. Все эти платья и фартуки были трех цветов — синие, белые и красные. Издали казалось, что над домом Келлеров реют национальные флаги Франции, те самые флаги, которые были строго-настрого запрещены оккупантами.

А на следующий день Келлер выставил прямо на углу ящики с мылом в трехцветной обертке. А потом вдруг Фабьен и Арлетт появились на улице в красных косынках, белых блузках и синих юбках. Они весело подмигивали встречным; мотайте, мол, на ус — жив дух Франции, ничем его не сломить и настоящие патриоты-французы плевать хотят на бошей.

Проделки Келлера и его семейства нравились рабочему люду в Виль-дю-Буа, однако многие боялись за толстяка и его семейство.

— Он многим рискует, наш верзила. Надо его предостеречь. Недолго и попасть в лапы наци. Ведь здесь всюду бывают боши. Вдруг поймут...

Однако с некоторых пор Келлер прекратил свои «трехцветные» проделки. Теперь, открывая утром окна, обитатели Виль-дю-Буа уже не видели у лавки французские национальные цвета. Лавка как лавка, таких

тысячи под Парижем. Жители, хотя они сами предостерегали Жан-Пьера, теперь, когда он послушался их советов, были как будто даже слегка разочарованы.

— Эге, струсил, видно, наш Келлер.

— Возможно, боши догадались и пригрозили ему арестом, чтоб он унялся.

А мсье Греа, парикмахер, пустил слух, что Келлера даже вызывали в префектуру.

Как бы там ни было, но Жан-Пьер действительно больше не шалил, никак не отзывался на антинемецкие анекдоты покупателей, сделался очень сдержан и, казалось, был совершенно поглощен лавкой и домом.

Впрочем, Жан-Пьер был только приказчиком в лавке, как и Фабьен и Андре. Владелец, крупный финансист Номе, у которого было несколько тысяч таких лавок по всей Франции, уехал в начале войны в Виши и в Париже не появлялся.

Жан-Пьер снимал двухкомнатную квартирку над лавкой. Одна комната — полукухня-полукладовая. Вторая служила спальней, столовой и кабинетом для всей семьи. Здесь на длинном столе обедали, делали уроки, писали счета поставщикам. Родители спали на широкой кровати, для детей были сделаны двухэтажные нары: наверху спал Андре, внизу — Арлетт. В уборную приходилось бегать вниз, во двор, умывались под рукомойником.

Было и еще одно помещение — подвал под лавкой, служивший некогда складом товаров. Там, в хорошие, довоенные времена хранились бочки с вином и прованским маслом, мешки с мукой и сахаром. Но сейчас запасов уже давно не было, и ни Келлер, ни его жена, ни Андре не спускались в подвал. Про Арлетт и говорить нечего: хотя она и считала себя совершенно взрослой, ни за что не пошла бы одна в подвал: ей чудились там то затаившиеся грабители, то привидения.

И вот однажды, когда семья уже готовилась ко сну, влетела бледная Арлетт. Она только что спустилась в уборную.

— Шаги!

Андре, который уже лег, свесил лохматую голову со своей «башни».

— Какие шаги? Где?

— В подвале. Там кто-то ходит!

Андре незаметно переглянулся с отцом. Потом насмешливо засвистел:

— Фью-у! Опять привидения? Вот трусиха-то! А еще хвастает, что взрослая.

— Что ты мне толкуешь! — закричала, чуть не плача, Арлетт.— Я не сумасшедшая, я очень хорошо слышала шаги. Там кто-то есть!

Келлер, который уже собирался ложиться, сказал успокоительно:

— Ну вот что, ты укладывайся спать, а мы с Андре сейчас сойдем вниз и все осмотрим.

— О папа, я боюсь, на вас там нападут! Я пойду с вами! — взмолилась Арлетт.

— Глупенькая, ничего с ними не случится. А здесь с тобой останусь я,— нежно сказала ей мать.— Не бойся ничего.

Арлетт для храбрости заползла в постель к матери, а двое мужчин из семейства Келлеров вооружились фонариком и отправились вниз, в подвал.

Со своего места Арлетт не могла видеть, что вместе с фонариком отец захватил большую булку, изрядный кусок масла и кастрюлю с супом, оставшимся от обеда.

Отец и брат пропадали так долго, что Арлетт еще больше встревожилась и предложила матери вдвоем идти на выручку.

— Мы здесь лежим, а там их, может, убивают,— дрожа, шептала она Фабьен и уже порывалась вскочить и бежать прямо в ночной длинной рубашке вниз.

Но тут вернулись мужчины. У обоих был совершенно спокойный и буднично-равнодушный вид. Келлер направился к постели.

— Ну-ка, несчастная трусиха, перебирайся к себе,— решительно сказал он Арлетт.

— Она вовсе не такая уж трусиха,— вступилась за дочку Фабьен.— Она даже собиралась бежать к вам на помощь.— Фабьен смеющимися глазами исподтишка взглянула на мужа.

Андре взобрался на свою «башню» и оттуда хихикал и строил Арлетт насмешливые гримасы.

— Что ж вы там нашли? Был там кто-нибудь? — все еще трепеща, спросила Арлетт.

Брат захохотал.

— Были. Там были две большие крысы.

— Кры-сы? — недоверчиво протянула Арлетт. — Но разве крысы могут так сильно топать?

Андре окончательно развеселился.

— Еще как! — закричал он. — Топают прямо как лошади!

— Папа, а он не врет? Неужто крысы действительно топают? — повернулась Арлетт к отцу.

Жан-Пьер потушил лампочку у изголовья.

— А ты, оказывается, не только трусиха, но и дурочка, — донесся до Арлетт его сонный голос. — Спи, крысоловка!

3. РУССКИЕ

С этого вечера Арлетт невольно для себя начала примечать в доме много такого, на что раньше не обращала внимания. Например — она это хорошо знала, — со времени прихода бошей отец терпеть не мог ездить в Париж, а если была такая необходимость, торопился как можно скорее вернуться домой и, воротясь, на чем свет стоит проклинал оккупантов и все их новые порядки. А теперь то Жан-Пьер, то Андре забирали старенький дребезжащий велосипед, битком набивали багажную сумку какими-то свертками и пропадали иногда до самого комендантского часа. Зачастили к ним в дом какие-то новые, неизвестные Арлетт люди: рыжеватый молчаливый молодой человек, которого отец звал Гюставом, и еще долговязая девушка со смешными мальчишескими вихрами, решительными манерами и смущенным лицом, приезжавшая всегда на минутку. Отец и брат вели их обычно наверх, в комнаты, о чем-то тихо разговаривали и под разными предлогами выпроваживали Арлетт.

Были и другие происшествия, помельче, но тоже странные. Например, пропала, точно в воду канула, любимая фаянсовая кружка Арлетт, из которой она с детства пила молоко. Девочка нигде не могла ее найти, хотя спрашивала всех домашних. Исчезли куда-то две раскладушки, на которых обычно устраивали дядю и тетку, приезжавших раз в год из Прованса. Арлетт лезла с вопросами к Фабьен, но та либо не слышала, либо отделывалась самыми неопределенными ответами.

А подвал! Арлетт теперь ни за что не хотела одна проходить мимо подвала. Ведь ей чудились не только

шаги, но и голоса, и хотя Андре продолжал насмешничать, она брала его в провожатые и все-таки боязливо косилась на серую, плотно закрытую дверь.

А однажды, вернувшись из школы, Арлетт услышала, как мать сердито выговаривает отцу:

— Ты доведешь бедняжку до галлюцинаций! Когда уж вы покончите со своими секретами? Ведь это глупо, наконец, она же не маленькая!

— И все-таки недостаточно взрослая, чтобы ей доверять такие вещи,— не сдавался отец.— Вдруг разболтает подружкам в школе или похвастает, что ей известно такое, чего не знают другие... А тут дело идет о судьбе людей. Вот Андре — на того уж можно опереться, как на взрослого. Ты знаешь, как он...

Отец заговорил шепотом, и Арлетт, навострившая уши, больше ничего не смогла разобрать.

— И все-таки надо ей сказать,— не сдавалась Фабьен.

Должно быть, она сумела убедить Келлера, потому что в тот же вечер он взял Арлетт за руку и повел по лестнице вниз, к двери подвала.

— Зачем? Куда ты меня ведешь, папа? Я не хочу,— отбивалась изо всех сил удивленная и испуганная Арлетт.

— Хочу познакомить тебя с нашими крысами,— усмехаясь, сказал отец.

— С крысами?

— Ну да, с теми, которые топочут и разговаривают.

Жан-Пьер трижды постучал в дверь подвала. Дверь бесшумно открылась, и в глаза Арлетт блеснул свет керосиновой металлической лампы, которая раньше — Арлетт это помнила — валялась, позабытая и ненужная, у них в чулане.

Первое, что увидела девочка,— две раскладушки, приткнутые к углу и накрытые одеялами, что продавались у них в лавке. Посреди подвала возвышался грубо сколоченный стол («И когда это папа его сколотил?» — удивилась Арлетт), на котором лежала доска с металлическим барабаном, заканчивающимся ручкой-вертушкой. На столе Арлетт заметила и свою пропавшую кружку, и старую пишущую машинку отца. Но все это она увидела уже как бы вторым зрением и мельком. Главное же, на что устремился ее взгляд, были двое юношей в толстых темных свитерах, чуть постарше ее самой, может быть, ровесники

Филиппа Греа — сына соседа-парикмахера, с которым уже начинала кокетничать Арлетт.

Один юноша — темноволосый, очень бледный — показался Арлетт необыкновенно красивым и значительным. Другой был кудрявым блондином с мелкими чертами лица. Увидев ее, он дружески улыбнулся и протянул руку.

— Вот вам новая знакомая, ребята,— обратился к ним Келлер.— Трех членов семьи Келлер вы уже знаете, а это четвертый — моя храбрая дочка Арлетт.— Он повернул к Арлетт свое круглое добродушное лицо.— Арлетт, ты уже большая и все понимаешь Я думаю, ты сумеешь сохранить тайну, которую мы тебе доверим. Эти парни — русские. Ты никогда еще не видела русских, но слышала, какие они храбрые и как побеждают бошей. Ну вот, этих ребят боши увезли с их родины, хотели сделать рабами, а они не поддались, удрали. Их преследовали, чтобы с ними расправиться, до сих пор, наверное, ищут по всем городам. А мы решили спрятать их пока у нас. Здесь они в безопасности. Но ты понимаешь, дочка, ни одна душа не должна знать, что они здесь.

— Понимаю,— прошептала Арлетт.

— Ты даешь мне слово, что никому на свете не проговоришься?

— О папа!— только и сказала Арлетт и так посмотрела на отца, что Жан-Пьера бросило в жар — ему стало стыдно.

— Хорошо, хорошо, ты не подведешь нас, я уверен, ты же у нас умница,— зачастил он и, чтобы скрыть смущение, обратился к юношам:— Ну как, справились с этой партией?

— Давно готова, можете забирать, Жан-Пьер,— тотчас же отозвался темноволосый, и Арлетт удивилась, как хорошо и правильно говорит он по-французски, почти без всякого акцента.— На этот раз Поль крутил ротатор, а я был за машинистку.

Так Арлетт узнала, что неизвестную машину с валом называют ротатором и на ней печатают листовки. Что это за листовки, она уже сообразила сама. Темноволосый сказал несколько слов на незнакомом языке, и кудрявый вытащил из-под раскладушки тяжелый на вид сверток.

— Вот, все здесь.

Келлер приотворил дверь, негромко позвал:

— Андре!

Мальчик вырос словно из-под земли — видно, стоял поблизости. Увидев сестру, подмигнул.

— Ага, так тебе наконец показали наших крыс? Вот это Дени,— он кивнул в сторону темноволосого,— а это его земляк и товарищ Поль. Оба очень стоящие парни, можешь мне поверить.

— Ну ладно, ладно, успеете еще познакомиться по-настоящему,— прервал его отец.— А сейчас, Андре, бери велосипед. Поедешь, как всегда, к Орлеанским воротам. В самый центр города незачем ехать. Да хорошенько упакуй сверток, чтоб к тебе не прицепились. А то полиция и боши так и рыщут.

— Не беспокойся, ко мне не прицепятся,— махнул рукой Андре.— Я им чего-нибудь навру. А там, у Орлеанских, кто-нибудь возьмет у меня эту штуку?

— Там тебя будут ждать.

— Конечно, опять явится эта ваша долговязая? Она у меня в печенках сидит, даю слово! Соплячка такая, сама еще за партой, наверно, а туда же. Кличет меня малышом, дразнится...

— Это ты о Николь?— со смехом прервал его Дени.— За что ты на нее взъелся? Она очень милая и товарищ отличный, да и вообще...

— Для кого, может, и милая, а для меня так довольно противная,— проворчал Андре.— Ну ладно, довольно трепаться, давайте, что вы там настряпали. Мне ехать пора.

Андре явно рисовался перед сестрой своей деловитостью и доверием, которое оказывали ему взрослые. Арлетт не выдержала:

— О папа, а я?..

— Что тебе?— обернулся к ней Келлер.

— Папа, а я что? Разве я не могу тоже делать что-то, помогать, как Андре?

— Но ты же учишься в школе.

— Школа? Кто сейчас всерьез думает о школе? Я говорю не об этом. Я тоже хочу участвовать в ваших делах. Я тоже могу ездить на велосипеде, выполнять поручения. И я ничего не побоюсь.

У Арлетт был решительный вид. За те несколько минут, что она провела здесь, в подвале, с русскими, о которых знала до сих пор только по книжкам да по военным сводкам, все вдруг предстало перед ней в новом

свете. Слова «сопротивление», «листовки», «подпольная типография», известные лишь понаслышке, внезапно обрели плоть и кровь, приблизились, стали ощутимо реальными. Так вот кто эти ребята, вот кто ее отец, мать, брат Андре!.. Значит, и они в Сопротивлении! Значит, и те люди, которые приезжали сюда, и даже эта длинноногая девочка-подросток — все делают одно большое, самое нужное сейчас дело! Так неужто же она, Арлетт, останется в стороне?

— Ты еще маленькая для таких поручений!— донессся до нее голос отца.— Да и мама будет против.

— Мама? Мама не бvдет против, ручаюсь. Мама знает, что я все могу, все понимаю!— Арлетт нахмурилась.

— В самом деле, Жан-Пьер, почему бы не приспособить вашу Арлетт к работе?— вмешался вдруг Даня.— Она могла бы, например, стать отличной связной, ездить в Париж, передавать что нужно товарищам. Да мало ли что может сделать полезного Арлетт. Полиции и в голову не придет, что девчурка помогает подпольной организации.

Арлетт с благодарностью посмотрела на своего защитника.

— А когда нам будет разрешено появиться на свет из этого подвала, мы сможем брать ее с собой,— продолжал Даня.— Отличная будет маскировка: полиция никак не заподозрит приличных юношей, которые ведут, скажем, младшую сестренку в школу или в кино.

— Эге, здорово же ты идеализируешь нашу полицию и бошей, Дени,— проворчал Келлер.— Знаешь, они с превеликим удовольствием уничтожают даже детей.— Он обратился к Арлетт:— Подумаем. Поговорим с мамой. Может, ты и правда сможешь кое в чем помочь.

Арлетт в восторге подскочила к отцу и звонко чмокнула его в пухлую щеку.

— Но помни: это не игра. И дело идет не только о нас и наших жизнях. Дело идет о многих людях,— сурово добавил Келлер.

4. ТАЙНЫЕ БОЙЦЫ

На бульварах каштаны выбросили первые свечки. В садах крепко пахнет травой, свежими почками, теплой землей. Солнце золотыми яблоками падает на дорожки.

В Париже весна. В Париже продают фиалки и крокусы. В Люксембургском саду, в Булонском лесу бегают еще не загорелые ребятишки, галдят, как грачи весело и беспорядочно, пускают в фонтанах разноцветные кораблики. А у садовых решеток, там, на улице, где можно только издали любоваться новой травой, где чуть слышно дуновение весны, гуляют со своими детьми еврейские матери. И у матерей и у ребятишек на груди желтые звезды — знаки отверженных. Это немцы велели всем евреям носить желтые звезды и запретили им вход в сады и парки.

О весне и о желтых звездах рассказала Дане и Павлу Николь, приехавшая в Виль-дю-Буа.

— Проклятые!— Даня говорил сквозь зубы.— Когда, когда же наконец мы выйдем отсюда? Когда начнем делать что-то настоящее?!

— Но послушай, Дени, ведь то, что ты и Поль делаете, это тоже очень важно,— попыталась утешить его Николь.— Из ваших листовок люди узнают правду о положении на фронтах, о том, что делается в России, во Франции, в Англии... Если бы не вы, французам-патриотам пришлось бы пробавляться враньем бошей.

— О, я и без тебя все понимаю!— с досадой отмахнулся Даня.— Но Гюстав обещал, понимаешь ты, твердо обещал свести нас с нашими советскими товарищами, обещал, что мы скоро сможем выбраться из этого подвала, стать настоящими бойцами.

Николь смущенно замолкла: она-то хорошо понимала нетерпение своего друга. Особенно теперь, когда такой напряженной стала жизнь, когда каждый день приносил известия о какой-нибудь «акции». То на станции метро убивали эсэсовского офицера, то бесследно исчезал немецкий патруль, то в колонну нацистских солдат бросали бомбу. Сопротивление росло. В него вливались рабочие, студенты, врачи, ученые, священники. Подпольщики наладили связь с французской полицией, начали добывать через жандармов бланки документов и фальшивые продовольственные карточки.

— Все, все что-то делают, борются, а мы отсиживаемся и вправду как крысы в подвале!— кипел Даня.

Глядя на него, и Павел стал возмущаться, требовать, чтоб их наконец выпустили «на волю» (Павел уже начинал немножко объясняться по-французски).

— Ага, не терпится лезть под пули!— проворчал Келлер, застав обоих русских в унылом разговоре с Николь.— Что ж, значит, здешней работки вам недостаточно? Недостаточно все мы, по-вашему, рискуем головой? И она,— он ткнул пальцем в Николь,— когда привозит восковки... И мы с Андре и Фабьен, когда доставляем в город отпечатанные листы... И Арлетт, которая достает бумагу и краски и ездит с поручениями к товарищам? И наши люди, которые расклеивают и разбрасывают по всему Парижу листовки? И вы оба, печатающие их,— разве вам не довольно риска, опасности, напряжения? Кругом ходят немецкие патрули, рядом — немецкая дорога, в лавке у меня то и дело боши, а вам все мало? Эх вы, мушкетеры несчастные! Да знаете ли, что в одном будничном дне наших людей, может, больше героизма, чем в самой приключенческой кинокартине!— И Жан-Пьер с таким негодованием посмотрел на обоих русских, что те невольно потупились.

— Ну да, ну да, вы, конечно, правы, Жан-Пьер, но поймите и нас,— горячо начал Даня.— Каждый день мы печатаем листовки о победах над гитлеровцами. Наши войска там, в Советском Союзе, освобождают целые города, немцев прогнали из Курска, Краснодара, Ростова. Здесь, в Париже, да и по всей Франции люди тоже сражаются с фашистами, бросают бомбы, уничтожают врагов. А мы что? Печатать листовки — да это могут делать и Андре с Арлетт. Мы их научим, если уж на то пошло, быстро научим!

— Мы хотим уйти отсюда, чтобы драться!— подхватил Павел.— Воевать хотим!

— Тра-та-та! Драться? Воевать? Но для этого нужно иметь то, чем воюют,— усмехнулся Келлер.— У наших почти нет оружия. Лондон говорит возвышенные слова о долге патриотов, а о том, чтоб снабдить патриотов револьверами и пулями, помалкивает.

— Вы только выпустите нас, а уж оружие мы себе сами добудем,— подмигнул Павел.— У каждого жандарма, у каждого полицейского пистолет... Просто руки чешутся!— Он опять подмигнул.— Я это дело еще в лагере освоил.

— Вот как?— Келлер присвистнул.— А ты, оказывается, лихой парень, Поль!

— А как же!— Павел гордо выпятил грудь.

— Хоть ты и лихой, а не подумал, что будет со всеми

нами, если ты пойдешь «раздевать» жандарма и вдруг попадешься,— продолжал Келлер.— Это, сынок, не так просто, как тебе кажется. И потом, на каждое такое дело нужно разрешение старших.

Павел сделал гримасу.

— Разрешение?

— Да-да,— кивнул Жан-Пьер.— Для начала я попробую поговорить с Гюставом. Только сейчас он, кажется, очень занят.— И, кивнув на прощание Николь, Жан-Пьер ушел.

Даня и Павел бросились расспрашивать Николь, чем именно занят Гюстав. Однако длинноногая оказалась на редкость необщительной.

— Почем я знаю? Гюстав ни мне, ни Жермен не докладывает о своих делах.

— А если бы докладывал, ты рассказала бы нам?— напрямик спросил ее Павел.

В ответ Николь только пожала худенькими плечами.

Уже много дней Гюстав не появлялся в книжной лавке сестер Лавинь. Жермен начала тревожиться, не попался ли он гестапо.

Некоторым членам своей группы Гюстав велел заучить телефон, по которому его можно было вызвать. Однако телефоном этим можно было воспользоваться только в случае какого-нибудь чрезвычайного происшествия. И как ни болело сердце у Жермен, она не решилась позвонить, хотя помнила телефон наизусть. На ее счастье, от Гюстава наконец прибыл связной, передал, что все в порядке — Гюстав скоро явится сам. Связной привез важную новость: во Франции создан Национальный Комитет Сопротивления.

— О Николь, это замечательно!— ликовала Жермен.— Вот увидишь, теперь у нас будут и настоящие типографии, и оружие, и все, что нам нужно для победы! Вот когда мы покажем себя этим гнусным бошам!

Николь тотчас оседлала свой драндулет и помчалась в Виль-дю-Буа сообщить новость друзьям. И радостно и тревожно было у нее на душе. Радостно потому, что она знала, как томится в своем вынужденном заточении Дени. А тревожно потому, что скоро, конечно, он уйдет из подвала, уйдет бойцом, мстителем, и тогда... кто знает, увидит ли его еще Николь!

Уже через несколько дней начали оправдываться

надежды Жермен. Арлетт привезла обоим русским удостоверения личности и продовольственные карточки. Во второй раз Даня и Павел становились поляками: Даня — Тадеушем Скаржинским, Павел — Лео Квятковским. Опять пришлось затверживать новые биографии.

Удостоверения — «карт д'идентитэ» — были изготовлены искуснейшим гравером, которого отыскал и представил сестрам Лавинь профессор Одран. Да-да, профессор Одран недаром намекал Жермен на свою осведомленность: он оказался подпольщиком, членом Сопротивления, и, кажется, даже более давним, чем сама Жермен.

Теперь уже ничто не удерживало Даню и Павла в подвале Келлера, тем более что они быстро научили Фабьен и Андре управляться с машинкой и ротатором.

Вечером в комнате Келлеров наверху состоялся «военный совет»: когда и как выходить русским из дома.

— Подозрителен мне наш сосед, парикмахер Греа,— промолвил, покусывая губы, Жан-Пьер,— он вечно торчит у окна, а оттуда весь наш дом как на ладони.

— Но, папа, мсье Греа тоже из наших,— скромно подала голос Арлетт, сидевшая на своей двухэтажной кровати.

— Что-о?!— Жан-Пьер даже подскочил на стуле.— Греа в Сопротивлении? Да откуда ты это взяла?

— Филипп Греа как-то помог мне отвезти листовки и сказал, что его отец давно уже в Сопротивлении. Он, оказывается, когда бреет офицеров-бошей, ухитряется выудить из них много всяких полезных новостей,— все так же скромно сообщила Арлетт.

— О-о, полюбуйтесь только на этих конспираторов!— простонал Келлер.— Вот что значит неосторожность! Фабьен, что мне делать с этой девчонкой? Как заставить ее замолчать?

— Но, Жан-Пьер, дорогой, она же никому не повредила. Наоборот, сообщила очень важную новость, что Греа из наших,— встала на защиту дочери Фабьен.

— Конечно, эти две всегда заодно!— махнул рукой Келлер.— Сообщение о Греа еще нуждается в проверке. А вдруг это провокация? Разве мы не знаем такие случаи? Да, да, ты, пожалуйста, не маши руками, твои Греа могут оказаться самыми обыкновенными предателями, и мы все тогда попадем в ловушку,— продолжал

Жан-Пьер, не обращая внимания на возмущенные жесты дочери.— Я сейчас же должен это проверить, а пока не проверю и не выясню, можно ли им доверять, категорически запрещаю тебе посвящать Филиппа в наши дела. Слышишь?

— Слышу,— угрюмо отвечала девочка.— Но, папа, ты к ним несправедлив.

Келлер, не отвечая, обратился к обоим русским:

— Если все обойдется и товарищи скажут, что Греа — свои, вам, пожалуй, можно будет высунуть нос наружу. Документы есть, карточки тоже, все как будто в порядке. Возьмете в провожатые Андре или Арлетт и пожалуйста — ступайте в Париж. Тем более что знакомство с городом может вам в ближайшее время очень и очень пригодиться.

И, бросив эти многозначительные слова, Жан-Пьер поспешно ушел.

5. «АДСКАЯ МАШИНА»

Однако прошло еще много дней, прежде чем Келлер дал узникам подвала «зеленый свет».

Какое это было счастье — выйти в солнечный день на чистенькую улицу Виль-дю-Буа, пройти под зеленеющими деревьями, вдохнуть весенний воздух после пропахшего рыбой и сыром подвала! Вдали, в сизой дымке, лежал Париж, и у Дани при виде этой дымки что-то дрогнуло внутри! Париж! Город, знакомый с самого детства. Любимый с детства. Ведь это он, Даня, вместе с Гаврошем сражался на баррикадах, он был пятым среди друзей-мушкетеров и участвовал с д'Артаньяном во всех его поединках и приключениях. Он, как брат, любил и защищал Козетту. Даня знал Париж, знал названия его улиц, бульваров, набережных и сейчас как будто шел на свидание с городом своего детства...

Но погодите, погодите... Если вы думаете, что знакомство с Парижем для двух русских юношей началось как обычное знакомство туристов, то вы сильно ошибаетесь. Вот люди приезжают в новый город. Одни начинают свое ознакомление с музеев, другие — с его улиц и переулков, третьи предпочитают магазины, театры, общественные здания. А есть и такие, которые хотят узнавать в новом городе только людей. Но любителей,

6 Заказ 1424

которые начали бы первое знакомство с крыш, наверно, нашлось бы очень немного.

Да, да, вы не ошиблись и автор не оговорился. Вот они, крыши Парижа,— серые, розовато-жемчужные, чуть тронутые кое-где зеленью, иногда блестящие, иногда матовые, увенчанные то башенкой, то флюгером, то косым скатом мансарды. Кое-где прилепились балкончики, голубятни, решетки с выставленными на воздух цветочными горшками, с протянутыми веревками, на которых колышется разноцветное белье. Крыши, крытые шифером, железом, черепицей, алюминием. Крыши прошедших столетий и самые современные, крыши плоские, крутые, покатые...

Именно с крыш началось знакомство Дани и Павла с Парижем!

Кто первый придумал «адскую машину», как в шутку назвал ее Андре, они так и не смогли потом вспомнить. Знали только, что однажды, перед самым их выходом из подвала, приехала очень грустная Николь.

— Арестовали Беллона,— сказала она.— Это был лучший наш расклейщик листовок, да и вообще отличный парень, шофер с «Ситроена». Сейчас на заводе идет дознание, многих рабочих тащат на допрос. Все, с кем он хоть когда-нибудь общался, взяты на заметку. Его схватили, кажется, возле университета, когда он только собирался расклеивать. В лапы бошей попался хороший человек. Теперь придется утроить осторожность.

И еще она сказала, что расклейка — одна из самых опасных работ.

— Вот если бы можно было, чтобы листовки сами собой разлетались по улицам, как это бывает с самолета!— промолвила она мечтательно.— А то сколько всего надо тащить с собой: кисть, ведро с клеем да еще пачку самих листовок. Вот и попадаются на этом.

Она сказала это задумчиво, почти про себя, но три мальчишеские головы сразу воспламенились: стали шевелиться, расти разные мыслишки, придумки, словом, «изобретательская мысль» заработала. «А что, если...», «Попробовать, что ли...», «Нельзя ли так...».

Кто первый крикнул: «Постойте, я как будто придумал!»? Кажется, это был Даня, а может, кто-то из двух его товарищей. Да это и неважно. Важно, что через пять минут после этого вопля все трое уже лихорадочно носились по дому Келлеров, вытаскивали бидоны, пустые

банки из-под автомобильной пасты и масла, проволоку, какие-то дощечки. Андре без спросу забрался в инструментальный ящик отца. Все трое оказались неплохими механиками, умели обращаться с кусачками, тисками, молотком. Целый вечер троица что-то мастерила, прилаживала, спорила, ссорилась между собой, гнала от себя любопытную Арлетт, не отвечала на вопросы взрослых. Наконец «адская машина» была готова: дощечка с пружиной и банка, наполненная водой. При помощи пружины листовки прикреплялись к доске. Пружину придерживала, как балласт, банка с водой. В банке было невидимое отверстие, через которое вода постепенно вытекала. Когда банка оказывалась пустой, листовки освобождались от балласта и малейший ветерок разметывал их, подымая в воздух.

Это было как снегопад! Павел подул на них из велосипедного насоса, а потом просто так, ртом, и листовки полетели во все стороны, усеяли пол, шкаф, стол.

— Браво-о! Просто, как все гениальное!— в восторге завопил Андре.— Представляете, как они полетят с высокой крыши, где всегда ветер!

Даня умерил его восторг:

— Погоди кричать. Надо проверить с секундомером, во сколько минут вытекает вода из банки. Для нас это очень важно.

Секундомер показал шесть минут.

— Отлично! Этого довольно, чтоб обделать все наше дельце,— уверенно сказал Андре.— Я берусь за шесть минут спуститься с самой высокой точки Нотр-Дам.

— Нам нужно не только спуститься, но, главное, удрать как можно дальше, чтобы никто нас не заподозрил,— подал голос Павел.— Это важнее всего.

— На Нотр-Дам мы, конечно, не полезем,— прибавил Даня,— а на какой-нибудь высокий многоэтажный дом в центре стоит попробовать. Да вот хоть на тот универмаг, о котором говорил Андре. Ведь ты, кажется, сказал, что он находится в самом центре?— обратился он к Андре.

— Да, на улице Амстердам, почти напротив вокзала Сен-Лазар,— отозвался Андре.— Ближе к вечеру там большое движение: люди возвращаются с работы в свои пригороды или, наоборот, приезжают в Париж, чтобы где-нибудь побывать. Тут в самый раз пустить наши листовки.

Вернулся из города Жан-Пьер. Ему торжественно продемонстрировали «адскую машину».

— Что ж, остроумно придумано,— похвалил он изобретателей.— Если все пройдет удачно в первый раз, можно будет использовать эту штуку в других городах, на других крышах. Только, прежде чем пускаться в путешествие с вашей «адской машиной», вы должны точно знать, на какую крышу будете ее водружать, какие к этой крыше подходы, как на нее подыматься и в какой час это лучше делать. Словом, это вовсе не так легко и просто, как вам кажется. И помните: от вашей осторожности и продуманности всей операции зависит безопасность очень многих товарищей. Провалитесь вы — за вами потянется целая цепь провалов и арестов.

— Разведку беру на себя,— объявил Андре.— Ни Дени, ни Поль не знают Парижа. Значит, это должен делать я.

Жан-Пьер, обычно не очень ласковый с детьми, вдруг с неуклюжей нежностью потрепал сына по темной, коротко остриженной голове.

— Ах ты, неугомонный! Только будь осторожен, все мы тебя просим.

Фабьен ничего не сказала, но так взглянула на сына, что у Дани защемило сердце. Так когда-то, в не́запамятные времена, смотрела на него мама-Дуся. Отец. Лиза. Где они? Увидит ли он их когда-нибудь?.. И все сильнее подступала горечь, все сильнее щемило внутри, и надо было большое усилие, чтоб отогнать от себя, стряхнуть воспоминания. Да, он был не один на чужбине, ему повезло: он нашел товарищей, друзей. Вон какие добрые, честные, настоящие люди вокруг! Жермен и Николь, и профессор Одран, которые его выходили, и Павел, который делил с ним опасность и был ему верным товарищем. А теперь семья Келлера, такая радушная, ставшая совсем своей. И Андре, пылкий, смелый, настоящий Гаврош по своим повадкам. Даня привязался к ним, он любил их, как своих, близких, но все-таки...

— Так помните: осторожность и еще раз осторожность,— донесся до него голос Жан-Пьера.

На улицу Амстердам Андре путешествовал трижды. Один раз утром, другой раз днем, третий — вечером. Он изучил все потоки пассажиров на вокзал и с вокзала Сен-Лазар. Двор универмага теперь был ему знаком, как собственный двор в Виль-дю-Буа. Из последней своей

поездки в город мальчик привез приказ самого коменданта Парижа фон Шаумбурга, который был вывешен на всех видных местах.

— Вон, поглядите, самый главный бош объявил войну французским коммунистам,— сказал он, показывая объявление.

«Всякий, кто занимается коммунистической деятельностью, ведет или пытается вести коммунистическую пропаганду, короче, кто тем или иным способом поддерживает коммунистов, является врагом Германии и подлежит смертной казни по приговору немецкого военного трибунала. Любой человек, имеющий антигерманскую листовку, обязан немедленно передать ее ближайшему представителю германских военных властей. Нарушители подлежат каторжным работам сроком до пятнадцати лет».

— Воображаю, какие теперь пойдут облавы и обыски,— сказал Келлер, прочитав приказ.— Это и правда официальное объявление войны. Ну, ребята, теперь держите ухо востро, не попадитесь с вашей «адской машиной».

Он сам еще раз выслушал отчет Андре. Шаг за шагом была продумана вся «операция». И наконец дано разрешение: можно начинать.

Сумерки плывут над Парижем. С вокзала Сен-Лазар доносятся железный скрежет вагонов, гудки, вздохи механизмов. Люди с сумками, тележками, свертками молчаливо текут по улицам. Но здесь, во дворе универмага, пусто и сумрак заползает в углы. Подрагивает пожарная лестница. Ноги Андре маячат перед глазами Дани. Мальчик карабкается легко и ловко, точно кошка,— он уже все здесь облазил, он здесь свой и командует двумя товарищами. Павел идет вслед за Даней. У него под мышкой «адская машина», да и все трое порядком нагружены: кто бидоном с водой, кто банкой, а кто листовками. Семь этажей. Им предстоит одолеть семь этажей. Пока им везет, но нужно торопиться — каждую минуту кто-нибудь может войти во двор, увидеть три фигуры, карабкающиеся по лестнице.

— Скорее! Да скорее же! Что вы, черт возьми, так ползете?— шипит Андре.

Но вот они уже на крыше, серой, скользкой. Покатые холмики мансард, неразбериха труб и вентиляционных отверстий. Ветер рвет из рук листовки, налетает откуда

попало, раздувает и холодит волосы. Серое небо тяжело нависает над ними. У ног их лежит Париж — свинцовые волны крыш до самого горизонта и торчащие, как перископы из волн, башни, шпили церквей и куполов. Внизу — стеклянная громада Сен-Лазара, а там, далеко, церковь Тринитэ, и Мадлен, и башни Лувра. Заводские трубы не дымят, и воздух над Парижем прозрачен. Черны силуэты каштанов, и, как прибой, шумит огромный город.

— Что ж ты? Прилаживай!— шепчет Павел.— Ну-ка, берись!

На откосе одной из мансард они устанавливают дощечку, засовывают под пружину листовки. Их много, этих желто-белых листков. Сегодня они оповещают французов, что немцы забирают лучшую французскую молодежь в Германию. «Не давайте им увозить ваших сыновей и братьев! Не отдавайте им цвет нации! Прячьте ваших юношей и девушек, сопротивляйтесь, не поддавайтесь на лживые обещания бошей!— кричит листовка.— Смерть фашистским оккупантам!»

Банка налита водой. Теперь уходить. Как можно быстрей!

Все трое скатываются по пожарной лестнице. Никого. Они молниеносно пересекают двор универмага, они уже на улице Амстердам, на Гаврской площади. Они смешиваются с уличной толпой и все дальше и дальше уходят с улицы Амстердам, от универмага. Вот уже черно-серая, словно обведенная тушью, громада церкви Мадлен. Даня успевает припомнить, что тут венчались самые аристократические семьи Франции. Улица Риволи. Все быстрее их бег.

— Шесть минут,— шепчет Павел, задыхаясь.— Сейчас они, наверно, уже летят.

Всем троим очень жаль, что они не увидят, как действует на крыше их «адская машина». Они не увидят, как ветер сдует листовки, как полетят, закружатся в воздухе, точно детские бумажные змеи, желто-белые бумажки, как упадут к ногам людей, идущих по улице, выходящих с перронов вокзала. А в это мгновение листовки уже стаей взлетели над крышей универмага и, планируя, спадали вниз. Многие из них зацепились за балконы старого отеля «Лондон и Нью-Йорк», где останавливались солидные провинциальные семейства, легли на столики кафе «Тут э ля», прямо под руку тем, кто зашел в этот

час сюда, чтобы выпить чашечку кофе или пропустить рюмочку с приятелем. И люди, пораженные, схватывали этот упавший с неба листок, быстро его прочитывали и тотчас же, вздрогнув и делая вид, что ничего не заметили, не прочитали, торопились уронить его или засунуть куда-нибудь под стол, на пустой стул, а то и за водосточную трубу. Но все больше и больше людей читало желто-белые страницы. Листовки делали свое дело — говорили правду.

6. ПИСЬМО ТОВАРИЩА ВАСИЛЯ

Из Парижа вернулись взволнованные Фабьен и Арлетт.

— Ваша «адская машина» подняла на ноги всех бошей и полицию. Вчера, оказывается, обнаружили одну такую штуку на крыше медицинского факультета. Теперь обшаривают все высокие здания, хотят найти другие. Подняты на ноги шпики. Кажется, боши обещали вознаграждение за поимку изобретателей машины. На Бульмише арестовали старика, который, по слепоте, никак не мог прочитать листовку и держал ее на самом виду, в руках. Словом, Гюстав велел на некоторое время прекратить ваши вылазки. Пускай полиция немного успокоится. Гюстав считает, что продолжать сейчас было бы опасно для всех нас.

Даня и Павел понурились: только что они вышли «в свет», занялись настоящим делом, и вот надо все бросать. Все прошлые дни они были счастливы: еще бы, риск, опасность этой работы, дерзкие вылазки на самые высокие здания — универмаг «О прентан», универмаг «Отель де Виль», крыша Центрального рынка, дом на бульваре Сен-Мишель, наконец, лихое «восхождение» на крышу медицинского факультета... И вдруг все кончено! Что ж, опять сидеть в подвале?

Андре — тот бушевал:

— Уж этот Гюстав! Он так осторожен, что это уже смахивает на трусость!

— Замолчи, молокосос!— прикрикнул на сына Жан-Пьер.— Ты что, умнее всех хочешь быть? Какой смельчак выискался! Рисковать своей шкурой — тут не надо большого ума! Изволь-ка подчиняться дисциплине, а то тебе ничего больше не станут поручать. Если Гюстав прика-

зал,— значит, так тому и быть! Надо выполнять не рассуждая, как в армии. Ты ведь тоже солдат Сопротивления.

Андре притих. Между тем Фабьен развязывала мешочек, который был глубоко запрятан в кармане ее широкой юбки.

— Вот, Гюстав прислал кое-что для вас!— сказала она приунывшим Дане и Павлу.— Он сказал, что это письмо написал один очень храбрый русский военный. Кажется, этот русский бежал из тюрьмы где-то в районе Арраса.

— Русское письмо!

Павел начал читать вслух:

— «Дорогие товарищи коммунисты, партизаны! Хочу рассказать вам об одном случае, который произошел со мной после выполнения боевой задачи партизанской группой.

Продвигаясь с товарищами через большую шоссейную дорогу, мы набрели на семь фашистских бандитов. Один фашист крикнул: «Стой!» Выстрелами товарища Кондратюка Степы три фашиста были убиты, остальные в панике разбежались. После этого мне пришлось возвратиться назад, забрать остальных товарищей, передвинуться в другое место и остановиться там на ночлег. Фашисты на рассвете окружили квартал. Нас было трое, вооружены мы были одним автоматом и одним пистолетом. Я скомандовал к бою и открыл огонь из автомата. Несколько фашистов свалились на землю, остальные разбежались.

Последним патроном я подстрелил еще одну гитлеровскую собаку и в эту минуту был ранен фашистской пулей.

Я решил вырваться от фашистов. При перебежке в другое место фашисты открыли огонь по мне, и я снова был ранен. Фашисты стреляли со всех концов, я, не обращая внимания ни на что, вскочил в один дом и очутился на крыше. Гитлеровские бандиты искали меня, но не нашли. Только благодаря одной «хорошей» женщине, которая фашистам указала на меня, фашисты моментально открыли огонь, и я снова получил три пули и свалился с крыши. Бандиты боялись ко мне подходить, подъехали автомашиной, наставили автоматы и бросили меня в кузов.

Затащили меня в фашистский военный госпиталь «на лечение», рассмотрели меня через рентген и очень

были рады, что у меня остались пули в ноге, руке и плечах. После этого отнесли меня на четвертый этаж, положили за решетку да еще приковали к койке; кроме того, возле двери поставили одного своего бандита. Не прошло и десяти минут, как начальник гестапо с другими гадами пришли «лечить» меня. Бандиты прекрасно меня знали по материалам, которые были им поданы после моего побега из лагеря, и задали мне такие вопросы: «Коммунист, специально присланный для коммунистической работы?» Я отвечал: «Да, коммунист, присланный для работы». Второй вопрос был задан: «Террорист?» Я ответил: «Нет, я советский патриот». За это я получил больше пятидесяти железных «пилюль», а позже трудно сосчитать, сколько я получил таких «пилюль», потому что я им ничего больше не сказал. Хотя они прекрасно знали про мою коммунистическую и партизанскую работу.

Ночью я разломал фашистский замок, но не удалось разломать решетки в окне, и на другой день снова пришли звери катувать меня, еще больше получил я «пилюль» за то, что разломал замок.

Ночью меня привезли в тюрьму, назвали меня русским бандитом и бросили в камеру номер один. Камера представляла собой два метра длины, полтора метра ширины. В маленьком окошке больше железа, чем стекла. В камере было немного соломы, одеяло, наверное, с прошлого столетия, кроме того, полметра сора и несколько миллионов вшей и один фашистский бандит возле железных дверей.

Просидел я седьмую ночь, ночи были тихие, и хорошо было слышно, как вскрикивали люди и гремели выстрелы. Надежды на побег из тюрьмы никакой не было: кроме проклятой камеры тюрьма была обнесена двумя мурами семь-восемь метров высоты да еще фашисты с собаками минута в минуту кругом ходят.

По словам старшего гестапо, жить мне всего осталось два дня. Я решил погибнуть в схватке с фашистами. Итак, ночью мне удалось вытащить гвоздь из окна длиной семь-девять сантиметров. При помощи гвоздя я расковал себе здоровую руку и после того лежал и кричал фашисту, который стоял возле дверей, чтобы он мне дал воды. Он не обращал внимания. Раны загноились и очень болели. Я бросался и кричал все: «Дай воды». Фашистская морда раздобрилась и зашла ко мне в камеру. Детина метра два высоты, да еще кинжал на боку. Он поинтересовался

моей раной на ноге и пригнулся посмотреть. Я моментально гвоздем ударил бандита в голову, закрыл ему рот, его кинжалом я перерезал ему глотку и моментально его положил на свое место и накрыл одеялом, после того закрыл дверь на ключ и перешел в другую камеру.

Другие фашистские рожи смотрели через щель моей камеры и все думали, что русский бандит спит, а я гвоздем и кинжалом уже продолбил себе в стене щель для побега.

Вопрос с камерой был решен. Второй вопрос был форсировать два высоких мура. Где та сила и воля брались, не могу представить себе, но за две-три минуты я оторвал железо, загнул крючок, порвал рубаху, кальсоны, одеяло, связал все это, и вот инструмент готов. Начал я вылезать из камеры, щель была узкая и длинная. Вся кожа на мне была ободрана. Я забросил крючок на первый мур и очутился наверху. Внизу я заметил трех фашистов с собаками. Я притаился на муре и ждал, когда фашисты зайдут за угол. Ночь была холодная, я в трусах спустился с первого мура и забросил крючок на другой и моментально очутился на другом муре. Когда я спускался с другого мура, у меня случилась авария: одеяло оборвалось, и мне пришлось метров шесть-семь лететь донизу. Если бы я попал на камень, убился бы, а так «спасибо» гитлеровским убийцам, подставили под меня яму метров сто двадцать ширины и метров сто длины с расстрелянными безвинными людьми... Мне сразу стало понятно, что были за крики и выстрелы каждой ночью, и я видел, что места для меня тоже хватало там.

Я помыслил слова погибшим товарищам, пролез еще возле одного фашиста, который стоял на посту, и двинулся в незнакомую местность. По пути принимал все виды маскировки, потому что не был похож на человека, и фашистские собаки шныряли за мною. За полтора дня я добрался до своих. Сколько было радости, какая забота обо мне французских товарищей! Моментально я был направлен в госпиталь и оперирован. Я был всем доволен, только тем нет, что не мог сразу же начать работу, не мог гитлеровцам отомстить за товарища, который героически погиб в борьбе с бандитами, за те издевательства, которые они проделывали на нашей Родине и которые они проделывают здесь». Подписано «Василий».— Павел перевел дух и, потрясенный, взглянул на Даню.— Ну, что ты об этом скажешь, Данька?

— Да это же чистый украинец писал!— воскликнул Даня.— И слова украинские: «муры» — это стены, «катувать» — по-украински «пытать». Да и все обороты украинские. Может, этот Василий из наших мест? Чувствуется, что его ридна мова, родной язык,— украинский.

— Да я вовсе не о том спрашиваю!— нетерпеливо прервал его Павел.— Что мне за дело, украинец он или русский, грузин или чуваш... Парень-то какой мировой! Орел! Ведь это понимать надо! Я тоже бегал из карцера, из лагерей, знаю, с чем это едят, но это такого класса герой! С таким командиром ничего в жизни не страшно! И что это за Василий такой? Разыскать его надо, чего бы это нам ни стоило! Давай, Данька, а?

Но Даня и сам уже тормошил Фабьен, забрасывал ее вопросами: что́ она знает об авторе письма, откуда Гюстав получил письмо? Где можно увидеть этого таинственного «товарища Василя»?

— Кажется, он лейтенант Красной Армии и сейчас сражается снова в партизанском отряде,— отвечала Фабьен.— Гюстав знал, что вы оба будете расспрашивать, но ему самому ничего больше не известно. Известно только, что письмо это привез тоже ваш, русский.

— Русский?!

— Да. И Гюстав сказал, чтоб вы оба завтра в шесть вечера пришли в сад Тюильри. Там, на третьей скамейке слева от круглого фонтана, вас будет ждать человек. На нем будет серая куртка и серый с синими полосками шарф. Дени должен подойти к нему и спросить: «Простите, мсье, не знаете ли, как пройти на площадь Шатле?» Человек этот должен ответить: «Мсье, я сам приехал с севера и в Париже впервые». Ну-ка, Дени, повтори,— потребовала Фабьен.

— Ох, Фабьен, что же вы до сих пор молчали?— простонал Даня.— Ведь мы так давно ждем этого свидания!

— Так я же и передаю то, что велел Гюстав,— невозмутимо отозвалась Фабьен.— Дени, ты должен заучить все слово в слово. Это пароль.

Даня послушно повторил все, что он должен сказать незнакомцу в серой куртке и полосатом серо-синем шарфе.

— Я должен сказать это по-русски?

— Да нет же, по-французски.

— Но зачем же, если этот человек, как вы говорите,

русский? И кто он такой? — продолжал спрашивать Даня.

Фабьен пожала плечами.

— Мне это неизвестно. Знают те, кто его послал.

Вмешался взволнованный Павел:

— Ну как же ты, Данька, до сих пор не можешь понять? Ведь это сам Василий и есть! Да-да, тот, который прислал письмо! Наверно, для того и писал, чтоб мы заранее знали, с кем дело будем иметь!

Даня покачал головой.

— Сомневаюсь. Василий пишет, что его встретили французские товарищи, партизаны. Если он сейчас на свободе, то, наверно, сражается в партизанском отряде.

— Ничего подобного. Он наверняка здесь, в Париже! — стоял на своем Павел.

Однако спорить об этом было бесполезно: никто из них не знал наверное, где находится автор письма — герой и смельчак Василь. Надо было запастись терпением до завтрашнего дня.

7. ЧЕЛОВЕК В ПОЛОСАТОМ ШАРФЕ

Вот он, пустынный двор Лувра, по которому со скучающим видом слоняются несколько немецких солдат. Вот они, запущенные коврики газонов (их теперь некому стричь и выпалывать), вот он, широко разлегшийся просторный вход в Тюильри. Вечернее солнце чуть тронуло желтым кроны деревьев, лимонным окрасило воды Сены и мост Руайяль. На дорожках выстроились детские колясочки, в которых спали не знающие ни о войне, ни о фашистах, ни об опасностях счастливые младенцы. Сквозь арку Карусель, как сквозь оптический прицел, насквозь проглядывалась перспектива Конкорд с обелиском, ровный пробор Елисейских полей и там, далеко, Триумфальная арка, все еще освещенная солнцем. Ворота входили в ворота, арка — в арку, точно на крокетной площадке. Старухи в черном, похожие на ворон, сидели на скамейках. Одни вязали, другие смотрели вдаль выцветшими глазами.

Андре, проводивший на всякий случай двух друзей до луврского двора, напряженно вытягивал шею. Даня и Павел вошли в сад. Медленно, точно прогуливаясь,

идут по главной аллее. Издали у них вид студентов, вырвавшихся с лекций, чтобы побродить вольными пташками по летнему Парижу. Вон, вон Дени даже беспечно размахивает книжками! Ага, замедлили шаги. Всматриваются. Кто-то, кого не видит Андре, сидит на скамейке. Так и есть, третья от фонтана.

На третьей левой скамейке сидел совсем еще молодой широкоплечий человек, которого Даня и Павел могли бы счесть своим ровесником, если бы не седые виски. Он читал книгу, и друзьям были видны его четко обозначенный профиль и широкие темные брови. Глаз еще не было видно, но Даня уже при первом взгляде на него совершенно уверился, что он русский. Рядом с ним на скамейке никого не было.

— Простите, мсье, не знаете ли, как пройти на площадь Шатле?

Человек вскинул глаза — они были светлые, с голубизной.

— Увы, мсье, я сам приехал с севера и в Париже впервые.

«Никакого акцента. Говорит как француз»,— успел отметить про себя Даня и в тот же миг увидел все лицо человека — чисто выбритое, даже до блеска на скулах, очень бледное, с усталым и хмурым взглядом.

Он в свою очередь, не улыбаясь и даже не стараясь казаться приветливым, оглядел обоих ребят.

— Давайте уходить отсюда,— сказал он уже по русски, чуть-чуть окая, и эти первые его слова, услышанные ребятами, радостно их поразили. (Русская речь! Русское оканье! Как давно они этого не слышали!) — Мне вон те двое фрицев не нравятся. Сюда уставились, глаз не сводят. Пройдемте в глубь сада, там устроимся — поговорим.

Они тем же медленным, прогулочным шагом двинулись по главной аллее по направлению к Конкорд. Даня на всякий случай несколько раз оглядывался — не идут ли солдаты. Нет, никто их не преследовал. Уселись на боковую скамейку под темнолистым густым каштаном.

— Здесь, в центре, меньше рискуешь попасться шпионам,— сказал русский.— Ну а теперь, ребята, давайте знакомиться.— Он протянул руку.— Я с Волги, из Куйбышева. Капитан Красной Армии. Коммунист. До войны был студентом пединститута, на третьем курсе. В Париж

прислан действительно с севера Франции организацией советских военнопленных. Зовут меня Сергей.

— Как Сергей!— вырвалось у Пашки.— Почему Сергей? Разве не Василий?

— Василий?— удивился в свою очередь тот, кто назвался Сергеем.— Почему именно Василий?— Внезапно он понял.— А, теперь все ясно: вы прочитали письмо Василя Порика, нашего героя лейтенанта, и думали, что он сам сюда приехал за вами, так? Нет, ребята, придется вас разочаровать: Василь Порик далеко отсюда, он уже опять сражается в партизанском отряде и приехать сюда не может...

— Вот видишь, Пашка, я тебе говорил!— не выдержал Даня. Он обратился к Сергею:— Вы сказали — его фамилия Порик? Он украинец? Полтавчанин?

— Украинец, но не полтавчанин, а, кажется, откуда-то из-под Винницы,— отвечал Сергей.— Совсем еще мальчик, но воля и смелость удивительные!

— Эх, повидать бы его!— вырвалось у Павла.

— А можно еще вопрос?— продолжал Даня.

— Хоть сто.

— Вот вы, товарищ Сергей, сказали, что вас послала сюда организация советских военнопленных. Что это за организация, кто в нее входит, чего она добивается?

Сергей кивнул:

— Нужный вопрос. Правильный. Имеете право это знать. Так вот, ребята, вам, наверно, известно, что человек, которого вы зовете Гюстав (это его подпольная кличка),— член компартии Франции. Компартия поручила ему вести работу среди советских людей, которые очутились здесь, во Франции. Скоро, наверно, будет создан Центральный Комитет советских военнопленных, куда войдут самые энергичные и отважные наши люди. Это будет нечто вроде штаба, который станет формировать здесь советские партизанские отряды и руководить их боевыми делами. Уже сейчас мы стараемся организовать во всех лагерях подпольные комитеты, руководить саботажем на шахтах, в рудниках и на военных заводах немцев. Еще скажу вам, ребята, что задумана у нас подпольная газета: «Советский патриот».

Даня и Павел переглянулись.

— Ничего этого мы не знали,— угрюмо начал Павел.— Нас, покуда мы укрывались в подвале, дочка нашего хозяина приняла за крыс. Видно, крысы мы и есть. Наши

люди вон какие дела заворачивают, а мы сидим здесь, как глухонемые какие, занимаемся всякими мелочами. Разве это дело?!

— Да, да, мы вас просим, товарищ Сергей, мы вас очень просим, помогите нам пробраться в какой-нибудь партизанский отряд.— Даня говорил «просим», но звучало оно как «требуем».— Мы так больше не можем! Дайте нам оружие, мы хотим стать солдатами, сражаться...

Сергей знаком остановил его.

— Погодите, ребята, не горячитесь прежде времени,— сказал он успокоительно.— О вас уже знают в организации, о вас помнят, можете не беспокоиться. Когда будет нужно, вам дадут команду. Сейчас вы нужнее здесь, в Париже. Гюстав очень хвалит вас обоих. Говорит, вы инициативные и смелые ребята. И ему, да и мне показалась очень ловкой ваша выдумка с «адской машиной». Это помогает нам оберегать людей от ненужного риска. Я уже рекомендовал этот способ товарищам у нас на севере и в некоторых других департаментах. Возможно, вам придется поехать куда-нибудь с этой вашей машинкой, показать товарищам, как ее устанавливать, где. У вас уже есть опыт. И помните, ребята, Париж сейчас — тоже фронт. И сражения здесь, в подполье, не менее важны, чем в лесах.

Он посмотрел на большие старомодные часы у запястья.

— Мне скоро уходить. Я о вас обоих уже знаю от товарищей. Но хочу все же услышать от вас самих, кто вы такие, как сюда попали. Знаю, что в Красной Армии не были, слишком для этого молоды...

И в центре Парижа, в саду Тюильри, пахнущем травой, летней пылью, нагретым за день песком, два русских комсомольца начали выкладывать первому на чужбине земляку всю сложную и тяжкую историю своего «угона» из Советского Союза, каторжной работы у фашистов, неволи, бегства и, наконец, подполья здесь, в Париже.

Сергей слушал молча, иногда знаком останавливал, задавал беглый и, казалось, несущественный вопрос, но каждый раз оказывалось, что именно этот вопрос помогал выяснить что-то важное в рассказе ребят. Все это время он не переставал наблюдать за садовыми дорожками и однажды прервал Пашку, который как раз описывал свой побег из лагеря (кажется, третий), чтобы

предложить перейти подальше, на другую скамейку: здесь они сидят уже давно, на них могли обратить внимание. Они пересели подальше, в тень другого каштана.

Сергей вынул из кармана черную прокуренную трубочку, тщательно выскреб из карманов крошки табака, набил ее, раскурил.

— А вы не курите, ребята? Нет? Видно, не воевали вы под Москвой в сорокаградусный мороз, когда трубка согревала сердце.— Он улыбнулся, показал широкие крепкие зубы и как-то сразу подомашнел: что-то в нем развязалось, он стал уже не строгим экзаменатором, а товарищем.— Меня там, близ Москвы, под Ржевом, и подшибли. Трое суток не приходил в себя, а потом очнулся уже у них...

— Бежали?— быстро спросил Павел.

Сергей кивнул.

— Само собой. Только и до этого и после немало было всего. Когда-нибудь, когда будет время, расскажу.

— Когда придет победа?— немного насмешливо спросил Павел.

Сергей зорко глянул на него.

— А ты что, Павел, не веришь в нашу победу?

— Почем я знаю,— пожал плечами Павел.— По Лондонскому радио Келлер слушал сводки. Сводки победные, а фрицы остаются хозяевами. Вон сколько они по всему миру земель захватили.

— Победа и от тебя зависит, и от меня, и от Данилы,— невозмутимо сказал Сергей.— Тут твой скептицизм, твоя усмешечка, Павел, не у места. Да ты знаешь ли, сколько мы сейчас подбили и подожгли немецких самолетов, какую силу фашистов уничтожили у Ржева и Вязьмы весной, когда они вознамерились снова наступать на Москву? Вы здесь оторваны, вы многого не знаете, я понимаю, а наши вот сейчас, в эти дни, когда мы с вами говорим, бьются под Курском, побеждают фашистов, гонят их... А знаете ли вы, сколько наших людей сражаются во всем мире и даже здесь, во Франции? Вот погодите, через месяц-два здесь так все накалится, такое подымется, что оккупантам жизни не будет. Наши, русские, и здесь себя покажут!

— Мы еще никого из русских не видели. Вы первый,— поспешно вставил Даня.— Мы так хотим встретиться с нашими!

— Встретитесь, скоро встретитесь,— пообещал Сергей.— Только помните, ребята, что здесь, во Франции, русские бывают всякие. Не попадитесь...

И тут впервые в жизни Даня и Павел услышали о советском генерале Власове и его предательстве. Власов в разгар войны сдался Гитлеру и обманом привел в стан врагов своих бойцов. Бойцы верили генералу и пошли за ним, не подозревая о предательстве.

— Как! Наши, советские люди?!— ахнул Даня.

— Наши. Советские,— кивнул Сергей.— Теперь у них выхода нет, они и подбивают других, честных людей, чтобы поступали, как они: работали и воевали на Гитлера. Пугают наших людей: за то, что военные попали в плен, их, мол, на родине будут преследовать... Зато многие из тех, кого мы в Союзе звали беляками и белоэмигрантами, вдруг сейчас почувствовали себя по-настоящему русскими, вошли в Сопротивление и помогают всем, чем могут, сражаться с фашизмом.

— Белоэмигранты?!— опять ахнул Даня.— Да ведь это же бывшие помещики, аристократы, разные князья, которые ненавидели Советскую власть! Мне отец рассказывал, как они драпали за границу.

— Это не совсем так. Среди них были не одни аристократы. Были и честные работяги, которые просто поддались панике,— покачал головой Сергей.— Теперь многие из них стали настоящими патриотами, прячут у себя бежавших наших бойцов, отдают им последнее, чтобы только приобщиться к Родине.— Сергей еще раз посмотрел на часы.— Ну, мне пора. Слушай мою команду, ребята! Держаться с большой осторожностью, зря не рисковать ни собой, ни другими. Работать по указаниям Гюстава тройками. В тройку связными входят кроме вас двоих сынишка Келлера, или его жена, или Николь Лавинь. Бывать в книжной лавке у площади Этуаль как можно реже, чтоб не навлечь подозрения. Без разрешения Гюстава самим ничего не предпринимать. С листовками и вашей «адской машиной» сейчас переждите. Я дам сигнал, когда можно будет возобновить работу. Связь со мной будете держать тоже через Гюстава.

Он посмотрел на ребят, увидел, как погрустнели у обоих глаза: сейчас, сию минуту уйдет от них свой человек, часть Родины, часть их далекой жизни. Сергей понял, дружески потрепал Даню по плечу.

— Не унывать! Скоро увидимся.

8. ОПЯТЬ КНИЖНАЯ ЛАВКА

— Дени, есть для тебя дело. Гюстав передал, чтоб ты ехал к площади Этуаль, в лавку Лавинь. Придется тебе пожить несколько дней у сестер, как тогда. Нам нужен переводчик, вот Гюстав и вызывает тебя,— сказал Келлер, вводя во двор свой велосипед.

— Переводчик?— удивился Даня.— С какого же языка?

— Конечно, с русского и обратно. Гюставу сообщили, что сюда переправят с севера советского офицера. Кажется, он не знает ни слова по-французски. Вот ты и будешь при нем переводчиком.

— Советский офицер!— Даня вспыхнул.— Когда надо ехать?

— Сегодня же. Только Гюстав предупредил: никому ни слова.

И вот Даня снова в знакомой кухоньке над лавкой сестер Лавинь. Он видит через дверь спальню сестер и кровать Николь, на которой провел столько мучительных дней и ночей, видит столик, где стояли лекарства. А здесь — стол, на котором его оперировал доктор Древе, отличный хирург (голый блестящий череп, под нависающими веками маленькие глазки, зоркие и острые, как буравчики, хриплый рокочущий бас: «Ничего, ничего, мальчуган, мы тебя зашьем, будешь как новенький»). Доктору Древе ассистировали профессор Одран и обе сестры — Жермен и Николь. Жермен тогда держалась, как заправская медицинская сестра, а вот с Николь было хуже: в середине операции, как раз, когда извлекали пулю, она повалилась без памяти на пол. Пришлось и с ней повозиться, зато Жермен до сих пор над ней издевается: «Подпольщица, конспиратор, боец, а при виде капельки крови валится как дерево».

А вот и сама Николь, в какой-то немыслимой куртке, перешитой, видно, из отцовского пиджака, и в новых туфлях на деревянной подошве. Когда она сбегает по лестнице в лавку, раздается громкое сухое щелканье, будто отбивают танцевальный такт кастаньеты.

В лавке сестер Лавинь Даня чувствует себя как дома. Во-первых, здесь книги — целые стеллажи книг, старинных, с чудесными гравюрами, в которых ему позволяют рыться сколько его душе угодно. Во-вторых, Жермен и Николь сумели создать у себя какой-то особый уют:

каждый, входя в их крохотную квартирку, чувствовал себя желанным, дорогим гостем. Для всякого у сестер находилось ласковое или шутливое словцо, чашка кофе или того, что его заменяло, старая качалка, в которой так удобно сиделось. И потом обе сестры были еще так молоды, так привлекательны! Даня с удовольствием наблюдал за грациозными движениями и болтовней Жермен. А Николь? С Николь ему было не так просто и ловко, как со старшей сестрой. Николь с ним удивительно неровна: то придирается к каждому его слову, дерзит, насмехается, то вдруг тиха, внимательна, подсовывает самые интересные книжки, что-то стряпает специально для него, смеется его нехитрым шуткам, смотрит в глаза... Гм!.. Смотрит в глаза... Здесь Даня вдруг смущался, его сковывал этот взгляд — вопрошающий, требовательный. Ну что он должен сделать, что сказать?!

А позавчера, когда они оба склонились над хроникой Карла IX и щека Николь нечаянно коснулась его щеки, почему она опрометью убежала? А, не стоит об этом думать: просто Николь шалая, это и Жермен о ней говорит.

Жермен велела Николь выставить в окне томик стихов Гюго в зеленом переплете.

— Что, даешь зеленый свет Гюставу?— справилась Николь.

Жермен молча кивнула, зарумянилась. К вечеру переоделась в белую воздушную блузку и удивительно похорошела. Когда зазвонил старинный колокольчик у дверей лавки, она была уже наготове и сама открыла дверь Гюставу.

— А, ты уже здесь? Отлично!— Гюстав пожал руку Дане.

Даня смотрел на него, как обычно смотрят очень молодые люди на обожаемых старших товарищей, которым хотят подражать во всем.

Каждый раз, как Даня видел Гюстава, он не переставал ему удивляться. Гюстав — он это знал — руководит несколькими группами подпольщиков и партизан в самом Париже и окрестностях, он доверенное лицо Коммунистической партии Франции, по его заданиям люди, рискуя жизнью, совершают самые отважные, самые дерзкие «акции» против оккупантов, он душа огромной, хорошо налаженной организации, где действуют и советские бойцы. Да и сам он ежеминутно, ежечасно рискует

жизнью — недаром за его голову немцы назначили награду: много миллионов франков.

А сейчас перед ним стоял в легком плаще нараспашку, в небрежно повязанном красивом галстуке типичный парижский фланер из тех, что целыми днями толкутся на Больших бульварах. Что-то насвистывает, что-то напевает под нос, кажется модную песенку. Блестят, как медный шлем полководца, волнистые волосы, и вид самый легкомысленный и беспечный. И только тот, кто хорошо знает Гюстава, уловит в его глазах, в выражении небольшого крепкого рта железную собранность, сконцентрированную, нацеленную энергию, уверенность в себе. Даня почти физически ощущает: любое чувство в Гюставе достигает такого напряжения, такой направленности, что становится непреоборимой силой. Он ведет за собой людей самых разных, потому что все они чуют в нем эту силу, признают за ним право на командование. Вот каким должен быть настоящий боец! Учись, Данька, смотри, Данька!

Гюстав шутливо дернул Даню за ухо.

— Видно, лазанье по крышам с «адской машиной» под мышкой пошло тебе на пользу — выглядишь как после морских купаний в Биарице.

Он ласково поздоровался с сестрами, не спеша снял плащ, перекинул его через спинку качалки, просительно посмотрел на Николь.

— Не дашь ли ты мне немного посидеть в качалке? Я так мечтаю о ней, когда долго здесь не бываю.

Николь тотчас уступила ему место — и она любила Гюстава, хотя по некоторым причинам относилась к нему довольно ревниво.

Гюстав качался не отрывая глаз от Жермен.

— Какая ты нынче красавица и франтиха! Кажется, я еще не видел у тебя этой блузки?

Он все замечал. Жермен так и сияла.

— Это она для тебя так напижонилась,— не выдержала Николь.

Гюстав прищурился.

— А ты для кого надела новые туфли и этот шарфик?

Николь проворно схватила кофейник, выскочила из комнаты, вдогонку услышала смех Гюстава. Он сказал Жермен:

— Не опускай пока жалюзи и не убирай с витрины

Гюго. Сюда должны прийти кое-кто из товарищей. Им тоже нужен этот знак, я предупредил.

«Кое-кто из товарищей» начали появляться очень скоро. Трижды прозвонил старинный колокольчик.

— Поди открой, это свои,— сказал Гюстав Дане.

Даня снял тяжелый засов, приоткрыл дверь и попятился: за дверью стояла рослая монахиня в широкой черной рясе и таком же покрывале. Сквозь очки в металлической оправе на Даню смотрели внимательные бархатистые глаза.

— Кого вам угодно?— пробормотал Даня.

— Мне нужны сестры Лавинь и мсье Гюстав, если он пришел,— сказала монахиня.

Гюстав уже стоял на лестнице. Он низко поклонился монахине.

— Мы вас ждем, мать Мария. Как хорошо, что вы к нам выбрались!— Он заметил удивленный взгляд Дани и подтолкнул его к монахине.— Вот, позвольте вам представить, мать Мария, молодого человека. Он ваш соотечественник, русский, вернее, с Украины. Зовут Дени.

— Правда?— Мать Мария вскинула голову, и Даню поразило ее лицо — широкоскулое, чуть монгольское, с удивительным выражением доброты, силы и даже веселости. Она вдруг спросила по-русски, певучим московским говором:— Дени — это Денис или Даниил?

— Даниил,— отозвался Даня. Он впервые в жизни говорил с монахиней, да еще русской, да еще здесь, в Париже!

— Моя семья тоже родом с Украины,— сказала мать Мария.— У меня и девичья фамилия украинская — Пиленко. Что ж, давайте знакомиться, Даниил... не знаю, как вас по батюшке...

— Что вы, никто меня по отчеству не зовет,— пробормотал Даня.— Даней звали дома.

— Ну и хорошо, Даня, я тоже буду вас так звать, если позволите. Вы здесь, в этом доме, конечно, не просто гость? Так?

Даня молча кивнул.

— То-то я вижу, вы здесь свой человек.— Она усмехнулась, потом сказала серьезно:— Я тоже сейчас ваш товарищ, Даня. Ни один русский человек не может сидеть сложа руки, не такое теперь время. Приходите ко мне,

на улицу Лурмель. У меня есть большая карта Советского Союза, на ней мы отмечаем все продвижения и победы советских войск. И еще у меня есть радио, вы сможете послушать Москву.

Гюстав, услышав знакомое название «Лурмель», закивал.

— Да, да, Дени, мать Мария открыла на улице Лурмель общежитие для престарелых и неимущих, а сейчас в этом общежитии иногда прячутся бежавшие из лагерей ваши люди. Мать Мария делает для нас всех очень большое дело,— прибавил он.

— Полноте,— покачала головой мать Мария.— Делаю то же, что и все.— Она взглянула на Даню своими прекрасными глазами.— Так приходите, Даня.

Даня молча поклонился. Так вот какие бывают монахини!

Гюстав между тем говорил с матерью Марией о каком-то связисте, которого некий Арроль прячет у себя и которого надо переправить на улицу Лурмель. Николь поманила Даню на кухню.

— Ну что смотришь на мать Марию? Удивляешься, да? А она настоящая героиня. Вот посмотри, что о ней здесь написано,— это писал один из ваших, который был с ней хорошо знаком, прожил у нее несколько месяцев...

Она протянула ему бумажку.

«Мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева,— русская поэтесса,— читал Даня.— В России до революции выпустила сборник стихов «Скифские черепки». Стихи очень талантливые. Дружила с Блоком, Андреем Белым, Алексеем Толстым. Написала о них интереснейшие воспоминания».

— А какая она добрая, какая великодушная, если бы ты только знал!— продолжала Николь.— Мы с Жермен так ее любим! Ходим к ней со всеми нашими делишками.

(Если бы Николь и Даня в тот осенний парижский вечер могли заглянуть на минуту в будущее, они убедились бы, что мать Мария — русская поэтесса Кузьмина-Караваева — и правда высочайшая героиня. За участие в Сопротивлении, за укрывательство советских бойцов нацисты арестовали ее, отправили в немецкий каторжный лагерь Равенсбрюк. Там она встретила русскую женщину, приговоренную к смертной казни. Мать Мария обменялась

с ней номером и одеждой и вместо нее пошла на казнь... О, если б можно было заглянуть в будущее!)

Опять трижды прозвонил колокольчик у дверей. На этот раз пришел моложавый рыжеватый человек с гибкой спортивной фигурой, с веселыми искорками в глазах, подвижной, быстрый, в движениях и разговоре. Гюстав обрадовался ему, назвал его мсье Криво́ и утащил за собой в комнату.

— Тоже русский,— шепотом сказала Николь.— Сын какого-то большого аристократа, не то сенатора, не то министра еще при русском царе. Всю жизнь, с детства, живет в Париже, по профессии инженер, а когда началась война в Советском Союзе, тоже стал подпольщиком. Хочет здесь помогать своей русской родине. Гюстав считает Криво́ очень ценным работником. Кажется, ему удалось завязать связи в каком-то важном немецком учреждении и оттуда получать сведения...

(И опять, если бы Николь и Даня могли заглянуть в будущее, они увидели бы мсье Криво́ в пустынном сквере где-то в окрестностях Парижа. Вот к нему приблизился человек в сером пальто, быстро передал что-то, кажется, клочок бумаги, и так же быстро ушел. Мсье Криво́ едет в дачном поезде. В кармане у него документ, которого ждут подпольщики: доклад гестапо немецкому командованию о том, какие подпольные организации обнаружены во Франции, кто из подпольщиков арестован... О, мсье Криво́ и правда очень ценный работник! Ему удалось подружиться с немцем, который работал в штабе немецкого военного командования. Немец ненавидел нацизм и согласился помогать Сопротивлению. Это он доставал для мсье Криво́ почти все секретные бумаги, поступавшие в штаб. Но, несмотря на все предосторожности, и немца и мсье Криво́ арестовало гестапо. Он храбро вынес все пытки, голод и унижения концлагеря. После войны Криво́ вернулся на свою, советскую родину. Николь и Даня могли бы увидеть его в Москве. Правда, в рыжеватой шевелюре мсье Криво́ уже есть серебряные нити, но он по-прежнему подвижен, весел, склонен к легкой шутке, к иронии. На его пиджаке — ленточка военного ордена: французы помнят о тех услугах, которые он оказал Сопротивлению и своей, советской родине.)

Сын царского министра и монахиня! И оба — в Сопротивлении! Даня никак не мог все это сразу осмыслить. В таких случаях папа шутил: «Все смешалось в доме

Облонских». Он усмехнулся, вспомнив эту фразу, с которой начинается первая глава «Анны Карениной». Правда, все смешалось. Война!

Но вот снова звон колокольчика внизу, и перед Даней знакомый серо-синий шарф, знакомое, до блеска выбритое, как тогда, в саду Тюильри, лицо. Да, это Сергей. Но он не один. С ним высокий изможденный человек, которого он зовет капитаном.

— А, ты здесь, Даня!— говорит Сергей.— Видишь, я обещал встретиться, и мы встретились. Вот товарищ, которому ты будешь нужен.

— Вы обещали, что скоро возьмете нас в настоящее дело,— говорит дрожащим голосом Даня.— Мы же здесь просто изводимся...

— Скоро будешь при деле, не волнуйся,— смеется Сергей.— Сегодня я буду переводить, если понадобится, а потом ты будешь помогать капитану сговариваться с французскими товарищами. Это тоже сейчас очень нужная работа.

Выходит Гюстав, тащит всех в спаленку сестер.

«Наверно, долгую дорогу прошел этот капитан, прежде чем попал сюда»,— думает Даня, участливо глядя на запавшие щеки капитана. Однако капитан полон энергии, он не желает ни минуты отдыхать, он настаивает на немедленной работе. Действовать! Действовать! Бороться!

— Мы не можем напрасно терять время, каждая минута для нас драгоценна.— Его хрипловатый слабый голос внимательно слушают все.— Я думаю, надо как можно скорее создать штаб, организовать здесь, во Франции, советские партизанские отряды. И чтобы штаб руководил этими отрядами, их боевыми действиями...

Да, да, поскорее создать такой штаб, поскорее организовать советские партизанские отряды, думает Даня. И капитан с Даней, конечно, отправятся в эти отряды, будут сражаться. Переводить? Конечно, Даня будет переводить для капитана, он все для него будет делать, потому что капитан — советский боец, потому что он возьмет его с собой. А потом, когда они завоюют победу, они вместе вернутся домой.

— Что с тобой? О чем ты мечтаешь?— Николь низко склоняется над ним.— Ты что, заснул? Они зовут тебя. Нужно что-то перевести.

9. В ПАРИЖЕ ГОРЯЧО

Она не ездила верхом с самого детства, с тех чудесных дней в окрестностях Альби, куда ее и Николь увозили на лето родители. Впрочем, старый добродушный першерон, на которого ее тогда сажали, был скорее похож на широкий волосяной диван, чем на лошадь.

А тут нервный горделивый конь с челочкой между чутких ушей, нетерпеливо перебирающий ногами в белых чулках! Она и понятия не имела, как к нему подступиться, как взобраться в седло. И при этом, ах, при этом на ней такой прелестный, стилизованный под жокейский, верховой костюм, штаны в обтяжку, лакированные ботфорты! Она непременно, ну непременно сейчас, сию минуту позорно свалится с лошади под взглядами всадников, гарцующих по Булонскому лесу.

— Только не трусить,— раздается негромкий голос Гюстава.— Встань лицом к лошади. Возьми в левую руку повод, а правой берись за холку. Теперь поставь левую ногу мне на ладонь. Да, да, именно на ладонь. Хоп! Да ну же, не бойся. Поскорее, на нас смотрят...

Жермен нерешительно ставит ножку в лакированном ботфорте на подставленную руку Гюстава. Миг — и она в седле. Лошадка норовисто встряхивается, но повод у Жермен в руках, и ноги ее прочно вошли в маленькие серебристые стремена.

— Оттягивай книзу каблук, плотнее прижимай ноги к лошадиным бокам. Лошадь послушная, я на ней ездил. Захочешь повернуть вправо, тронь бок лошади правым шенкелем,— учит все так же тихо Гюстав.

Утреннее солнце золотыми стрелами пронзает дорожки Булонского леса. Пахнет горячим лошадиным пóтом, примятой травой, еще мокрыми от росы деревьями. Пахнет летом, свободой, радостью жизни. Жермен в упоении. Легкий жокейский картузик сполз на затылок, губы закушены, пылают щеки. Крылатая, волшебно быстрая лошадь несет Жермен. Свистит в ушах ветерок, и Жермен — слышите, слышите все!— Жермен едет, как заправский всадник, чуть согнувшись, крепко держа в левой руке повод. И рядом Гюстав, тоже элегантный, в серых клетчатых бриджах, черном пиджаке и шапочке на медных волосах. Жермен чуть скосила глаза, увидела восхищенный, любящий взгляд Гюстава. На миг и она и он забыли,

для чего они здесь в этот час, зачем затеяна эта верховая прогулка и весь этот маскарад. Сейчас они по виду ничем не отличаются от той «золотой» молодежи, что гарцует по утрам в Булонском лесу. О, этим маменькиным сынкам и дочкам нипочем война, оккупация, голод, гибель миллионов людей! Их девиз: «Нас это не касается». И еще: «Живой трус лучше мертвого героя». Низкие, подлые девизы!

— Посадка неплоха. Держись увереннее, я рядом,— слышит Жермен.

Гюстав склонился к ней, возле самой щеки Жермен его волосы, отливающие медью. Мгновенное желание коснуться губами этих волос.

Но именно в это мгновение Гюстав отшатывается, успевает сказать:

— Внимание! Он!

Навстречу им из боковой аллеи выезжает блестящая кавалькада. Впереди на рослой рыжей кобыле немецкий офицер, лицо которого известно каждому парижанину. Это комендант Большого Парижа, личный друг рейхсминистра Геринга, доверенное лицо Гитлера — гаулейтер барон фон Шаумбург со своими многочисленными подчиненными и адъютантами.

Молодые всадники поравнялись с Шаумбургом, но тот не обратил внимания на встречных — был занят разговором с одним из офицеров.

— Восемь часов двадцать минут. Значит, он выезжает со двора своей виллы в восемь пятнадцать,— засекает время по своим часам Гюстав.— Теперь еще несколько кругов по лесу. Нужно выяснить, когда он кончает прогулку. Ты пересчитала охрану?

— По-моему, шесть человек,— шепчет Жермен.— Рядом с ним полковник авиации и адъютант. Охрана ехала чуть поодаль.

Жермен старается выглядеть хладнокровной. Только что, сию минуту, она видела в нескольких шагах от себя главного палача Парижа.

Это по приказу фон Шаумбурга расстреливают на холме Мон-Валерьен французских патриотов, увозят людей в лагеря смерти, арестовывают, разлучают жен с мужьями, родителей с детьми. Это он преследует, уничтожает всех, кто борется с фашизмом. И это ему партизаны Парижа вынесли смертный приговор.

Все это знает Жермен. Она не знает еще, когда и кто

приведет приговор в исполнение. Она — только маленькое звено в этой цепи мстителей за народ.

— Ты не заметила, на нас обратили внимание?— спрашивает Гюстав, погруженный в какие-то расчеты.

— Кажется, не больше, чем на других.

— Тогда — за ними. Только не приближаться.

Еще шесть кругов по лесу. Всадников все больше. Кажется, солнце пригнало сюда всех прожигателей жизни. Это очень на руку Гюставу и Жермен. Она знает: сейчас, во время прогулки фон Шаумбурга, за каждым деревом засели полицейские и охранники. За каждым всадником наблюдают, его «фиксируют». Но эти двое так заняты флиртом, так нежно склоняются друг к другу, так непринужденно смеются...

— Восемь пятьдесят три. Они возвращаются,— опять регистрирует Гюстав.— У виллы его ждет машина. Сейчас он поедет в комендатуру.

— Наши там?— чуть слышно спрашивает Жермен.

— И там и по всему его пути.

И правда, если бы в это утро вы вздумали пройтись по улице Николо, вы могли бы вдруг приметить в очереди у булочной долговязого вихрастого подростка в больших, не по росту, туфлях. Вы без труда узнали бы «Последние в жизни», на этот раз старательно залатанные и начищенные. Да, Николь здесь, у булочной. Магазины в Париже теперь открываются очень поздно, не раньше часа, двух: нечем торговать. Но очереди выстраиваются с утра, и у Николь полная возможность наблюдать. Очередь похожа на гигантскую змею анаконду; голова ее скрыта наружными дверями булочной, а хвост растянулся по всей длине тротуара. Змея все растет и растет, маленькие группки людей подбегают, приклеиваются, смешиваются с другими, и пресмыкающееся все время чуть колеблется, извивается, точно рябь пробегает по его длинному телу. Николь не сводит глаз с улицы. Без такси, без машин у тротуаров, без обычной нарядной парижской толпы улица выглядит мертвой. Душа покинула город. И только рядом, над входом в красивый особняк, лениво полощется на ветру огромный флаг со свастикой. Николь не думает о том, что свастика охватила цепкими лапами почти всю Францию, что в этих лапах бьются и задыхаются множество стран. Сейчас именно эта свастика на соседнем доме терзает сердце Николь как символ

унижения Франции. Ей больно за Париж, за ее Париж. И солдат, который марширует с автоматом вдоль особняка, и другие немцы, проходящие в своих сине-зеленых мундирах мимо людей в очереди, означают все то же: унижение, рабство, позор города, позор народа.

Николь еще не умеет смотреть на врагов, не видя. А ведь Жермен ее учила! Она все примечает, она каждую мелочь ставит им в счет. Ну хорошо, хорошо, не надо об этом. Главное — смотреть на улицу. Наблюдать.

Впереди Николь мальчик лет пятнадцати — типичный парижский мальчишка, со вздернутым носом, в шортах и клетчатой рубашке с засученными рукавами. Стоит, размахивает красивой корзинкой из итальянской соломки. Николь соображает: «Ага, накануне войны ездил с родителями в Италию, во Флоренцию или, может, в Неаполь». Корзинка вертится, как крылья ветряной мельницы,— мальчишке невмоготу стоять спокойно. Так и есть, на корзинке надпись из цветной соломки, красной с зеленым: «Фиренце». Николь довольна своей догадливостью, умением наблюдать. «Из меня вполне мог бы получиться детектив. Может, сказать Гюставу?»

Именно в эту минуту мимо как черная молния проносится закрытый автомобиль. Лимузин. За темноватым бронированным стеклом бритое, с мощной челюстью лицо под козырьком нацистской фуражки.

«Фон Шаумбург!» — мгновенной вспышкой отдается в мозгу.

— Девять двенадцать...

— Что? Который час? Вы сказали, мадемуазель, девять часов и сколько минут? Спасибо. Как, вы уходите? А как же ваша очередь?

— Очень жаль, но я должна успеть к дантисту.

Длинные ноги несут Николь по улицам. Вот авеню Поль Думер, сюда направился черный лимузин. Но его уже давно нет. Фон Шаумбург, наверно, давно сидит у себя в комендатуре, на улице Риволи. Николь знает: несколько товарищей должны стоять на постах на авеню Поль Думер и на улице Риволи. Мгновение ей кажется, что возле табачного киоска на углу мелькнули две знакомые головы — одна светлая, вся в мелких кудряшках, другая темная, с гладкими, косо спускающимися на лоб темными волосами. Что? Поль и Дени, оба русских, тоже тут? Нет, не может быть! Николь просто померещилось; уж слишком часто видится ей на парижских улицах

тонкая юношеская фигура с темными гладкими волосами на красивой голове.

Померещилось? Ну а вон тот толстяк в сдвинутой на затылок темной шляпе? Николь готова держать пари, что это Жан-Пьер Келлер из Виль-дю-Буа. Значит, и он здесь дежурит?

Но и толстяк и двое юношей у табачного киоска успевают исчезнуть, прежде чем Николь добегает до них. Показалось? Да, наверно. Даже больше: сейчас она совершенно уверена, что все это ей просто померещилось. Спросить при встрече? Но это не принято у подпольщиков. Каждый делает то, что ему поручили. Вот и все.

Проходит много дней. Уже изучены все привычки и пристрастия коменданта Большого Парижа, распорядок его дня — час за часом, минута за минутой. Изучены все его друзья, все служащие комендатуры. Его приближенные.

Вначале подпольщики предполагали уничтожить фон Шаумбурга в самом Булонском лесу в тот момент, когда он выходит из дому. Но в Булонском лесу слишком много охранников, стрелявший неминуемо попал бы к ним в руки. Лозунг партизан — «Беречь каждого человека». Они не хотят рисковать своими людьми. Кроме того, важно показать всей стране, всем патриотам, что Франция жива, что Франция борется и ни один фашистский палач не избегнет возмездия, все найдут свой бесславный конец.

Решено убить коменданта на улице.

И опять сияло солнечное парижское утро. И опять, как каждый день, по авеню Поль Думер мчался черный автомобиль с фон Шаумбургом в блестящей орденами парадной форме (вечером в комендатуре должен был состояться большой прием).

Вот и угол улицы Николо. На повороте автомобиль слегка замедляет ход. Из-за угла выворачивается коренастый юноша — прохожий. Он подымает руку, размахивается. Над автомобилем взметывается пламя. Грохот раскатывается по улице Николо, по авеню Поль Думер, по авеню Виктор Гюго. Очередь у булочной рассыпается. На месте лимузина — искореженная куча металла и стекла. Для коменданта Большого Парижа наступил час возмездия.

Николь одна в лавке, когда врывается Жермен. У нее сумасшедшие глаза.

— Готов!

— Кто готов? Что случилось?

— Фон Шаумбург! С ним покончено! Только что бросили бомбу!

Николь стоит, побледнев. Наконец-то!

— Кто это сделал? Кому было поручено?

— Кто-нибудь из наших, конечно,— уверенно говорит Жермен.— Кому же еще?

— А точнее? Ты же должна знать, тебе Гюстав все говорит,— настаивает Николь.

Николь трепещет: что, если...

— Сегодня вечером все узнаем,— обещает Жермен.

И правда, к вечеру она возвращается откуда-то полная сдержанного торжества.

— Ты понимаешь, уже во всех лагерях, во всех казематах прошел слух, что «в Париже сняли большую шишку». Это код. Все понимают — в Париже укокошили большого начальника.— Она щелкает пальцами.— Тебе, конечно, не терпится узнать имена? Так вот, это сделали ребята из группы молодого армянского поэта Мисака Манушяна. Вместе с ним были Марсель Рейман, Селестино Адольфо и Спартако Фонтано. Им удалось скрыться. Воображаешь, что теперь делается в полици в гестапо...— Она машет рукой.

— А наши? А русские? Они тоже участвовали?— не выдерживает Николь.

— Каждый делал то, что ему поручено,— уклончиво отвечает Жермен.

10. СТРАНИЧКИ БОЕВОГО ДНЕВНИКА

В Орли взорван поезд, груженный военным оборудованием фашистов. На двадцать четыре часа прекращено все движение по линии.

На авеню Симон Боливар подожжен немецкий гараж. Девять грузовиков выведены из строя. На вокзале Батиньоль разбит целый состав, сформированный для отправки в Германию.

Немецкий офицерский дом отдыха подожжен бутылкой с зажигательной смесью.

В фашистские офицерские рестораны на улице Каир, на улице Лафайетт, в кафе на бульваре Гаусманн, в морское министерство на площади Конкорд, в военный

комиссариат в Нейи брошены бомбы. Множество убитых и раненых нацистов.

Возле метро Дюплекс в грузовик, полный неприятельских солдат, брошена граната. В тот же день гранаты были брошены и в колонну гитлеровцев, проходивших мимо Военной школы. Американский бар на площади Этуаль, предоставленный офицерам вермахта, был атакован франтирерами: гранаты летели прямо в окна.

Рано утром 7 мая 1943 года в парижском пригороде были взорваны столбы линии высокого напряжения. Множество заводов, из тех что работали на оккупантов, стали. Были потеряны тысячи рабочих часов. Фашисты бушевали, они бросили все силы на поимку «диверсантов», но франтиреры остались неуловимыми.

10 мая партизанский командир, известный под именем «полковника Жиля», напал у Одеона на группу эсэсовцев. Эсэсовцев забросали гранатами.

22 мая на бульваре Линне атакована немецкая машина. У фашистов множество потерь. Партизаны благополучно ускользнули.

5 июня на Итальянском бульваре, в самом центре Парижа, днем, у кафе, полного народа, убит полковник-гитлеровец. Франтирерам удалось скрыться.

15 июня перед вечером, тоже в центре Парижа, у церкви д'Отейль, франтиреры атаковали машину военных моряков и офицеров. При атаке уничтожено тридцать вражеских моряков.

29 сентября на улице Петрарки в машине был убит вице-президент комендатуры Парижа штандартенфюрер войск СС Юлиус Рейтер.

И опять в самые отдаленные районы Франции, за колючую проволоку лагерей, за решетки и стены тюрем летит весть: «В Париже снята большая шишка».

День за днем, час за часом заполняются страницы боевого дневника. За каждой строчкой — отвага, долгая, продуманная подготовка, воля, ненависть к фашизму, любовь к родине.

Тайная армия растет. В Париже действуют люди Лароша, Карро, Мисака Манушяна, Шарля Тийона, Ролле Танги, Ивана Трояна, Василия Таскина, Георгия Шибанова. Уже прославлен своими легендарными подвигами бывший булочник коммунист Пьер Жорж, ставший партизанским полковником Фабьеном. Все они в Сопротивле-

нии, все — бойцы подпольной армии. И еще есть в Париже книжная лавка близ площади Этуаль и в ней — две девушки...

11. ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ

Среди ночи Жан-Пьер разбудил крепко уснувшую Фабьен.

— Послушай-ка, там, в подвале, какой-то шум... Или, может, мне кажется? Ведь я выпил на ночь этой твоей бурды, которую ты называешь кофе...

— Нет, не кажется,— прислушалась Фабьен.— В самом деле там ужасно шумят.

Проснулся и Андре на своей верхотуре. Спрыгнул, стал натягивать штаны.

— А вдруг боши? С обыском! Слышно много голосов!

— Наверно, это радио,— подала сонный голос Арлетт.

— Какое радио? У нас нет никакого радио. Ты что, бредишь?

— Ничуть. Вечером Филипп Греа дал мне для наших приемник. Он сам собирал больше месяца. Принимает Лондон и даже, кажется, дальше... Наверное, это Дени его наладил.

Андре не удержался, шлепнул сестру.

— Что за девчонка! Вы только ее послушайте: раздобыла приемник, который нужен нам как воздух, и ни слова не сказала! Ты что, и с нами конспирацией занимаешься?

— Да вы все уже легли. Не хотела вас беспокоить.

Андре недоверчиво фыркнул.

— Скажите, пожалуйста, какая заботливая! Боялась нас разбудить? Скажи, просто хотела покрасоваться перед русскими, выставить себя героиней, главной благодетельницей!

— Тише вы, прекратите сейчас же!— потребовал отец.— Андре, давай-ка спустимся к нашим. Нужно все-таки выяснить, почему такой шум. На радио, по-моему, это не похоже.

Однако Келлеры не успели одеться, как оба русских, даже не постучав, ворвались к ним.

— Кричите «браво», «ура»! Все кричите! Хором!— потребовал запыхавшийся Даня.— Наши взяли Харьков!

Мы сами, слышите — мы сами, своими ушами слышали передачу! Сообщение от Советского информбюро! Вы понимаете, взят Харьков!

— О, Харьков — это, кажется, очень большой город? Кажется, четвертый или третий после Москвы и Ленинграда? В таком случае, это очень крупная победа!— Келлер потряс руки Дане и Павлу.— Мы поздравляем, мы горячо, от всей души поздравляем вас обоих!

— Большой! Огромный!— сиял Даня.— Кроме того, Харьков в какой-нибудь сотне километров от Полтавы! От моей Полтавы, вы понимаете? Три часа езды на поезде! Значит, дня через два-три наши освободят и Полтаву! Полтава будет свободна!

— И Данькину родню, значит, вот-вот освободят,— громко, точно глухим, объяснял кое-как по-французски, а больше жестами Павел.— Понимаете, стали мы этот приемничек налаживать, я думал, он плевый, ничего путного не возьмет. И вдруг слышим — по-русски про Харьков передают. Я первый услыхал, а потом и Данька разобрался что к чему... Мы с ним ведь еще и не ложились, все налаживали радио. Первый раз услышали нашу передачу, вот здорово!

— О, Дени, как это хорошо! Мы так рады за тебя, Дени, мы так тебя понимаем!

Все семейство Келлеров окружило Даню — кто в пижаме, кто в длинной, до пят, ночной сорочке, но сейчас никто об этом не думал, так все были взволнованы Даниной радостью. Фабьен сказала тихо:

— Наверно, сегодня твоя мама думает о тебе, как и ты о ней, Дени. Ведь и она тоже, конечно, слушала радио и знает, что Харьков освобожден.

— Радио? Да что вы, Фабьен! Немцы у нас расстреливают людей, если находят у них приемник,— нахмурился Даня.— Еще в первые дни они велели всем сдать приемники. Не сдашь — расстрел.

Келлеры замолчали. Слово «расстрел» мгновенно точно выдуло радость из маленькой квартирки. Все невольно вспомнили, что сейчас глубокая ночь, что они среди врагов, не знают, кто ходит сейчас за окнами и скоро ли придет победа. Келлер осторожно отодвинул ставень, выглянул в окно. Фабьен и Арлетт стыдливо закутались в одеяла. И только Андре с Павлом еще пытались шутить и смеяться и требовать у Жан-Пьера бутылочку винца, чтобы вспрыснуть победу под Харьковом.

7 Заказ 1424

— Завтра вспрыснем,— сказал Келлер-старший.— А сейчас не забывайте, что вы в оккупированном городе и, если будете шуметь ночью, сюда нагрянут боши. Команда — всем спать!

— Всем спать!— повторил Павел и шутливо козырнул Келлерам.

Но еще долго в домике над сельской лавкой не спали, думали о далеком Харькове, о незнакомой Даниной матери. А когда Даня заснул, ему привиделись вишневые полтавские сады в белой кипени цветов и чье-то лицо, очень дорогое, но которое он так и не смог узнать. Он горько стенал во сне, даже, кажется, плакал. Павел, слышавший все, не разбудил товарища. Он хорошо понимал, отчего плачет всегда такой сдержанный и скрытный Даня.

Все следующие дни оба русских были в непрерывном нервном волнении. Они то сидели у приемника — ждали новых сообщений из Советского Союза, то бегали наверх к Келлерам узнавать, нет ли распоряжений от Гюстава или Сергея. Обоим, и Павлу и Дане, теперь, когда они сами услышали о победах советских войск, было невыносимо сидеть без дела. Наконец как-то утром появилась Николь — опять с восковками.

— Надо отпечатать как можно больше экземпляров,— сказала она.— Здесь написано о победе у Харькова и вообще о продвижении русских. Когда сделаете, сами же их и развезете. На этот раз вам дается район возле университета и вокзала Монпарнас.

— Ого, далеконько придется топать!— подал голос Павел.— Велосипед с собой не возьмешь, тем более что мы будем втроем.

— Гюстав строго-настрого приказал, чтоб не было никаких «адских машин», иначе наверняка засыплетесь,— продолжала Николь.— Есть сведения, что за всеми высокими зданиями, крышами и дворами полиция установила постоянную слежку. Вы таки устроили в Париже недурную шумиху!— Она смеющимися глазами посмотрела на Даню.— Зато теперь, дорогие изобретатели, вам придется вернуться к дедовскому способу. Банка с клейстером и кисть — вот ваши орудия,— насмешливо добавила она и тут же пожалела о своей насмешливости: увидела, как понурился Даня.

— Орудия каменного века, вот что ты нам рекомендуешь,— попробовал он отшутиться.

Однако ему было совсем не весело. Опять листовки, а настоящее дело когда же? Ведь Сергей обещал, что их позовут! Николь тронула Даню за рукав — она как будто читала его мысли.

— Потерпи немного... Скоро все мы примемся за другое...

Даня нетерпеливо дернул плечом: утешает, как маленького! Павел тоже злился, рывком забрал восковки, кинул:

— Идем, Данька, будем опять вертеть нашу кофейную мельницу.

И все-таки листовки были отпечатаны, и на следующую ночь три тени бесшумно выскользнули из сельской лавочки в Виль-дю-Буа. Ночь была тихая, теплая, беззвездная. Им предстояло прошагать много километров сначала по предместью, потом по безлюдному в этот час шоссе и затем по Парижу. Первым, как всегда, шел Андре. При нем не было ни бумаг, ни документов — ничего компрометирующего. Андре был дозорным, разведчиком. Условились: если заметит что-нибудь подозрительное, он тотчас останавливается, зажигает спичку и делает вид, что закуривает. Позади, метрах в тридцати, шагал Даня. Этот нес банку с клейстером и кисть. Последним двигался Павел с пачкой листовок под мышкой.

Тройка благополучно миновала Виль-дю-Буа, тихий спящий поселок, пустынное шоссе и вступила в город. Здесь надо было соблюдать особую осторожность — по парижским улицам то и дело ходили патрули. Но тройке везло. Квартал. Еще квартал. Еще. Вот уже и университетский район и вокзал Монпарнас. Андре беспечно шагает впереди. За ним Даня, который на ходу делает мазок кистью на стене или на какой-нибудь двери, а Павел, тоже на ходу, уже привычным движением пришлепывает листовку к мазку.

Но вот тройка расклеила весь свой запас листовок. Наутро студенты и пассажиры вокзала увидят сообщение о новой победе советских войск. Андре негромко свистнул: «Кончили. Возвращаемся домой». Но как раз в это мгновение из-за угла улицы Бургонь прямехонько на тройку вывернулись три велосипедиста. Полицейские. Андре даже не успел вытащить сигарету. «Коровы на колесах», как их звали, были уже перед ним. Однако мальчишка — слишком мелкая добыча. Их внимание сразу привлек Даня.

— Проверка. Ваши документы.

Кровь бросилась Дане в лицо. Непроизвольным жестом он размахнулся, швырнул в голову ближайшему полицейскому банку с клейстером и липкой кистью изо всей силы мазнул его по лицу. Мгновенно ослепший, задыхающийся полицейский протянул руку, чтоб схватить Даню, но тот ловко увернулся и бросился бежать по улице, идущей к Сене.

— Держи!— закричал отчаянным голосом полицейский.

Второй ажан рывком кинул свой велосипед на Павла, чтобы сбить его с ног, выхватил пистолет.

— Ага, от меня ты не уйдешь, негодяй!

Но Павел успел отскочить в сторону и тоже кинулся бежать. Он еще видел, как полицейский перепрыгнул через упавший велосипед, зацепился за него и на секунду задержался. Этой секунды было достаточно, чтобы вся тройка бесследно растворилась в темноте. Третий полицейский, как видно, не решился их преследовать.

В доме Келлеров в эту ночь никто не ложился. Не вернулись с «операции» Андре и оба русских. Когда рассвело, Келлер-старший решительно направился к двери.

— Поеду предупредить товарищей. Конечно, их забрали. Если придут за мной, скажите, что я уехал за товаром в город. А я, прежде чем вернуться, подошлю кого-нибудь проверить обстановку. Впрочем, я в наших парнях уверен: они не проговорятся.

Фабьен и Арлетт, обе бледные, взволнованные, молча помогали отцу собираться. В ту минуту, когда Жан-Пьер уже выводил из дверей лавки свой велосипед, раздался условный стук.

— Они!— воскликнула Арлетт.

Это был один Андре, весь заляпанный известкой, бледный и растерянный, Келлеры бросились к нему.

— Наконец-то! Что случилось?! Куда вы все пропали?!

— Наши вернулись?— вместо ответа спросил Андре и, узнав, что нет ни Дани, ни Павла, встревоженно сказал:— Но я сам видел, как они оба удрали от «коров». Где же они? Неужто еще раз наткнулись на патруль, попались?!

Он рассказал о ночном приключении.

— Какой же несдержанный этот Дени!— покачал

головой отец.— Ведь он мог всех подвести... Показал бы свой документ, все и обошлось бы.

— А про банку с клеем и кисть ты забыл?— вступился за друга Андре.— Как, по-твоему, он стал бы объяснять полицейским свою прогулку по Парижу ночью с клейстером? Да стоило «коровам» свернуть за угол, они тотчас увидели бы нашу работу!

— Ты проверил, нет за тобой слежки?— спросил отец.— Вдруг привел за собой хвост?

— Ну, папа, ты меня совсем за маленького считаешь!— обиделся Андре.— Я потому и провел ночь в каком-то подъезде, чтобы уж совсем было безопасно. И разве я вернулся бы сюда, если бы заметил слежку?

— Но где же ты все-таки пропадал?— настаивал отец.— Должен же я рассказать обо всем товарищам...

— Почем я знаю!— отмахнулся Андре.— Забился в какой-то темный подъезд. Кажется, это было где-то около Шерш-Миди. Все время ждал, что вот-вот выползет из своей конурки консьержка или кто-нибудь из жильцов, заинтересуется, зачем и как я туда попал...

— Но ты все-таки выспался?— наивно спросила Арлетт.

Андре присвистнул.

— Еще бы! Спал, как заяц, за которым гонятся собаки.— Он нахмурился.— Но где же, черт возьми, Дени и Поль? Просто не верится, что их сцапали. Не такие это парни.

— Я все-таки поеду, предупрежу наших.— Жан-Пьер снова взялся за велосипед.— Это вам не шутки.

Андре остановил его.

— Погоди еще немного, папа. Скажем, до восьми утра. Сейчас шесть. Назначим контрольный срок два часа — согласен?

— Правда, Жан-Пьер, подожди,— вмешалась Фабьен.— Я тоже уверена, что они придут.

И как бы в ответ на ее слова снова раздался условный стук и в дверях появился Даня.

— Браво! Нашелся!— завопила Арлетт и повисла на шее у Дани.— Я была уверена, что вы удрали!

Даня, смеясь, обнял девочку.

— Тише ты, сестричка, всех соседей подымешь!

В противоположность Андре, Даня выглядел совершенно бодрым и свежим.

— Ба, ты, кажется, отлично провел ночь? В каком отеле?— немного досадливо осведомился Андре.

— Занимал номер люкс на Марсовом поле,— в тон ему отвечал Даня.— Ванна, телефон, радио — все удобства...

— Ну а если по-серьезному?— спросил Жан-Пьер.

— По-серьезному — схоронился за кустами на Марсовом поле, прямо за спиной постового полицейского. Так и проторчал там всю ночь, согнутый в три погибели.

Жан-Пьер крякнул.

— Ну и парень! Не знаю, пробирать тебя со всей строгостью или хвалить. Неизвестно, как еще посмотрят на все это наши. Тут Андре такое нарассказал о твоем подвиге! Как ты залепил клейстером всю морду «корове». Ведь это могло очень плохо кончиться. И не только для тебя!

— Сам не знаю, как это у меня вышло,— виноватым тоном сказал Даня.— Уж очень поганая была рожа с пистолетом! Я себя не помнил от злости.

— Чего ты извиняешься!— завопил вдруг Андре.— Тебе орден надо дать, а ты извиняешься! У, был бы я командиром, я непременно наградил бы тебя.

— И я! И я!— подхватила Арлетт.

— Ну, пока вы еще не командиры, уймитесь,— остановил ребят отец.— Арлетт, помоги матери с завтраком. Надо накормить наших героев. У них, наверно, после всех подвигов здорово животы подвело.

— А где Поль? Спит?— справился Даня.

— Еще не вернулся,— как можно непринужденнее сказал Жан-Пьер.— Ты не беспокойся, Андре видел, как он удрал и помчался вслед за тобой. Тоже где-нибудь отсиживается.

— Да-да, я сам видел, как полицейский зацепился накидкой за свой велосипед, а когда наконец отцепился и кинулся в погоню, Поля и след простыл,— с жаром подтвердил Андре.— Да ты не волнуйся,— прибавил он участливо.— Поль не таковский, чтоб попасться. Он скоро придет, будь уверен.

— Мы назначили контрольный срок,— кивнул Жан-Пьер.— Ждем до восьми утра. Если он не вернется, то...

Жан-Пьер не докончил. Впрочем, ему и самому было не ясно, что делать, если не вернется Поль.

Фабьен и Арлетт принялись готовить завтрак. На столе появился знаменитый дежурный топинамбур. Но и Андре

и Даня так проголодались, что топинамбур показался им лучшей в мире едой. Между тем стрелка часов приближалась к восьми. Жан-Пьер принимался все чаще кряхтеть и задумчиво чесать переносицу, что было признаком тревоги.

Даня и Андре тоже то и дело смотрели на часы. И вот, когда до контрольного срока оставалось минут шесть-семь, кто-то тихонько поскребся у дверей. Условного стука не было, и все присутствующие уставились друг на друга.

— Кто это может быть?— шепотом спросила Фабьен.

За дверью вдруг нетерпеливо сказали:

— Есть кто-нибудь дома? Открывайте!

— Поль!— воскликнул Андре.— Это он!

Да, это был Павел, очень веселый, грудь колесом, независимый вид.

— Что ж ты не стучишь, как условлено?— набросился на него Даня.— Ты что, забыл?

Павел почесал затылок.

— Совсем из головы вон. Ну ладно, на первый раз прощается, так?— Он смеющимися глазами оглядел Келлеров.— Ага, все в сборе, значит? Ну и отлично! Неплохая была ночка, черт возьми!

— Да где ты пропадал столько времени? Что ты делал до сих пор, Поль? Мы здесь волнуемся, а он где-то разгуливает!— раздалось со всех сторон.

— Ночевал под мостом, удобное очень местечко,— подмигнул Поль.

Жан-Пьер и ему задал вопрос, не заметил ли он слежки за собой.

— Ничего такого не заметил,— твердо сказал Павел.— А вы здесь закусываете?— обрадовался он.— Может, и меня, бродягу, покормите?

И, пока Фабьен стряпала его порцию топинамбура, Павел рассказал, что, петляя по улицам, добежал до Сены и притулился под одним из мостов. Вначале, когда бежал, слышал позади топот полицейского, но вскоре, видно, тот отстал.

— За мной не очень-то угонишься!— хвастливо прибавил Павел.— Я у нас на Плющихе первым бегуном был.

Он, как и два других беглеца, набросился на завтрак, выпил три чашки суррогатного кофе, причмокнул от удовольствия.

— А теперь и соснуть неплохо бы...

— Ты все-таки расскажи подробнее, как тебе удалось удрать от полицейского и под каким мостом ты прятался,— попросил Жан-Пьер.— Может быть, товарищи захотят узнать.

— Папаша Келлер, честное слово, все вам расскажу, вот только посплю часочек, глаза прямо не глядят,— потянулся на своем стуле Павел. И быстро кинул по-русски Дане:— Идем скорее к нам в подвал. Есть разговор.

12. ПАВЕЛ ВСТРЕЧАЕТ ЗЕМЛЯКА

Он начал издалека:

— Данька, ты мне друг?

— Ну, допустим, друг,— отвечал заинтересованный Даня.— Что это ты на себя напустил такую таинственность? В чем дело?

— Нет, ты не «допустим», а по-настоящему скажи: друг ты мне или нет?

— Друг.

— Так вот, поклянись мне как настоящий друг, что никому, нигде и никогда не скажешь о том, что я тебе открою.

— Ух ты, какая тайна! Да в чем дело, Пашка?

— Клянешься или нет? Ты прямо говори!

— Ну ладно. Клянусь.

— Клянись отцовской жизнью.

— Павел, ты мне надоел!

— Не поклянешься, ни слова не скажу. А это и тебя касается. И всей нашей жизни тоже!

— Скажите пожалуйста, как серьезно! Ну хорошо. Клянусь жизнью отца.

Павел полез за пазуху. Глядя на Даню блестящими, напряженными глазами, вытянул что-то, открыл ладонь:

— На! Гляди!

На ладони лежал небольшой вороненый пистолет. Даня задохнулся. Оружие! Мечта!

— Где достал?

Пашка торжествующе засмеялся.

— Где достал, там теперь нету.

— Нет, ты правду скажи.

— Ну, так и быть. Это мне подарок от одного человека.

— От какого человека? Что ты меня выматываешь, Павел?!

Пашка, поигрывая пистолетом, присел на свою раскладушку.

— Мог бы я еще над тобой, Данька, поизгиляться, да уж не стану больше тебя томить. Слушай. Нынче ночью встретил я одного хорошего человека. Нашего русского человека. И встретил-то просто чудом каким. Когда за мной этот сукин сын полицейский припустил, я стал, как заяц, петлять. Темно, ничего не видать, улиц я никаких не знаю, куда какая идет — тоже мне неизвестно. Соображаю только, что к Сене вон в ту сторону надо бежать. Помню, как-то Жан-Пьер говорил, что там по берегам пустынно теперь. Вот я и выбрал направление к реке. Остановлюсь на полсекунды, послушаю, бежит или не бежит за мной фараон,— слышу, топает, ну, значит, и мне надо дальше припускать. Раз пять так останавливался — слушал. Под конец слышу — тихо все будто, никто меня не преследует. И тут гляжу — я уже у самой воды. Темно. Ни звезд, ни месяца, только на какой-то барже, что ли, крохотный синий огонек помаргивает. И река рядом под ногами булькает. Ну, отдышался я чуток, огляделся, вижу — мост поблизости. Я — к мосту. И тут в темноте споткнулся не то о крышку люка, не то о камень и больно так зашиб ногу. И дернуло меня выругаться по-русски. «У, дьявол, говорю, понабросали здесь, сволочи, камней!» И вдруг из темноты кто-то говорит тихонечко: «Здорово, земляк!» Я чуть не вскрикнул. «Кто это? Кто здесь?!» Слышу, подходит ко мне человек, чиркает спичкой. Сначала меня осветил, потом на себя свет направил. Гляжу — молодой, чуть постарше нас с тобой, усики темные, на француза смахивает, а нос картохой, наш нос, московский. И галстук бабочкой, как у пижона. Спичка погасла, он говорит: «Не будем вторую зажигать, ни к чему нам привлекать внимание. Мы и так уж познакомились. Чего это ты, говорит, так запыхался, земляк? Драпал, что ли, откуда?» Я говорю: «Не откуда-то, а от кого-то. От троих фараонов на велосипедах, а по-здешнему — «коров». Они меня с товарищами застукали, когда мы листовки расклеивали».

Даня невольно вскрикнул:

— Как! Ты вот так, первому встречному, все про нас выложил? Да ты в уме, Павел?!

— Какому же первому встречному?— возмутился

Пашка.— Я же тебе говорю, он наш, русский, трижды моим земляком оказался. Во-первых — русский, во-вторых — москвич, а в-третьих — тоже на Плющихе живет, как и я. Ведь это надо же такое совпадение!— Пашка в восторге шлепнул Даню по коленке.— Зовут Семен Куманьков, лейтенант нашей Красной Армии. Чего тебе еще нужно?

Но Даня не отставал:

— А кто он такой сейчас и как здесь оказался, это ты у него узнал, прежде чем нас выдавать?

— А чего узнавать — он мне все сам про себя сказал. Бежал, как и мы, из лагеря с фальшивым документом, был, как и мы, на севере Франции, занимается такими же делами, как и мы.

— Какими делами?

— С фашистами бьется,— уверенно отвечал Павел.— Он, как узнал про листовки, так обрадовался. «Мы, говорит, с тобой и твоими дружками одного поля ягоды».

— Сказать можно что угодно, Павел. Ты вспомни, о чем говорил нам Сергей. Может, этот Семен — власовец?

— Иди ты со своим Сергеем!— сердито отмахнулся Пашка.— Сергей этот сам сказал, что для солдат мы еще слишком молоды. И они все здесь нас за сосунков считают, ничего серьезного нам не поручают, дали в товарищи мальчишку с девчонкой, чтобы мы с ними нянчились. Да ты что, сам не видишь, что ли, мы здесь просто на затычку!— с досадой выкрикнул Павел.— А Семен Куманьков сказал, что поставит нас на настоящие дела. Говоришь — власовец? А он мне сказал, что его как раз наши советские послали к власовцам в Шербур агитировать, чтоб они, значит, бросили своего генерала, вернулись к советским войскам, присоединились к Сопротивлению. Вот что он делает!— с торжеством закончил Пашка.

— Он был в Шербуре?— хмуро повторил Даня.— Немцы в Шербуре строят Атлантический вал — большие укрепления, чтобы отразить наступление союзников, если они откроют второй фронт. Нам Гюстав говорил, что этот вал охраняют как раз части власовцев. Помнишь?

— Ну и что же?— не сдавался Пашка.— Я же тебе говорил, чем Семен там, в Шербуре, занимается. Да это такой человек — во!— Пашка выставил большой палец.—

Он мне себя этой ночью хорошо показал! Тут же, на месте!

— Как показал?

— Я ему пожаловался, что оружия у нас нет. Он и говорит: «Это плевое дело — достать оружие. Хочешь, я тебе хоть сейчас добуду?» Я смеюсь. «Хочу»,— говорю. Он пошарил по земле, нашел что-то, может, тот камень, о который я ногу ободрал, и говорит: «Идем, тут я полицейского одного на посту заприметил. Ты только следуй за мной, ничего не делай, а как я позову,— берись за работу, снимай с него оружие». Я ему, признаться, в ту пору не поверил. Однако пошел за ним. Вышли мы на набережную, темно кругом, но дома все-таки видны. Стал я различать какие-то ворота. Семен мне шепчет: «Ложись!» Я залег. Он впереди меня пополз, я — за ним. Ползем минуту, другую, вдруг он подымается, неслышно, как кошка, прыгает. Я слышу, что-то тяжелое упало. Он мне: «Павел, давай!» И прямо передо мной лежит, хрипит огромный детина — полицейский. «Забирай пистолет!» — шепчет Семен. Я еле перевернул детину, тяжелый, сукин сын. Боялся, что очнется. Семен мне ножик кинул, я срезал кобуру. «А теперь быстро давай уходить!» Тут мы оба — ходу. Я даже спасибо ему не успел сказать. Вот он, пистолет!— Павел опять нежно погладил вороненую сталь.

Он явно ждал Даниных восторгов, одобрения. Вместо этого Даня обрушился на него:

— «Спасибо» не успел сказать, а что ты успел?! Говори, что ты ему о нас выболтал!— гневно потребовал он.

— Ты что, очумел?!— вскипел Пашка.— Ты соображай, что говоришь! «Выболтал»! Ты что же, за предателя меня считаешь? Да как у тебя язык поворачивается такое говорить? Я тебе как другу доверился, рассказал о земляке, о нужном для всех нас человеке, а ты что? Сразу «власовец», «провокатор»! Человек жизнью своей, можно сказать, рисковал, чтоб мне оружие раздобыть, а ты говоришь «власовец»! И почему ты Куманькова подозреваешь? На каком основании? Почему, например, ты ничего такого не говорил про Сергея? А мы даже фамилии Сергея не знаем...

— Сергея знает Гюстав,— пробормотал Даня.— Это он устроил нашу встречу.

Даня колебался. В самом деле, какие у него основания вот так, ни с того ни с сего, подозревать неизвестного

человека? Где-то в глубине души ему самому нравилась отвага этого неведомого Куманькова, который ночью чуть ли не в центре Парижа «снял» полицейского только для того, чтобы дать земляку оружие, о котором тот мечтал. Вот он, пистолет. Лежит на столе рядом с обоймой, наполненной патронами. Лежит, черный, компактный, блестящий... Дане страстно захотелось подержать его в руках. Однако он сдержался. Надо было еще выяснить, что именно сказал Пашка. А что Пашка выболтал что-то Куманькову, Даня был уверен — уж слишком хорошо знал он бахвальство своего товарища, его желание покрасоваться, похвастать своими подвигами, показать, что «и мы не лыком шиты». Самое возмущение Павла тоже показалось Дане подозрительным: мог бы просто сказать, что ничего не говорил. А он вон как вскинулся. Он спросил как можно спокойнее:

— Ну а все-таки, что ты ему о нас говорил?

— Вот заладил «что да что»!— все еще сердито отозвался Павел.— Ничего особенного не говорил. Только и было разговору про листовки да про то, что мы сами их печатаем. Ведь нужно же было объяснить, почему я бежал от полиции. Он сам меня спросил.

— И адрес наш в Виль-дю-Буа ты дал?— настаивал Даня.

— Адрес?— Пашка явно растерялся.— Да нет, собственно, адреса точного не давал. Сказал только, что обретаемся мы у одного лавочника в подвале, в окрестностях Парижа...

Он старался не смотреть на друга. Дане было не по себе. Пашка лжет, это ясно. Но что еще кроме адреса успел он выболтать неизвестному? И кто этот Куманьков?

— Слушай, надо рассказать об этой встрече Гюставу,— решительно сказал он.— Это очень важно.

— Что? А твоя клятва?— закричал изо всей мочи Павел.— Ты что ж, предать меня хочешь?!

Даня спохватился: в самом деле, он поклялся. Да еще жизнью отца... Ух! Что же делать?!

— Ладно, ладно! Не кричи. На чем же вы все-таки покончили с этим твоим героем?— Он старался держаться как можно непринужденнее.— Ты с ним еще увидишься?

— Ага,— кивнул Павел.— Конечно, если ты не нарушишь клятву и не подымешь историю там, у Гюстава.— Он криво усмехнулся.— Условились встретиться в Люк-

сембургском саду послезавтра. Мне бы очень хотелось и тебя привести познакомить с ним, да он сказал, чтоб я пока приходил один. Обещал дать еще оружие и задание,— прибавил он гордо.— Только гляди, Данила, держи свою клятву.

Даня нехотя кивнул. Он был угрюм, смутен, взбудоражен. Не знал, на что решиться. Посоветоваться с Келлером, с Гюставом, с Николь? А клятва? И потом не значит ли это предать Павла? Павла, который был его ближайшим товарищем, который делился с ним в побеге последним? Он думал, а рядом, на раскладной кровати, уже давно мирно посапывал Павел.

13. КРАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

— Нравится тебе Париж?

— Еще бы! Иногда прямо глаз не оторвать. Правда, я никогда не был в Ленинграде. Мне говорили, по красоте он — ровня Парижу.

Толчок в сердце: «Мне говорили». Как давно, как бесконечно давно Дане «говорили» о Ленинграде!

— Хотелось бы мне когда-нибудь поехать в ваш Ленинград,— сказала Николь суховатым голосом. Вид у нее был самый независимый: подумать только, она идет по Парижу с Дени, с тем самым Дени, который...

— Еще поедешь. Вот погоди, кончится война.

— Ты веришь, что она действительно кончится?

— А ты не веришь?— Даня поражен.

— Не знаю. Ничего не знаю. Иногда мне кажется, что никто из нас не доживет до конца.

И куда девались сухой голос и независимый вид!

Вот те нá! Шалая чудачка эта Николь, вот она кто! То ведет себя выдержаннее, спокойнее взрослых, опекает Жермен, решается возражать самому Гюставу, обо всем судит здраво, вполне логично, а то вот, пожалуйста, чуть ли не слезы... Вон, вон, даже подбородок дрожит.

— Что ты болтаешь, Николь?! И вообще, какая муха тебя укусила?

— Никакая. Все в порядке. Можешь не беспокоиться.

И правда, Николь быстро подбирается, вскидывает вихрастую, совсем мальчишечью голову, снова принимает беспечный вид девушки, прогуливающейся со своим дружком. Ведь именно так рекомендовал им вести себя

Гюстав, передавая Николь пистолет, привезенный товарищем из комитета. Пистолет, оттягивающий сейчас сумочку Николь, следовало сегодня же отнести в некий дом на улицу Бургонь, некому мсье Арролю. «Фланирующие парочки обычно не привлекают внимания,— сказал Гюстав, мельком глянув на Николь.— Идти к Арролю слишком рано не стоит, рискуете его не застать. Думаю, нужно держаться набережных, по дороге, кстати, загляните в рундук старого Руже. Нет-нет, ни спрашивать, ни заговаривать с ним не надо. Просто заглянуть. Ты ведь знаешь, Николь, о чем я говорю?»

Николь послушно кивнула. Даня тоже не задавал никаких вопросов: уже привык к строгой дисциплине подпольщиков. Он составлял «прикрытие» Николь, вот и все.

И вот они шагают нога в ногу по набережной.

Оба высокие, оба легкие, без шапок. Необычно мягкий для осени ветер, прилетевший с Сены, перебирал их волосы. Они были удивлены этим замедлившимся темпом своей жизни, обычно такой судорожно-торопливой, нервной, «рисковой», как говорил Павел. И от непривычной замедленности, от непривычного разговора, а может и еще отчего-то, обоим было не по себе.

Пустой Париж, хотя уже конец сентября. Пустой не потому, что парижане, как раньше, до войны, разъехались на каникулы по морским курортам и горным деревушкам, по своим или чужим виллам в Бретани, Нормандии или на Лазурном берегу. Пусто оттого, что еще в сороковом году, перед нашествием немцев, был великий «исход» парижан, их великое бегство, и с тех пор не многие вернулись в Париж.

Что ждало их по возвращении? Скудный паек. Слежка почти за каждым. Аресты. Холод в домах. Черный рынок и спекулянты. Топот немецких патрулей. Комендантский час. Списки расстрелянных на стенах домов. Жертвы, жертвы, жертвы...

И все-таки Париж оставался Парижем — прекрасным и величественным в своей нищете и безлюдье, уютным и домашним, несмотря на лишения, несмотря на гнусную человеческую накипь, вытащенную на свет «победителями».

Дожди и копоть придают парижским зданиям неповторимый колорит. Как будто какой-то великий художник, работавший только одним угольным каранда-

шом, прошелся по всему городу. Порой чуть трогал карандашом капители и колонны, едва намечал нежно-серым изысканный орнамент времен Возрождения, порой же накладывал густые темные тени, жирно чернил купол или свод, подчеркивал фриз, пасть химеры, изящный фронтон. И черно-серый город завораживал, пленял на всю жизнь.

Неспешно облегала город уютная Сена. Ленивое солнце сквозь легкий слой облаков обливало жемчужным светом. Нотр-Дам. Консьержери. Дворец правосудия. Красным каскадом спадал с парапета набережной к самой воде дикий виноград, и старомодный черный буксирчик тащил за собой две крутобокие баржи с песком. За кормой последней баржи тянулся струистый серебряный след. На узком пешеходном мостике, прозванном «мостом влюбленных», стояла тесно прижавшись друг к другу пара. Вид этой пары внезапно раздражил Николь.

— Уйдем отсюда!— рывком сказала она.

— Зачем? У нас еще много времени. Отсюда хорошо смотреть на город.

Париж обступал их. Совсем близкой казалась кружевная воздушная громада Эйфелевой башни, и вдалеке крутой сизой тучей нависал купол Дома Инвалидов.

Николь вздохнула.

— До войны каждое четырнадцатое июля, когда весь Париж праздновал взятие Бастилии, мы с Жермен бегали танцевать во двор Инвалидов. Правда, танцевала-то главным образом Жермен, а я больше глазела, но и это было весело. Ребята играли на аккордеонах, на гитарах, иногда приходил оркестр. Все нарядные, все заговаривают даже с незнакомыми... Папа с мамой, бывало, очень сердились, что мы возвращались только к ночи. А я все сваливала на Жермен.

— Наверное, ты очень жалеешь о том времени?

Николь тряхнула вихрами.

— Вот и не угадал! Вовсе не жалею. Ничуть. Может, я сейчас скажу ужасную вещь, но ты не удивляйся. Знаешь, мне сейчас живется намного лучше, полнее, интереснее... Да-да, не делай такого лица! Кто я была до войны? Какая-то ничтожная девчонка, школьница. Ходила в лицей, помогала родителям убирать лавку, бегала на танцульки, в общем, была никому не нужная

пигалица. А сейчас я чувствую, что делаю настоящее дело, со мной считаются, кому-то я приношу пользу. А ты знаешь, как важно человеку чувствовать себя нужным! Это меня так поддерживает!— Она схватила его руку горячей рукой.— Ты должен меня понять! Ты же все понимаешь.

Он молча кивнул. Смотрел на нее удивленный, даже смущенный. Узкое розовеющее лицо, узкие светлые глаза с таким странным выражением — гордым и вместе с тем просящим.

Длинная хрупкая фигурка в непомерно больших башмаках. Девочка-цапля, девочка-переросток, свой парень, отличный товарищ, отважная, бесшабашная порой девчонка — вот она какая, Николь. Он привык к ней, видел ее именно так. А сейчас перед ним стояла девушка, чуть угловатая, но полная такой тонкой девической прелести, что в Дане невольно что-то дрогнуло.

Он покраснел и чуть резче, чем хотел, высвободил руку.

— Я понимаю. Я тебя понимаю... Мне тоже непременно надо делать что-то настоящее.

И, чтобы переменить разговор, чтобы как можно скорее согнать с лица Николь выражение обиды и стыда, повернулся к левому берегу, где, точно обведенные тушью, стояли черно-серые башни Консьержери.

— Ты не знаешь, в которой из башен сидела Мария-Антуанетта?

Николь все еще не подымала головы.

— Не знаю,— буркнула она.— Ты что, специализировался на нашей истории?

— Смешная ты! Ведь мой отец — преподаватель истории.

— Так ведь не ты, а твой отец,— все еще не сдавалась Николь.— А я, например, из русской истории запомнила только поход Наполеона и вашего царя Александра Первого. И то по Толстому.

Даня был рад, что она разговорилась.

— А о Петре Первом ничего не знаешь? Весь наш город, наша Полтава, полон воспоминаниями о нем. Возле Полтавы происходило знаменитое сражение шведского короля Карла Двенадцатого с нашим Петром. Ты что-нибудь об этом слышала?

— Как будто что-то читала в лицее,— пожала пле-

чами Николь.— Сейчас уже все вылетело из головы.

Парочка на мосту сблизила головы. Юноша обхватил плечи подруги. Николь нервно дернулась.

— Пойдем. Нам уже пора.

Они медленно перешли мост, повернули на набережную Анатоля Франса, где букинисты открыли свои серые рундуки, развесили цветные открытки Парижа, которые охотно покупали немцы, расставили книги в старинных кожаных переплетах. Ах, как Данька порылся бы в этом книжном развале, с какой жадностью выхватил бы книгу, о которой только слышал, да и вообще так давно не читал он по-настоящему, без спешки, поджав ноги, уютно устроившись в каком-нибудь углу под мирным светом настольной лампы! Красный диван, красный диван, где ты? И существовал ли ты когда-нибудь вообще?

А Николь между тем опять выспрашивала все тем же ненатуральным, напряженным голосом:

— Ты очень любил свою Полтаву?

— Очень. Но почему «любил»? Я и сейчас ее люблю, ведь это город, где я родился.

Пауза. Очень долгая пауза. Мелькают один за другим рундуки букинистов. С некоторыми из букинистов Николь знакома. Это большей частью старики, и они приподымают обвисшие старомодные шляпы перед мадемуазель Лавинь, владелицей настоящей книжной лавки.

И вдруг:

— Послушай, ты дружил с кем-нибудь там, у себя в Полтаве?

Даня кивнул.

— Ну конечно, у меня была куча друзей. Наши школьные ребята, потом, когда я стал заниматься плаванием на стадионе, там у меня тоже завелись дружки.

Николь дернула плечом.

— Не то. Я говорю не о таких друзьях. Говорю об одном, единственном друге. О девочке. Была у тебя подруга?

Опять! Опять вопрос, который задавал Марсель. И опять, как тогда, в доме лаонского нотариуса, больно защемило внутри и краска прихлынула к щекам.

— Да. Была.

Николь перевела дыхание.

— Как ее зовут? Сколько ей лет? Какая она?

Промолчать? Отделаться несколькими незначащими словами? Выдумать что-то? Нет, Даня не может этого сделать. Это было бы предательством их с Лизой дружбы, их любви... И потом он видел лицо Николь, требовательное, нетерпеливое, голодное какое-то, и не мог ее обмануть.

И вдруг ему самому неистово, безудержно захотелось вот сейчас, сию минуту, рассказать о Лизе, о ее глазах, руках, голосе, о том заветном лете в Беликах, единственном лете их великой любви. Пускай эта парижанка никогда не видела белых мазанок и полынных степей, пускай она никогда не лежала на берегу маленькой зеленой речки Ворсклы,— она должна все это сейчас увидеть, вообразить себе, почувствовать.

Даня даже не подумал, что почти невозможно объяснить Николь историю Лизы. И очень трудно рассказать, как и почему появилась она в доме Гайда в Полтаве. Ему было важно сейчас одно: выговориться, все-все выложить этой длинноногой французской девочке с таким ждущим и тоскующим взглядом.

И он говорил, говорил... Николь шла ссутулясь, на ее лице все сильнее проступали скулы, все глубже западали глаза. Лиза?! Так ее зовут Лиза и она ей ровесница? Умная, добрая? Конечно, и умная и добрая, если ее полюбил Дени. Ах, Дени, Дени, так вот что́ в нем живет! Вот о чем он постоянно думает!

— И мы с ней так и не простились... И я давно-давно не знаю...— уже хрипло досказывал Даня.

Внезапно Николь крепко схватила его за рукав.

— Назад!

— Что?!

— Скорей идем назад! Надо успеть сказать Гюставу! Быстро!

— Что сказать?

— Смотри, не видишь, что ли: красный переплет!

Даня посмотрел туда, куда незаметно, одними глазами, указывала Николь. На откинутой крышке рундука, возле которого возился спиной к ним сгорбленный букинист, стоял на самом виду толстый том Дюма. Красный переплет его так и бил в глаза.

— Руже нас предупреждает: «Опасность. Не ходить к Арролю, он арестован»,— чуть слышно шепнула Николь.

14. У КОЛОН МАДЛЕН

Арроль. Товарищ Арроль, один из группы Гюстава, слесарь-лекальщик по профессии, смелый подпольщик, верный товарищ, арестован! Наверно, сейчас гестапо допрашивает его, наверно, уже пытает... Нет, Анри Арроль никого не выдаст, никого не назовет, он будет молчать до самой смерти, в этом уверены все подпольщики, все его друзья по Сопротивлению. Но как же он попался, кто и как его выследил?

Даня мучительно припоминал: был ли Павел в книжной лавке, когда Гюстав давал задание Николь и ему, когда оба они затверживали наизусть адрес Арроля? Был или не был? И вообще, о чем в последнее время говорилось при Павле?

Даню грызло подозрение. Он еще сам себе не хотел в нем признаться. Но, с тех пор как Павел свел знакомство с неизвестным, который назвался Семеном Куманьковым, в нем появилось что-то новое, и это новое — уклончивое, словно бы вороватое — враждебно настораживало Даню, заставляло его смотреть на товарища пристальнее обычного. «Арроля предали!» — это тотчас же сказали и Гюстав, и обе сестры Лавинь, срочно вызванные в кафе на маленькую площадь Тертр — центр парижских художников. В этом кафе, где царствовали немыслимые типы с волосами до плеч или густейшими бандитскими бородами, босые и неряшливые, но гордые тем, что они представляют собой цвет богемы, Гюстав занял столик в углу и заказал настоящий кофе и тартинки. Даня наблюдал за ним: невозмутимо спокоен, ровен в обращении, распорядителен. Вот как нужно владеть собой!

Зато Жермен с трудом делала вид, что занята тартинкой. В группе появился предатель, это ясно. Так неужто же все они — и Гюстав, и Дени, и Жан-Пьер — так безнадежно бездарны: не могут выяснить, кто провокатор! Конечно, в ближайшие дни следует ждать еще провалов, еще арестов. Возможно, под угрозой все они!

Кошечка Жермен показала свои коготки и острые зубки. Николь пробовала ее урезонить. Куда там! Жермен все больше и больше распалялась.

— Может быть, среди нас много предателей, может, каждый третий — шпик! Вы все потеряли всякую осто-

рожность, тащите к нам в группу случайных людей, доверяете всяким проходимцам!

Ее слова больно отозвались в Дане: не его ли это вина? Возможно, это он своей дурацкой клятвой подвел Арроля и может загубить еще множество людей. И вдруг это он покрывает преступление Пашки?

Гюстав положил свою широкую руку на руку Жермен, сказал твердо:

— Мы найдем предателя. Мы найдем его в самые ближайшие дни. Он от нас не спрячется. Дени, ты мне поможешь?— обратился он к Дане.

Тот молча наклонил голову. Что мог он сказать Гюставу?

В эту ночь и в следующие Даня почти не спал. Думал. Каждая ночь могла стать последней, каждая ночь могла принести беду. Порой он решал немедленно идти к Гюставу, все ему рассказать. Но наступало утро, и Даня снова начинал сомневаться, колебаться, откладывать...

А Павел как ни в чем не бывало встречался с Куманьковым, уже трижды ходил к нему на свидание и каждый раз возвращался все более восхищенный своим новым другом, его размахом, энергией, смелостью.

Он рассказывал Дане, что Куманьков и его люди собираются открыто выступить против гитлеровцев. Добывают винтовки, пистолеты, учат своих подпольщиков владеть оружием. И в Шербуре, и в Париже Куманьков, по его словам, сумел убедить многих власовцев присоединиться к нему.

— Семен Куманьков поручил мне придумать название для нашей с ним группы,— захлебывался от восторга Пашка.— Говорит, чтоб было боевое, советское название. Чтоб звучало, как горн.

— А что еще он тебе поручил?— спрашивал Даня.

Павел немного смущался.

— Да пока ничего особенного. У него, понимаешь, сейчас организационный период.

— Это он сам тебе сказал?

— Сам,— бурчал Пашка.

Со своим пистолетом Павел не расставался ни на минуту. Прятал его под курткой, а на ночь клал под подушку. Даже когда отправлялся на свидание с Куманьковым, брал с собой пистолет. Даня пытался ему втолковать: ходить по Парижу с оружием участнику

Сопротивления — огромный риск. Можно напороться на полицию; задержат, обыщут, как тогда Павел вывернется? Ведь носить при себе оружие запрещено под угрозой расстрела. Однако отговорить Пашку не удалось.

— Если бы у тебя был пистолет, ты тоже носил бы его постоянно при себе.— Он хитро усмехался.— Знаю я эти твои штучки: уговоришь оставить дома, а сам им завладеешь... Вон у тебя как глаза на мой пистолет разгорелись!

— Фу, дурак какой!— не выдерживал Даня.

Павел строил ему гримасы.

— Не получишь! Не получишь! И не мечтай!

Даня сказал ему об аресте Арроля. Павел вытаращил глаза.

— Арроль? Тоже наш подпольщик? А с кем он работал?

«Нет, не знает. Не его это работа,— думал Даня, пристально наблюдая за розовым и безмятежным Пашкиным лицом.— Не может он так притворяться. Не в его это характере. И все-таки надо проверить, убедиться окончательно».

Через несколько дней после исчезновения Арроля Даня и Келлер, пересчитывая только что отпечатанные листовки, недосчитались двух. Перерыли весь подвал, искали даже наверху, у Келлеров,— листовки точно сквозь землю провалились. Павел тоже принимал участие в поисках и, казалось, был так же удивлен и встревожен, как остальные. «Нет, нет, не он!— снова говорил себе Даня.— Не может быть, чтобы он так натурально держался. Не похоже это на Пашку». И, думая так, Даня вместе с тем чувствовал, как все глубже проникает в него подозрительность, как даже самые обычные слова Павла теперь заставляют его настораживаться, искать за ними скрытый смысл, тайную дурную цель. Это было ужасно, отвратительно, Даня словно медленно погружался в какую-то вязкую жижу. Посоветоваться с Гюставом, никого не называя по имени? Но Гюстав проницательный, он сейчас же все поймет. Келлер? Отличный мужик, но слишком уж простодушный. Андре? Он совсем еще мальчик, он просто не поймет. Тогда кто же?

И Даня твердо решил разобраться во всем сам, в одиночку. Он должен выяснить, кто такой Куманьков и почему так заинтересован в Пашке; чуть ли не через

день назначает ему свидания. Если Даня убедится, что Павел предает их всех, он сам, своими руками его накажет, сам будет творить суд «скорый и праведный», как любил говорить Сергей Данилович. Как он накажет, как будет судить бывшего товарища, если уверится, что Павел — предатель, Даня не додумывал, да если бы и стал додумывать, наверно, ничего не смог бы решить. Но в нем, удивляя его самого, росла злая, цепкая наблюдательность, неумолимая память на мелочи: про себя он регистрировал всякий вопрос Павла, его настроения, его поступки. Иногда ему казалось, что он вот-вот поймает Павла с поличным, иногда же, отбрасывая все подозрения, он укорял себя за то, что возводит на товарища напраслину. Даня мучился, но знал, что не простит, если Павел окажется провокатором.

Наконец он решил во что бы то ни стало увидеться с Куманьковым, выяснить, что это за человек.

Дня через четыре после пропажи листовок Павел пошел на очередное свидание с «трижды земляком». Келлерам было сказано, что Павел изучает Париж, и они посмеивались над «блондинчиком», уверяли, что изучает он не город, а какую-нибудь молоденькую продавщицу или подавальщицу в кафе,— уж очень у него довольный и торжественный вид, когда он возвращается.

На этот раз Павел вернулся позднее обычного и сразу отправился в подвал. Поманил за собой Даню.

— Куманьков просит нас прийти послезавтра к церкви Мадлен в пять часов. Хочет с тобой познакомиться.

— Вот как?

— Думаю, дело для нас нашел,— многозначительно сказал Павел.— Хочет поручить что-нибудь важное.

У Дани сильно, тяжело забилось сердце. Наконец! Наконец-то он все узнает!

— Что ж, пойдем,— хрипло выговорил он.

Павел заметно обрадовался.

— Ну и лады, ну и чудненько. А я, признаться, думал, что ты артачиться будешь, Данька. Ты же у нас интеллигент, тонкая штучка, голубых кровей. Не со всяким войдешь в упряжку, как говорится!

— Чепуха!— пробормотал Даня.— Вечно ты треплешься.

Два дня, оставшиеся до встречи, Даня провел в каком-то нервном внутреннем возбуждении. То ему казалось, что он не должен обращать внимания на клятву,

данную Павлу, а идти и все рассказать Гюставу или Келлеру, то он решал отправиться, никому не сказав и положившись только на собственное чутье. Наконец твердо постановил для самого себя: он пойдет на свидание немного позже Павла, один, и постарается сначала издали рассмотреть «трижды земляка», определить хотя бы приблизительно, как ему держаться с Куманьковым. Иногда такое впечатление со стороны может дать очень много.

Как можно непринужденнее он сказал Павлу:

— Вот досада, совсем из головы вон: Николь меня просила зайти в лавку как раз около четырех. Правда, оттуда совсем близко до Мадлен. Если буду опаздывать, поеду на метро. Сяду на Конкорд и приеду.

На самом деле Николь как раз просила его не приходить в ближайшие три дня: она и Жермен должны были съездить к тетке в Шартр.

— А не врешь?— насторожился Пашка.— Если заливаешь, лучше прямо скажи. Мы тебя неволить не станем.— Он подчеркнул слово «мы».

— Я тебя еще никогда не обманывал, Пашка. Слово даю — приду,— твердо сказал Даня.

Ровно в пять он был на площади у церкви Мадлен. Вышел из метро, поискал глазами Павла. А, вот он, стоит у самой колоннады Мадлен с коренастым человеком, одетым в полувоенный костюм. Темные усики над тонкой верхней губой, нос «картохой» — все сходится. Так вот он какой, Куманьков!

Дане было хорошо видно лицо Куманькова — грубое, рубленое, вовсе не приветливое. Он будто что-то выговаривал Пашке, а тот, сгорбившись, с самым несчастным видом слушал его, иногда пытался сказать что-то свое, может, оправдаться, но Куманьков сердито отмахивался, заставлял его замолчать. Даня хотел было подойти к ним, подойти именно для того, чтобы выручить Павла, помочь ему, но Куманьков вдруг крепко взял Павла под руку и повел его в сторону, к церковной ограде. «Как же? Куда же они? Ведь Куманьков сказал, что хочет видеть меня?» — удивился Даня и вдруг заметил, что двое рослых прохожих двинулись за Куманьковым и Павлом. «Слежка? Но за кем? — Даня задержал дыхание.— Выяснить! Сейчас же выяснить — за Павлом или за Куманьковым! А может, за обоими?»

Рядом был большой шляпный магазин с зеркальны-

ми витринами. Даня остановился, сделал вид, что разглядывает цены. В витрине отразились те двое, один сделал другому знак — указал на Пашку. Надо сказать Павлу!..

Даня почти бегом обогнул квартал, вернулся и снова увидел Павла с Куманьковым. Теперь они медленно шли навстречу, и Куманьков все так же крепко прижимал к себе руку Павла. Даня, ни минуты не раздумывая, пошел прямо на них, толкнул Павла плечом, бросил: «Уходи! Слежка!» Увидел, как вспыхнул Пашка, и поспешно свернул за угол. Рядом был подъезд. Он взбежал по лестнице на четвертый этаж, постоял, услышал глухие, быстрые удары собственного сердца, облизнул пересохшие губы. «Выйти посмотреть?» Он спустился, заглянул за угол — Куманьков продолжал стоять и разговаривать с Павлом. «Значит, померещилось,— с облегчением подумал Даня.— Надо подойти. Я же обещал Пашке».

Он решительно направился к ним. Павел увидел Даню, лицо его исказилось.

— Данька, беги! Преду...— крикнул он отчаянно.

В тот же миг сухо щелкнул выстрел. Последнее, что увидел Даня, была запрокинутая кудрявая голова Павла, которая стремительно приближалась к земле.

Ступеньки метро сами летели под ноги. Даня вскочил в отходящий поезд. Выскочил на следующей остановке. Что это? Площадь Конкорд? Кажется, да. Впрочем, Даня плохо знает линии метро. Знает только, что надо во что бы то ни стало запутать следы, избавиться от преследователей. Ведь он видел тех двух, рослых, они вбежали за ним в метро... Опять поезд. Вскочить! Так. Теперь пересесть у конечной станции на другую линию. Куда она идет? Э, неважно, лишь бы удалось отвязаться от «хвоста»! Пашка! Бедный, бедный Пашка! Как же он попался! Даня опять увидел перед собой запрокинутую кудрявую голову... Сморщился от жалости, от боли в сердце.

Пассажиры густой толпой двинулись к выходу. Где это он? Ага, вокзал. Орлеанский вокзал. Отлично, здесь легко затеряться в толпе. Оглянусь? Нет, еще рано. Они еще могут быть здесь. Оглянусь? Нет, надо с толпой выйти на перрон, там будет виднее. Ускорить шаг? Ох, как хочется не только ускорить — побежать. Нет, нельзя. Нельзя обращать на себя внимание. Успели они его рас-

смотреть? Может, не успели, бросились инстинктивно? Оглянусь? Да, теперь, кажется, можно.

Он оглянулся. Преследователей не было. Пожалуй, можно чуть передохнуть от этой безумной скачки по лестницам и переходам? Стоп! В конце прохода, у касс,— пять одетых в черное парней в беретах и гетрах. Попался! Даня шел прямо на них, и они его видели. Они остановили его, заставили поднять руки, чтобы удобнее было ощупать.

— Ваши документы, мсье.

Он предъявил фальшивое удостоверение. Глянули. Вернули.

Ледяная струйка покатилась по Даниной спине. Вот и перрон. Люди идут с детьми, со свертками. Никому нет дела до бледного юноши в старой спортивной куртке папы Келлера. Людям не видно, как прыгает у юноши сердце.

Внезапно Даню обдает жаром. Кровь кидается ему в лицо. Постой! Постой же! Что крикнул Пашка? Что он крикнул? «Преду...» — вот что он крикнул. Как же Даня смел это забыть? Предупредить товарищей — вот что велел ему Пашка! Предупредить, как можно скорее предупредить! Значит, он знал, что готовится что-то? Товарищам угрожает опасность! Надвигается беда! Скорее, скорее вернуться, предупредить Гюстава, Сергея, капитана, предупредить всех! Гюстав? Но где же его найти? Никто не знает, где он живет сегодня, где будет скрываться завтра. Даже сестры Лавинь не знают этого. О, как хорошо, что Николь и Жермен уехали! Теперь они не попадутся, их не найдут. А может, они не успели уехать? Может, их уже арестовали? А! Даня вспомнил: «Гюстав дал мне телефон, по которому его можно вызвать. Звонить только в случае ЧП. Вот оно, чрезвычайное происшествие! Звонить необходимо!»

Даня бормочет про себя номер телефона: «Ивр и — тридцать пять семьдесят восемь. Кажется, не перепутал».

Он забирается в стеклянную телефонную будку. В будке Даня виден со всех сторон. А вдруг все-таки следят? Однако выбора нет. Он набирает номер.

— Мадам Жерар?

— Да, это я. Что угодно, мсье?

— Я хотел бы срочно поговорить с вашим квартирантом, мсье Гюставом.

— Его нет, к сожалению.

— Благодарю, мадам Жерар!

Растерянный, он выскакивает из будки. Оглядывается. Никого. Что же все-таки делать? Ага, вспомнил: Келлер знает, где найти Гюстава. Скорее, скорее позвонить в лавку Келлерам. Опять та же будка. Телефон Жан-Пьера молчит, не отвечает. Даня бросает трубку. Значит, надо самому бежать домой!

Опять бешеный бег по станциям, по лестницам. Потом такой же бег по улицам, по шоссе... Под ногами серым блестящим транспортером бежит асфальт. Виль-дю-Буа... Ах, как еще далеко до Виль-дю-Буа! Даню обгоняют грузовики, полные немецких солдат. Солдаты орут песню. Гремят на другом грузовике бидоны. Бидоны с французским молоком для немецких солдат. Гремят бидоны. Гремит песня. Какая чепуха лезет в голову!

Пот заливает глаза, пот градом катится по спине, по лицу. Давит, душит ворот рубашки. К черту! Расстегнуть ворот. Уф, кажется, легче. Нет, не легче. Теперь давит куртка. Жаркая, тяжелая. Тяжестью наливаются ноги. Пуды навалились на сердце. Перед глазами прыгают дома, вывески, люди. Оглядываются прохожие? К черту! Растерзанный вид? К черту! Быстрее! Прибавить темп! Еще быстрее! Пылают перед глазами круги. Пылает красная бензиновая колонка на углу. Ба, кажется, это та самая колонка, от которой уже рукой подать до Виль-дю-Буа, до дома Келлеров! Милая колонка, прекрасная красная колонка. Красная, прекрасная. Добрый толстый папа Келлер, он знает, где найти Гюстава, как предупредить Гюстава. Он сейчас же побежит искать Гюстава, и Даня тоже побежит. Только вот не подвели бы ноги. А Фабьен такая внимательная, такая ласковая Фабьен! И Андре мировой парень. И Арлетт. Все они мировые. Ну, поднатужиться, ну, немного, ну, еще совсем немного...

Ломкий, дрожащий голосок:

— Дени! Погоди, Дени! Постой!..

Кто это? Кто тянет его за рукав, кто вытирает ему глаза и лоб? Маленькая фигурка в косынке, прикрывающей заплаканные глаза. Арлетт.

— Что ты? Что с тобой?

— Я жду тебя здесь... Я так давно жду...

— Что случилось, Арлетт?

— Забрали папу и Андре. Приехали в пять часов

и забрали. Все перерыли, все вверх дном. Взяли ротатор и приемник и еще нашли восковки. Маму заперли наверху, а я, я успела убежать.

— Так.— Даня устало понурился. Кончился его бег. Застопорили ноги. Застопорило сердце. Вдруг наступила тишина.

— Вторая машина подъехала к дому Греа,— доносился до него торопливый шепот Арлетт.— Как они забирали мсье Греа и Филиппа, я не видела, пряталась в это время за домом. Потом, когда они уехали, видела, что дверь у них отворена настежь и у самого порога какие-то бумажные клочки.

— Так.— Кажется, Дане вовек не выговорить что-нибудь, кроме этого «так».

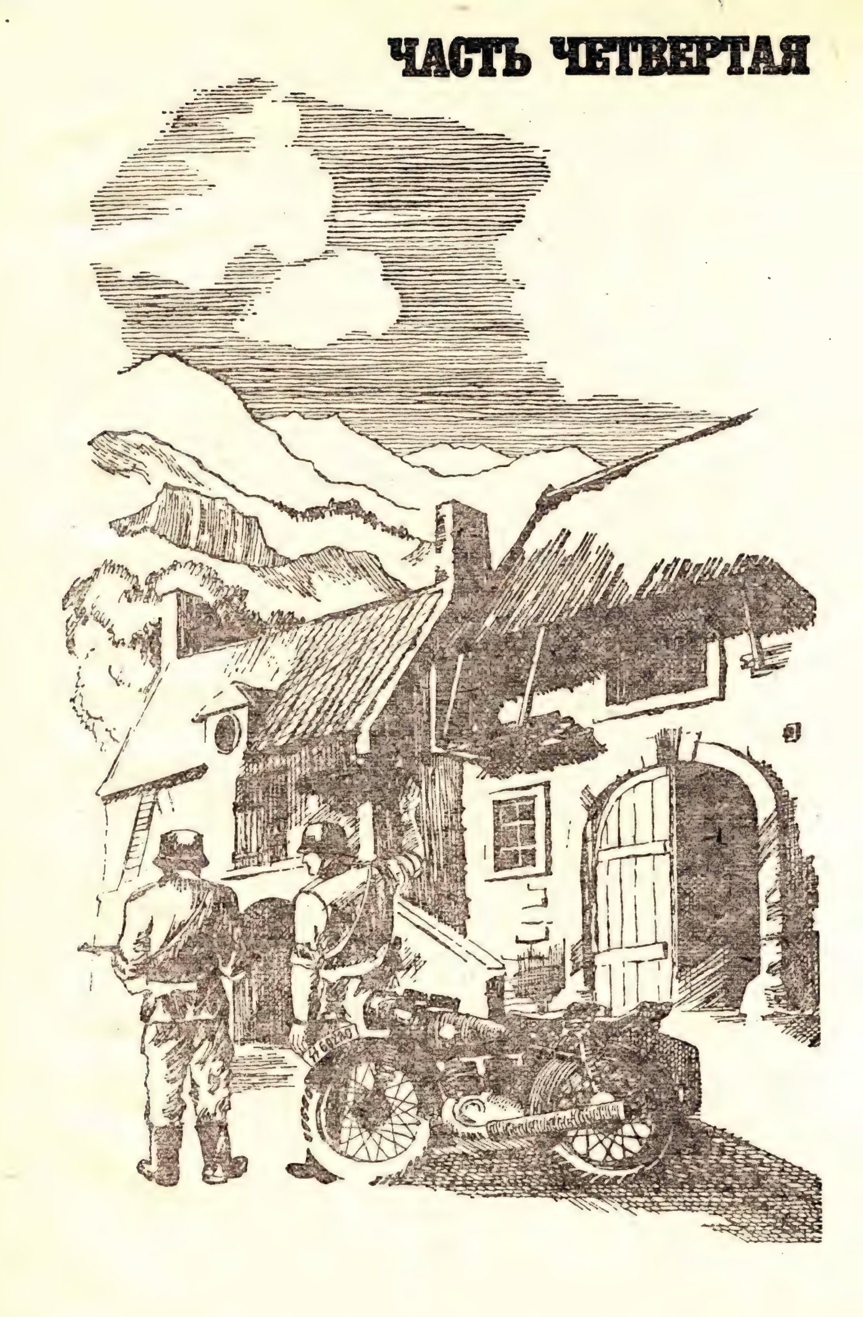
— Идем отсюда, Дени.— Отважная маленькая Арлетт смотрела на него так участливо! — К нам теперь больше нельзя, они, наверно, оставили в засаде своих шпиков. Ведь они спрашивали папу о вас, я слышала.

— Куда же идти?— разлепил наконец губы Даня.— Куда?

— Как — куда?— удивилась Арлетт.— К профессору Одрану, конечно. Гюстав всегда наказывал: если будет провал, тотчас к Одрану. У него самое надежное место.— Она оглянулась.— Только давай подождем Поля. Ему ведь тоже нельзя возвращаться к нам.

— Подождем Поля?— машинально повторил Даня.— Нет, не надо ждать Поля... Он... он больше не придет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



1. ИЗ БЛОКНОТА Д. ГАЙДА

Между прочим, сегодня день моего рождения. Восемнадцать лет. Прожита почти треть средней человеческой жизни. А событий, событий... Хватило бы, наверно, на три человеческих жизни. Решил отметить день рождения покупкой этого блокнота. Так сказать, подарок самому себе. На что он мне? Что я собираюсь в нем писать? Сам еще не очень знаю. Знаю только, что у каждого человека, наверное, есть потребность (не представляю, чтоб ее не было) хоть однажды повести этакий разговор с самим собой. Кто ты такой, что в тебе есть и чего нет и какие у тебя устремления. Тем более в такой «высокоторжественный» день. Почти совершеннолетие. Все это последнее время во мне — смерть П. Зачем, зачем я держался за эту, в общем, смешную, совершенно мальчишескую клятву? Если бы я вовремя сказал Г., может, ничего и не стряслось бы и П. был бы жив. Но Г. смотрит определеннее на это дело. Уверен, что наше вмешательство ничему не помогло бы, не смогло бы спасти П. «С тех самых пор, как твой дружок попал к ним в лапы, он был уже обречен. Ты что, не знаешь их методов? Используют человека в своих целях, а после сразу уничтожают, как ненужного свидетеля».

Не могу я судить П. как предателя. Г. сказал: бывают смерти высокие и низкие, смерти нужные и бессмысленные. Сам он считает, что П. погиб низко и бессмысленно. Не согласен. Совершенно категорически не согласен. Ведь в последнюю минуту П. увидел, что предал своих, ужаснулся и жизнью искупил свою вину. Значит, не было в его смерти низости и бессмыслия. Не могу я решать до такой степени безапелляционно.

В Париже, когда впервые я узнал Г., он показался мне идеалом, я ему старался во всем подражать — в походке, в словечках, даже берет носил, как он. Смешно? По-моему, вовсе не смешно. Я думаю, что у каждого в жизни должен существовать нравственный и даже физический идеал. Но особенно, конечно, нравственный. Эталон, по которому проверяешься сам и проверяешь других. Даже у ворюги Костьки в Полтаве был свой идеал — какой-то ловчила и фраер по кличке Дубонос,— мне тогда Костька много о нем рассказывал, восхищался.

Для Ан. эталоном был я, я это чувствовал, и мне это было, конечно, приятно. Для П. идеалом сразу, по одному только письму, стал Василь Порик. П. сам мне об

этом сказал. Может быть, не будь этого идеала, П. не пустился бы в такие приключения. Наверное, он думал, что это самый короткий путь к подвигам.

Казалось бы, самый высокий эталон для каждого советского человека — Ленин. Разве это не высочайший нравственный идеал? Конечно, да. Ленинская самоотверженность — ничего для себя, все для других, скромность, отвага,— все это до самого сердца доходит. Но обыкновенному парню вроде меня или мне подобных хоть и хочется быть таким, не может не хотеться, но сразу чувствуешь: не дотянусь, слишком светло, недоступно, вершина чистоты. Николай Островский уже ближе, доступнее, понятнее. Но нравственные его совершенства, все отличные качества его души, его воля, наверно, проистекали от борьбы с болезнью, от постоянной мысли — не сдаваться, все вынести, все перебороть. А если судьба ничего такого не уготовила и здоровья не лишила (вон какой бугай вымахал Данила!), тогда кого считать эталоном?

Уважаю Герцена за иронию, драчливость, громадный ум. Белинского — за честность, горячность, прямоту. Толстого — за великие принципы, за несгибаемость. Но все они все-таки не нашей эпохи, не нашей «выделки».

Значит, кто же? Давай, Данилка, в этом парижском блокноте честно сознаемся: восемнадцать лет существует твой нравственный идеал, и как установился сам собой в раннем детстве твоем, так и стоит незыблемо, и никто не смог тебе его заменить. И ведь вспомнить страшно, что было за последних три года! Война, оккупация Полтавы, облава, лагеря, немецкий военный завод, гестапо, штрафная команда, шахты, побег, Париж, Сопротивление... А идеал все тот же и все так же зовется Сергеем Данилычем Гайда.

Может, странно считать для себя нравственным мерилом собственного отца? Но вот так получилось: никого я не встречал лучше и более подходящего для такого мерила и ничего уже с этим не поделаешь.

Итак, папа...

Остается выяснить, какие черты или свойства я считаю обязательными для моего нравственного идеала.

«Чувство каменной горы». Это — наиважнейшее, и его-то я ощущал чисто животным образом с самого раннего детства: вот человек, на которого можно положиться, как на каменную гору. Все выстоит, ото всего защи-

тит, укроет, будет стоять прочно и твердо в любые бури и невзгоды. Наверно, в детстве очень важно вот так верить в человека, в его слово, в его силу физическую и нравственную. Детство давно миновало, а вера осталась.

Второе — гражданственность. Чтобы к делам своей страны, своего народа относиться как к собственным, даже горячее, злее, заинтересованнее, чем к собственным.

Был однажды спор между папой и Любой Шухаевой. Люба сказала, что она арендатор жизни, и арендатор кратковременный. Поэтому она и хочет взять от жизни все, что та может ей дать, и ничего не желает ни строить, ни оставлять после себя. Помню, как папа тогда разъярился. Сказал, что он-то настоящий владелец жизни, и владелец именно нашей жизни, в нашей стране. Поэтому и строит и растит людей, и все, что происходит у нас, его, как владельца, прямо касается, а такое мировоззрение, как у Любы, он считает глубоко враждебным, мещанским и мелким. Мама еле его утихомирила тогда.

Дальше пойдет чувство юмора. Это очень важный элемент. Помогает в любом случае жизни — и в обращении с людьми, и для собственного самочувствия, и для того, чтобы правильно оценивать события.

Мама иногда вдруг начинала наскакивать на папу, что-то ему выговаривать. А он, бывало, посмотрит на нее лукаво и вдруг скажет что-то до того смешное, милое и остроумное, так необидно подшутит над мамой-Дусей, что и сама она рассмеется, скажет: «Фу, Сергей, с тобой и поссориться невозможно».—«А ты и не ссорься»,— отвечает ей папа и опять пошутит, но легко, с таким тактом, что всем делается весело и приятно.

И конечно же благородство, доброта, внимательность к людям. Чего стоила ему одна история с Лизой, как уговаривали его отдать Лизу в детский дом, как убеждали, что она бросает тень на всю нашу семью. И всегда, во все минуты он показывал благородство, и доброту, и душевную стойкость удивительную. И потом эта его любовь к людям, любовь к жизни, умение каждый день прожить так, чтобы было чем его вспомнить... Как мне его не хватает! Как он нужен мне!

Кто-то идет сюда. Блокнот — в черный толстый том «Удивительных превращений анжуйской ведьмы-обольстительницы, именуемой Жанной д'Арвильи».

Надо еще записать первый день у О. С виду он точь-в-точь Анатоль Франс, которого помню по портретам. Остроконечная бородка, длинное тонкое лицо под черной шапочкой, иронический и мудрый глаз. При виде нас — ни малейшего удивления. И меня и Ар. он знал раньше, встречал в лавке у площади Этуаль. Тут же:

— Сию минуту будет горячий кофе. Для вас, дети мои, сейчас это главное. Рассказывать ваши беды будете потом.

И как угадал! После кофе все как-то пришло в норму. Выслушал Ар., потом меня. Задумался.

— Куманьков? Фамилия, верно, фальшивая, а насчет этого типа постараемся разузнать. Возможно, такой есть среди приближенных этого «генерала» Власова... Бедный блондинчик! Он и раньше показался мне слишком суетливым... Жалко тебе его? Конечно, жалко, я тебя понимаю, дружок. Только теперь надо держать ухо востро. Мы не знаем, кого еще назвал твой приятель. Во всяком случае, теперь вы у меня, а других мы постараемся предупредить. Г.? Но его сейчас нет в Париже, он, конечно, узнает обо всем, ему сообщат...

И все это тихо, спокойно и потому особенно веско. Ар. он сказал:

— Как это ни печально, девочка, думаю, что они увезли твоего папу и брата на улицу Соссе. Будут допрашивать, добиваться, чтоб они выдали всех членов группы.

Ар. закрыла глаза.

— На улицу Соссе? Значит, в гестапо? Будут добиваться пытками?!

О. утешал ее нежно, как женщина. Велел идти домой, потому что Ф., наверно, сильно тревожится.

— Сейчас позвоню твоей маме, скажу, что ты у меня.

Ар. замахала руками.

— Ни за что! Чтоб еще вы попались! Они, наверное, уже давно следят за нашим телефоном!

Когда она ушла, О. сказал с гордостью:

— Видишь, какие у нас дети! Вот маленькая девочка с большим сердцем!

У О. как будто тихий островок на набережной. Холостяцкая квартирка, заваленная с полу до потолка книгами. Психиатрия, общая медицина, история, философия, оккультные науки. В особом шкафу — книги о ведьмах

и колдунах, об инквизиции. Сам хозяин тоже, видно, колдун. Шлепанцы. Взгляд мудрый, ничему не удивляющийся, как у старого ворона. Сколько лет, непонятно. Может, сто, а может, пятьдесят. В этом тихом углу о войне не думается, она как будто далеко, не коснулась ни дома, ни книг, ни хозяина.

Все это одна видимость. Два брата хозяина — один физик, другой химик — расстреляны фашистами за изготовление бомб и взрывчатки для сопротивленцев. Оба были от другого отца и, к счастью, носили другую фамилию. Иначе и нашему не миновать бы расстрела. О. в Сопротивлении с сорок первого года. Почему?

— Терпеть не могу все формы угнетения — раз. Терпеть не могу этого Шикльгрубера за некультурность, манию величия, пренебрежение к людям — два. А три — я коммунист и, значит, честный человек, мой молодой друг.— Я разинул рот, а он смеется:— Разве друзья тебе не сказали? Через эту квартирку прошли и Г., и А., и ваши русские — Сергей и майор Т.,— и еще многие товарищи. Здесь еще удалось сохранить подобие спокойствия.

Вот тебе и колдун!

А впрочем, может, все-таки колдун? Связи у него самые обширные. Таинственные занятия, таинственные встречи. Это он узнал, что папашу К. держали вместе с Ан. сначала на улице Соссе, в гестапо, а потом, видимо, ничего от них не добились и отвезли обоих в тюрьму Роменвилль. Туда сажают самых отборных политических, вот и наши попали в эту высокую категорию. Жалко папашу К., жалко чудесного парня Ан., жалко Ар. и Ф. ...Ар. забегала раза два — бледная, видно измучилась ужасно, но держится молодцом. Они с матерью живут теперь в Иври, у кузины Ф. В лавке хозяйничает один коллаборационист, но жители Виль-дю-Буа объявили ему бойкот и ничего у него не покупают.

Бог весть по каким каналам профессор получил записку от Ж.-П.: «Пусть тов. не бесп. Ни я, ни сын — ни слова». Я прочитал — обожгло: смог бы я так держаться? Под ужасными пытками — ни слова?!

О. отобрал записку, посмотрел своим глазом ворона.

— Не надо, дружок, раньше времени мучить себя бесплодными вопросами. Придет час, придет и выдержка. Никто не рождается героем. Ими становятся по необходимости.

8 Заказ 1424

Все-таки не думать невозможно. Увидеть бы С. или майора! Ни они, ни Г. не появляются. По-моему, О. знает, где они. Молчать он умеет. Н. и Ж. все еще в Шартре. Их предупредили.

В книжную лавку пока никто не приходил. Возможно, за ней ведут слежку.

Блокнот по-прежнему в черном томе. Пусть ведьмы и колдуны тринадцатого столетия стоят на страже.

Большая политика. Появился Г. Худой, злой, возмущенный. Куда-то ездил, виделся с представителями французского штаба. Кажется, те прибыли из Лондона. Сообщил им, что́ проделали группы Сопротивления в Париже и в других департаментах. Заявил, что людям необходимы оружие, обмундирование, продовольствие, материальная помощь. Ведь здешние подпольщики сражаются с нацистами часто чуть ли не голыми руками, в то время как гитлеровцы располагают самой оснащенной армией в мире. Г. накормили одними обещаниями. Никогда не видел его в такой ярости.

Французские генералы, засевшие в Лондоне, вначале не верили, что Сопротивление — это серьезно. Не верили, что какие-то студенты, рабочие, мелкие служащие, машинистки и прочая братия могут всерьез бороться с такой армией, как армия Гитлера. А сейчас вдруг убедились в огромной силе народа и призадумались. Ведь они уверены, что в Сопротивлении одни коммунисты. А значит, если коммунисты победят, они установят во Франции такие же порядки, как в Советском Союзе, выберут свое правительство, возьмут власть в свои руки. И уж конечно отнимут у помещиков землю, уничтожат капиталистов, отдадут землю беднякам, да мало ли что еще вздумается этим коммунистам! Ну, тут и наступила заминка. Генералы увидели, что дело выходит рискованное: как помогать Сопротивлению? Вот они и принялись кормить нас обещаниями, а дать оружие не решаются.

Эх, все эти уловки — чепуха! Ничем уже вы, господа генералы, не сможете помешать победе Советского Союза и вообще победе над фашизмом! Почти каждый день — новости, и самые великолепные! О. слышал по лондонскому радио: освобождена почти вся Украина, кроме Киева, который скоро, конечно, тоже возьмут наши. А тут я сам услышал про Запорожье.

Дело было так. Г. предупредил, что в городе продолжаются аресты и чтоб я временно не выходил. Обещал, что скоро увижусь с С. и, наверно, получу задание. Я погрузился в ведьминские дела и процессы, но, видно, вся эта чертовщина не по мне. Среди разного хлама на кухне О. валялся старый приемничек, весь поломанный, с вывалившимися внутренностями. Спросил О., можно ли покопаться в нем, попробовать наладить. «Ну конечно, дружок. А ты разве в этом специалист?» Сказал, что когда-то в школе занимался в радиокружке. «Гм... гм... В радиокружке? Это может пригодиться, дружок. Немецкий знаешь?» — «Плоховато».— «Давай подзаймемся с тобой... Ты не против? Это тоже для дела».— «Если для дела — согласен».

Третий день читаю с профессором по-немецки. Нудное занятие, но я все равно привязан к дому на набережной. Единственная радость — приемничек. Я его наладил. Он разговаривает, как живой, и он-то мне и рассказал, что освобождено Запорожье!

О Куманькове сообщено товарищам в Шербур. Оказывается, он и там сумел кого-то обработать и проникнуть в одну из групп Сопротивления.

Г. сказал: теперь он не дал бы и оккупационную марку за жизнь Куманькова. Я спросил:

— Его убьют?

Он кивнул. А я очень ясно припомнил узкие темные усики, нос картофелиной и общее жесткое и тупое выражение лица. Бедный, бедный Пашка!

Мировое событие! В канун Октября освобожден Киев! Ура! Победа приближается стремительно. Мы скоро будем воевать уже в Германии. О. меня обнял — рад был не меньше меня. Отличный старик. У меня тоже великолепное настроение. Очень хотелось видеть наших, советских. И тут повезло: явились С. с майором. У них тоже радость — показали первый номер газеты ЦК советских пленных «Советский патриот». Размер — с двухстраничную листовку. Схватился за нее с жадностью. Некоторые новости были мне уже известны. Например, освобождение Смоленска, капитуляция фашистской Италии. Зато не знал, что в Москве прошла конференция министров ино-

странных дел Советского Союза, Великобритании и США. Много хроники о движении Сопротивления в оккупированных странах, много информации о том, как сражаются партизаны в маки́! Одна статья полоснула прямо по сердцу: «Мы помним свою красноармейскую присягу. Мы знаем, что Родина ждет всех, кто борется за нее. Смерть немецким захватчикам! С оружием — в лес, к французским партизанам!»

— Что, видно, взяло за живое? — сказал С. Он видел, как подействовали на меня эти слова.

— Взяло. Вы же знаете, что я туда просился и прошусь.

— Куда это «туда»? — Он посмеивался.

— В лес, в маки́, к партизанам. Вы обещали меня с ними свести. Вон и «Советский патриот» к этому призывает. Значит, считает это нужным для советских людей здесь, во Франции?

Он сделался серьезен.

— Ну правильно, ну твоя правда, Данило. Но мы с майором Т. решили пока пристроить тебя к одному нужному делу здесь. Ты нам можешь здорово помочь. О. говорил, что ты смекаешь по части радио. Сумеешь сладить с этой штукой?

Потянули меня в прихожую, показали нечто вроде ранца. Передатчик. Через связных передавать распоряжения и получать сведения сложно и долго. С большим трудом удалось достать радиопередатчик. Надо было срочно его наладить, чтобы передавать кодированный текст партизанскому руководству на севере и на юге. Сноситься, если понадобится, с Лондоном.

Ни С., ни майор с передатчиками дела не имели, знали очень приблизительно. Сообщили только, на каких частотах следует работать, когда именно. Передали О. код.

Стал копаться. Штука непростая. Еще в школе видел авиационный передатчик, но совсем другой конструкции. Вообще там, в школе, на разных радиоконкурсах это были игрушки, а тут — настоящее дело, всерьез. Мне прямо сказали, что от работы перед. многое зависит и во мне очень нуждаются и наши и маки́. Кодом со мной занимается О. Он и это, оказывается, знает. Вообще, видно, все на свете знает и понимает. Старик удивительный. Советует перетащить перед. в другое, более удаленное от города место.

Возможно, немцы нас запеленгуют, а тогда может про-

валиться удобная явка. С. жалеет. что нет автомобиля.

— Мы могли бы проводить сеансы в машине. Каждый раз в другом месте. Если бы передвигались, нас уже никто не смог бы накрыть.

О. усмехнулся.

— По-моему, дружок, вы недооцениваете радиоразведку бошей. Она поставлена у них очень недурно. Там работает один наш человечек, он меня как-то информировал. Им ничего не стоит обнаружить ваш автомобиль.

У доктора Д., того самого, который делал мне по просьбе О. операцию, есть, оказывается, нечто вроде балаганчика на берегу Сены, неподалеку от города. О., который дружит с Д., сообщил об этом. Они там проводили субботние вечера — удили рыбу, валялись на траве, читали.

— Это был наш вигвам,— сказал, посмеиваясь, профессор.— Ведь каждому человеку просто необходимо время от времени удаляться в такой вигвам.

Он точно подслушал мои мысли.

Словом, доктор сейчас где-то в провинции, а ключ от «вигвама» у О. Решили перебазироваться.

Темнеет рано. Осень. Кроме того, холод, дождь, немецкие дозорные. Понятно, прохожих очень мало. Одна опасность — патрули. Но и они предпочитают стоять под крышей, где потеплее. Шли с интервалом в пять минут. Впереди О. указывал дорогу. По берегам тянулись какие-то фабрики, склады, цистерны, вытащенные на сушу барки и лодки. «Вигвам» оказался крохотным сарайчиком с низким оконцем на реку и косоватой дверцей. В нем — две раскладушки, два одеяла, спиртовка, старый медный кофейник, две чашки с отбитыми ручками, сковородка и котелок. В углу — рыболовная снасть, рваные плащи. Пахнет нежилым, сыровато, но по-особому уютно. На самодельной полке оказались сигареты. Все им обрадовались — довоенный подарок. Проводка в сараюшке нормальная. С. и Т. торопили меня с сеансом. Вдруг, когда я уже совсем пристроился, оказалось, что нет кварцевых пластин. Без них передатчик — бросовая вещь. Все ужасно расстроились — срыв большого дела. О. обещал выяснить у человека из радиоразведки, нельзя ли достать пластины. Разошлись уже перед самым комендантским часом. Я попросился остаться. Мне вдруг, сам не знаю почему, очень понравился «вигвам». Лиза. ЛИЗА. ЛИ-ЗА.

Провалялся весь день на раскладушке. Рассматривал старые журналы с портретами довоенных кинозвезд. Интересно, где они все теперь? Может, тоже в Сопротивлении? Или прислуживают немцам?

Собачья погода. Дождь пополам со снегом, холодюга. Сквозь дощатую дверь дует ледяной ветер с реки. Что буду делать, если меня здесь застукают фрицы? Попасться с передатчиком в заброшенном сарайчике на Сене — верный расстрел. Даже допрашивать не нужно — все и так ясно. Ну что ж, на войне как на войне.

Или это только слова, а как дойдет до дела, окажусь обыкновенным трусом?

А как же мой «нравственный идеал»? Ну нет, он-то мне и не даст сдрейфить, это я чувствую, знаю. Лиза.

К вечеру, когда уже совсем стемнело, кто-то заскребся у двери. Была минута колебания. Потом встал, открыл. Стоит кто-то длинный, в темном монашеском плаще с капюшоном до самых глаз. В руке чемоданчик. Не успел вглядеться, как чемодан полетел в лужу, длинный набросился на меня. Заверещал, замахал руками.

— Дени! Дени! Жив! Боже мой, живой Дени!

Плащ — тоже в лужу. Растрепанная, задыхающаяся Н. Дрожит, заикается, ничего не понять. Дал воды — стучит зубами о чашку. Еле добился: им с сестрой рассказали страшную историю о двух русских, попавших в лапы провокаторов. Провокаторы использовали русских в своих целях, а потом пристрелили обоих на площади Мадлен. Словом, почти все правда, кроме двоих русских. Эх, Пашка!

Н. говорит, что обе они с ума сходили от горя. Сама-то она горевала, это правда, а Ж. приплела так, для маскировки. В общем, хорошая девчонка и товарищ. И отчаянная. Когда немного успокоилась, внесла чемодан, а в нем — кварцевые пластины. Откуда? О. дал знать сестрам. Тогда Н. просто выкрала пластины из какой-то радиомастерской, работающей на бошей. Стала как будто еще длиннее, лицо как ножик, а глаза тревожные, жалобные.

Пришел О. с термосом горячего кофе. Он всегда теперь ходит с термосом и отпаивает людей, которые в этом нуждаются. И как много таких людей, как много причин, от которых нужно приводить людей в себя, отпаивать

кофе! О. сразу принялся за Н.— видно, понял ее состояние. Но она не стала пить, ей прежде всего надо было услышать от меня, как было дело. Жалеет П., как и я. Кажется, только она да О. понимают, что нельзя так сразу строго судить П.

Ну, теперь, когда есть пластины, можно приниматься за работу.

Мне было сказано, что сеанс надо начинать в час ночи и заканчивать в двадцать минут второго. Частоты я знал, код тоже. Попробовал выйти в эфир. О. сидел рядом и иногда мне подсказывал. Волновался так же, как я. Стучал я, стучал... Сначала ничего не получалось. Я повторял свои позывные очень много раз. Никто не отзывался, или, вернее, эфир был полон звуков, тире и точек, но тех, кого мне было нужно, я поймать не мог.

Наконец вдруг раздался долгожданный писк морзянки. Наверное это мальчишество, но мы оба — О. и я — подпрыгнули от радости на наших сиденьях. Писк морзянки показался нам прекраснее и музыкальнее самой прекрасной арии. Отвечали те, которые были нам нужны.

И, пока мы «разговаривали» в эфире, мне все время казалось, что где-то в землянке, в лесу (обязательно в лесу и в землянке!), сидит смуглый спокойный командир и сам передает мне сведения об операциях своего отряда, очень смелых и успешных. Я воображал его статным, не очень молодым и почему-то непременно рябоватым, хотя ни разу еще не видел рябого француза. Так работала моя фантазия, и я ей не мешал. А вообще-то, когда я расшифровал радиограммы, оказалось, что ко мне за эти двадцать минут в эфире стеклась такая информация о действиях отрядов Сопротивления, что я просто обомлел. Какая сила! Кажется, все люди поднялись против гитлеровцев, и сейчас уже хорошо видно, как близка победа.

Ровно неделю провел в «вигваме». Днем спал, развлекаясь журналами или видом свинцово-серой туманной Сены с голыми, дрожащими от холода деревьями по берегам. Ночью же в мои руки попадали целые богатства: я передавал, и мне передавали, как горячо приходится фрицам, в какую тугую петлю они попали. Я расшифровывал: здесь — окружена рота бошей, там — не может вы-

браться из западни группа офицеров, сожжены и уничтожены восемь грузовиков, подорван состав с вооружением, забрали пулеметы, автоматы. Но иногда сведения были печальными. Погибли такие-то и такие-то. Они были героями, они умерли за родину. С. и майор заранее давали мне то, что я должен был передать: приказы, указания командования, планы будущих операций.

А на восьмой день к моему сараю подплыла лодка с мальчишкой-гребцом, и мальчишка голосом Н. сказал:

— Немедленно выкатывайся отсюда. Тебя запеленговали радиоразведывательные посты СС. Твою шарманку давай быстро в лодку, а сам шагай в город. Вечером увидимся у О.

— Откуда все это известно? — Я оторопел. Уж слишком все было хорошо налажено.

— Проф. тебе все объяснит. Сейчас не до разговоров.

О самосохранении и «шкурном» вопросе. Когда петлял по парижскому предместью, чтобы сбить со следа, если за мной все-таки слежка, услышал, как возле быстро кто-то сказал: «Если дорожишь своей шкурой, то...» Дальше я не слыхал — заговорили шепотом. Говорил тип в залихватской фуражке и галифе. Явно угрожал второму. Тот был маленький, жалкий, в обтрепанном пальтишке. Навела меня эта фраза на мысль: дорожу ли я своей шкурой? То есть дорожу ли настолько, чтобы ради шкуры пойти против убеждений, против чести?

Кажется, все-таки нет. Уже много было за эти три года «шкурных» моментов, мог бы сдать. Например, у следователя или при стрельбе в Париже. Вот сейчас тоже, когда нависла опасность... Смотрю на себя со стороны, даже интересно: «А что из всего этого выйдет?» Или: «Что со мной они сделают?» В общем, вполне сторонний подход.

Но можно ли на этом основании заключить, что храбрый. Кажется, нет. Скорее, отсутствие чего-то нормального в организме или в психологии — чувство самосохранения, или расчета, или просто равнодушие к собственной судьбе. Но ведь жизнь-то я люблю, люблю до страсти, люблю людей, траву, деревья, солнце, музыку, книги... Люблю кожей, умом, зрением — всеми пятью чувствами.

Интересно, что сказала бы обо всем этом Лиза. Лиза. ЛИЗА. Хочется без конца писать ее имя. Но довольно.

Общий совет у О. Решается судьба передатчика и моя. Я вроде как при нем. Ну, все равно! Г., С., майор и О.— все четверо согласились перебросить меня и передатчик в партизанский район южной зоны. В качестве сопровождающей (так полагается у подпольщиков) поедет Н. Она сама, оказывается, вызвалась ехать. Обстоятельство осложняющее. Не было бы его, прыгал бы до потолка. Иду в партизаны! Ура!

Поезд Париж — Тулуза через Бриё. Битком набитый вагон. Рядом с Н. чемодан, тоже битком набитый. Передатчик и три красивые аккуратные бомбочки, бог весть как раздобытые О. «Это наши подарки маки́»,— скромно сказал профессор, вручая все это нам в дорогу. Н. принаряжена, на мне — впервые за три года — приличный синий костюм, принесенный с улицы Лурмель. У обоих — художественно сфабрикованные документы. Блокнот тоже едет — очень привык к нему, скучаю, если день не удается что-то в него вписать. Решил: в случае тревоги выбрасываю в окно. Все записи по-русски, переводчика найти не так-то легко, да и кто будет интересоваться выброшенной потрепанной книжкой?

Н. наклоняется ко мне, снимает пушинки с костюма, что-то шепчет. Толстая француженка улыбается нам.

— Вы муж и жена или брат и сестра?

Меня просто кипятком обдало. Н., вся красная, отвечает:

— Дени мой брат, мадам.

Толстуха очень довольна.

— Ага, то-то вы оба так похожи. Не близнецы?

— Нет, мадам.

— А у моей сестры близняшки. Мальчик и девочка. Такие ангелочки — восторг! Зовут Анри и Анриетт.

Толстуха заводится надолго. Я не слушаю. Думаю о своем. Внезапно крики: в поезде кого-то выловили, кто-то спрыгивает на ходу. Вслед — три-четыре выстрела.

— Обход! Проверка документов!

— Боши! Боши!

— Господа, они обыскивают даже вещи. А если везешь продукты семье, это тоже запрещено?

— Неслыханно! Самоуправство!

Обход приближается с двух сторон. На площадках — солдаты с автоматами. Первая мысль — выпрыгнуть из вагона на ходу. Переглядываемся с Н. Невозможно. Взорвемся не мы одни. В поезде много детей. Остается ждать.

Вот он, «шкурный момент». Блокнот мой наготове. Как только покажется фашистская морда, вышвыриваю. Хочется написать напоследок лирич...

Даня не успел. Они показались неожиданно — двое с разных концов вагона. Два купе (в том числе Данино) были как раз посередке и последние в их осмотре. Оба немца молодые, лощеные, в форме СС. Возможно, разыскивали кого-то определенного. Всматриваются в лица. Долго оглядывают толстуху, хотя с первого взгляда ясно, что это добродетельная мать большого семейства. А может, маскировка? Во всяком случае, ее документ изучают долго. Потом — к Николь и Дане.

— Куда следуете?

— В Тулузу, к родственникам.

Они не спрашивают к кому, их это не интересует, но Даня торопится их предупредить. Немец бегло просматривает документы Николь и Дани и возвращает. Физиономия у него кислая. Видно, надоело рыскать по всему составу. Он спрашивает по-немецки второго:

— Вы уже осмотрели их вещи?

— Нет еще, господин лейтенант.

— Тогда приступайте.

Второму немцу тоже лень копаться во всех этих колбасах и домашних печеньях, которые французы везут в подарок оголодавшей родне. Он наугад ткнул пальцем в чемодан Николь. «Зачем, ах, зачем она поставила его на самом виду!» — тоскливо мелькнуло у Дани.

— Что у вас здесь, мадемуазель?

Даня прикинул: если прыгнуть на того, что пониже, можно сдавить ему глотку, возможно, даже придушить... Николь чарующе улыбнулась.

— Бомбы, мсье. Показать вам?

Лейтенант презрительно морщится.

— Неоригинально, мадемуазель. Придумайте что-нибудь поновее, а главное — поостроумнее. Уже трижды в этом поезде нам отвечали так же и показывали сыры. А еще говорят, что вы, французы, славитесь своим остроумием!

Лейтенант был так задет, что хотел уколоть эту долговязую француженку как можно больнее. Николь раздувает ноздри. Говорит вызывающе:

— Нет, вы все-таки заглянули бы в чемодан. А вдруг там и правда бомбы...

— Кушайте их на здоровье сами,— сухо отвечает лейтенант, и оба немца с достоинством покидают купе.

Даня, закусив губы, смотрит на Николь. «О, чертовка, нахалка, отчаянная голова, погоди, дай срок, я с тобой рассчитаюсь, клятву даю!» — грозят его глаза. Николь внезапно роняет голову на его плечо, хлюпает по-детски.

— Нервишки! — презрительно кидает Даня, но плеча не отнимает.

— Бедняжечка моя, не плачьте! Они ушли, эти животные, не плачьте же, милочка! — причитает над Николь толстуха.

2. БУДНИ МАКИ

— Девчонок в отряд не берем,— категорическим тоном сказал капитан Байяр.

— А я вовсе и не девчонка! — запальчиво возразила Николь.

— Кто же ты тогда?

— Подпольщица. Член парижской группы Сопротивления. Работала связной. Кроме того, в нашем книжном магазине была явка. Нас с сестрой знают во многих районах Парижа. Неужто Гюстав в том письме, что я вам привезла, не написал об этом? Тогда можете спросить вот его.— Николь ткнула пальцем в Даню.

Он поспешил ей на помощь.

— Это все правда, господин капитан. В Париже мы вместе работали в группе Гюстава. В книжной лавке сестер Лавинь мы все собирались как в штабе организации. А в последнее время Николь помогала нам в работе с радиопередатчиком. Она очень точная, исполнительная, на нее вполне можно положиться.

— Та-та-та! «Исполнительная», «точная», «можно положиться»! — передразнил его Байяр.— А история с бомбами в поезде, которую мне рассказали,— ее тоже сюда прикажешь приплюсовать?! Бравада, девчонство — вот как это называется! Настоящим подпольщикам это не к лицу! Впрочем, может, тебе это понравилось? — Байяр пронзительно глянул на Даню. Потом, заметив, что оба новичка понурились, вдруг смягчился.— Ну ладно, не будем про это, русский. Неплохо, что ты за нее так заступаешься. Значит, ты надежный друг. Вот что. Во-первых, я не господин, а товарищ. Старый друг Гюстава еще по заводу

«Ситроен» (я там монтажником работал). Во-вторых, можешь говорить мне «ты», как коммунист коммунисту, я ведь член партии еще с тысяча девятьсот тридцать шестого, с испанской войны. В-третьих, твою Николь мы пристроим к делу. Но не у нас, а в городе. Здесь мы живем в тяжелых условиях, занимаемся военной учебой, ей будет трудно, да и помочь она нам не сможет. А в Альби у меня есть дружок Риё — у него старая гостиничка «Святой Антоний» и при ней ресторан. Сам Риё уже давно в Сопротивлении и чем может помогает нашему отряду. Вот к этому святому Антонию мы и отправим твою Николь. Для чего? А вот для чего. У Риё часто останавливаются и столуются немецкие офицеры... Ты знаешь немецкий? — уже прямо обратился он к Николь.

— Достаточно, чтобы понимать,— буркнула она, все еще борясь с краской, залившей ей щеки, шею и даже уши. «Твоя Николь», да еще дважды! Как это вынести?!

— Отлично! Это нам и нужно. Будешь передавать нам, если услышишь что-то полезное. Риё уже несколько раз «наводил» нас на бошей, и очень удачно. Мы ему регулярно звоним по телефону, но телефону, сами понимаете, доверяться нельзя, даже если говоришь условным языком. А сам Риё хромой, ему до нас трудно добираться. Вот теперь и будет у нас молодая связная... Подойдет это тебе, подпольщица? — улыбаясь спросил Байяр.

Николь молча кивнула. Капитан по-своему объяснил ее молчаливость.

— Выдадим тебе велосипед, сможешь сюда ездить, навещать своего русского.

Николь опять вся вспыхнула. Даня отвернулся: ему как-то совестно было смотреть и на нее, и на доброго капитана.

Вообще кругом все было не то и не так, как воображал себе еще в шахте Даня. Как всякому очень молодому человеку, далекому от войны, партизанская жизнь, маки представлялись ему в некоей романтико-героической дымке.

Леса, шалаши, «лесные братья», много приключений, много отважных вылазок, много задушевных бесед ночью у костра. В общем, какая-то смесь пионерлагеря, пиратов и Майн Рида.

В действительности же все складывалось очень буднично. Подъем в шесть тридцать, умыванье ледяной водой, зарядка, долгие часы военного обучения, много тяжелой

физической работы, суровая дисциплина, которую ввел в отряде Байяр (сам он сражался еще в Испании в Интернациональном батальоне и считался опытным командиром).

Стояла зима, бесснежная, но с пронизывающей стужей, ледяными дождями, ранней темнотой. С мечтами о шалашах и кострах тоже приходилось проститься: отряд перешел на «зимние квартиры» — разместился в деревушке близ Лакона и в двух фермах, расположенных на Лаконских холмах. Костры же были строго-настрого запрещены: гитлеровцы уже обнаружили два или три отряда по дыму костров и партизаны потерпели большой урон. КП Байяра помещался на ферме папаши Грандье, человека мрачного на вид, неразговорчивого, но преданного Сопротивлению. Зато его жена, рыжая и веснушчатая, точно кукушкино яйцо, говорила, бранилась и спорила со всеми по крайней мере за троих. Это она, мамаша Грандье, прославилась однажды среди отрядов маки́ во всех трех секторах департамента.

Партизаны долго выслеживали крупную дичь — начальника гестапо из К. Выяснили, что он через день ездит на работу в местном полупустом поезде. Решили убить его, когда он совершает этот переезд. Тянули жребий, кому уничтожить гестаповца.

Вместе со всеми тянул жребий и папаша Грандье. И вдруг именно ему попалась бумажка с именем начальника гестапо.

На следующий день перед «операцией» папаша Грандье облачается в свой праздничный костюм.

— Куда? — кричит ему жена.— Ты зачем так вырядился? Хочешь изгадить приличный костюм кровью поганого боша?!

— Но послушай, жена, меня же могут схватить, повести на расстрел...

— Так зачем же тебе тогда новый костюм? Расстреляют и в старом. Подумаешь!..

Так и не дала мужу надеть новый костюм. Правда, «операция» сорвалась — гестаповца куда-то перевели и папаша Грандье остался цел и невредим,— но слава мамаши Грандье укрепилась надолго.

Все эти случаи, весь этот быт были очень далеки от Даниной книжной романтики. И вместе с тем это и было подлинной жизнью.

Маки́ жили на скудном пайке: не хватало хлеба, таба-

ка, мыла, носков (а носки для партизана — первое дело), а главное, не хватало оружия! Пулемет — один, пистолетов — пять, патронов — почти нет. Несколько охотничьих ружей да еще три парабеллума — и это на шестьдесят человек!

Бомбам профессора Одрана бурно обрадовались. Обеспечена целая операция! Зато передатчик был обречен на бездействие. Правда, Даню торжественно велено было назначить радистом отряда и отвести помещение для его аппаратуры, но все это было только на словах: по ночам в деревнях и на фермах выключали свет, а устроиться с передатчиком в одном из двух принадлежащих отряду грузовиков было тоже невозможно — аккумулятор не справился бы, свои же батареи были давно использованы.

«Гм... я вроде главнокомандующего без армии»,— подумал про себя Даня, когда выяснились все эти обстоятельства.

3. ТОВАРИЩИ

Николь в первый же вечер уехала с провожатым и запиской Байяра в Альби, к месту своей новой работы. А Даню командир поручил лучшему стрелку и квартирмейстеру отряда — Жюлю Охотнику. Жюль и вправду был охотником из местных. Своей худобой, мускулистостью, впалыми щеками он напоминал волка.

— Возьмешь новичка в обучение,— сказал ему командир.— Познакомь его с товарищами и помести где-нибудь со своими ребятами.

— Есть поместить с моими ребятами и обучить стрельбе! — Жюль обратился к Дане:— Небось пороху еще и не нюхал? Стрелять тоже не пробовал?

— Где же пробовать? — вопросом на вопрос отвечал Даня.— Был в лагере у бошей, потом бежал. А в Париже у нас тоже не было оружия. Но я добуду себе, непременно добуду в первом же бою!— горячо добавил Даня.

— Смотрите, какой прыткий! — усмехнулся Жюль.— Ты знай, парень: чтобы добыть оружие, надо прежде всего научиться с ним обращаться.

И он повел Даню во двор соседней фермы, где, несмотря на вечер, все партизаны были заняты какими-нибудь делами. Одни готовили ужин для отряда и в беле-

ной огромной кухне фермы варили в котле нечто вроде лукового супа; другие чистили при свете очага оружие; третьи помогали хозяевам фермы, старикам Бодруа, складывать привезенные из лесу бревна. Здесь были люди и совсем молодые, и пожилые, городские и деревенские, коммунисты, социалисты — парни, которые отказались ехать на работы в Германию и бежали в горы, студенты, примкнувшие к Сопротивлению, чтобы сражаться с врагом, «подозрительные» с точки зрения бошей, «независимые», не желавшие признавать никакие партии, но любившие свою родину и добивающиеся для нее свободы. У очага орудовал большой поварешкой старик, который, видимо, где-то уже хлебнул вина. Он громко пел под смех макиза́ров, которые работали в кухне или заглядывали в окна:

Коль умру я, схороните
В винном погребе меня,
У большущей старой бочки,
Полной доброго вина.
Возле бочки, да-да-да,
Полной доброго вина!

— Это дядюшка Вино́,— сказал, добродушно посмеиваясь над стариком, Жюль Охотник.— Ты не гляди, что он навеселе и что у него такое прозвище,— человек он деловой и храбрый, а кормит нас, когда даже ничего нет, кроме лука и хлеба, так, что пальчики оближешь. Он раньше был в Каркассоне поваром, и к нему ездили даже из Парижа есть утку по-каркассонски.

— Прозвище у него забавное,— пробормотал Даня.

— Э, прозвища у всех нас имеются. Тут ты найдешь и д'Артаньяна, и Портоса, и Гавроша, и даже Эсмеральду. Есть грек по прозванию Ишак, есть Парижанин, Дровосек, Солнышко, да мало ли еще разных прозвищ.— Жюль с видимым удовольствием посвящал новичка в жизнь маки́.

— Эй, Жюль, привел новенького? — окликнул его Вино.— Он как пришел к нам — со шпалером или без?

— Привез из Парижа тройку красивых бомбочек,— отвечал Жюль.— И еще одну штучку, которая нам сейчас пока не пригодится.

— О, бомбы — это вещь! — Вино подошел и протянул Дане котелок, полный горячего супу.— Ну-ка, попробуй партизанское варево. Или, может, оно тебе не по вкусу?

— Ах, дядюшка Вино, я такого вкусного еще в жизни

не едал!— сказал, обрадовавшись, Даня, который целый день ничего не ел.

Вино похлопал его по плечу.

— А новичок-то, видать, парень с понятием. Ты устрой его, Жюль, у Дюшенов, в деревне, там, где живут наши ребята. Хоть и не очень-то комфортабельно, это тебе не Париж, но хозяева — хорошие люди и охотно принимают наших. Сможешь устроиться у них на чердаке.

Жюль вдруг хитровато усмехнулся.

— Послушай, Дени, капитан сказал мне, что ты русский. Это правда?

— Правда,— кивнул Даня.— Я из Советского Союза.

— Твои земляки молодцы! — заявил дядюшка Вино.— Вот бы наши начальнички там, в Лондоне, брали с них пример. А то только и умеют, что разговаривать, а за них сражаются, побеждают бошей и погибают другие.

— Тебя ждет у нас такой сюрприз — закачаешься,— все так же хитро сказал Жюль. Он переглянулся со стариком.

— Закачаешься. Вот именно — закачаешься! — закивал Вино и радостно захихикал.

— Какой еще сюрприз? — пробормотал Даня, старательно выскребывая из котелка последки.— Как подпольщик, я, знаешь ли, не люблю сюрпризов.

— Этот придется тебе по нраву, можешь не сомневаться.— Жюль хлопнул его по плечу.— Ничего больше не спрашивай. Из меня ни слова не выудишь. Я ведь старый маки́. А теперь давай отправляться, уже совсем темно.

Они захватили на ферме Данин мешок с его несложным имуществом (там был и знаменитый блокнот), ранец с передатчиком и, уже в полной тьме, зашагали по раскисшей от дождей горной тропе.

Ранец оттягивал Данины плечи. Мокрые ветки черных кустов хлестали по лицу. Ветер студил то грудь, то спину. Слышался рокот невидимых потоков, ноги скользили по камням или разъезжались по глинистому склону. Жюль шел впереди, изредка подавая голос, чтобы Даня не сбился с дороги.

Так они шагали, не обмениваясь ни словом, около часу. Наконец под ногами почувствовалась твердая почва: шоссе или проселок. Как будто чуть посветлело, и где-то близко залаяли собаки.

— Пришли! — крикнул Охотник.

Они нырнули под деревья, прошли мимо какого-то амбара и очутились перед двухэтажным домом с высокой крышей. Охотник толкнул дверь, и сразу из холода, тьмы, ветра оба партизана вступили в уют большой деревенской кухни, где над не остывшим еще очагом исходил паром медный котелок. Большой фонарь освещал темный деревянный стол и сидящих за ним людей.

— Привет всей компании! — сказал громко Жюль.— Вот привел еще одного чердачного жильца. Не возражаете, матушка Дюшен?

— Давай, давай нам твоего малыша! — Из-за стола поднялась толстуха в клетчатом фартуке, с седой копной волос на голове; ее большое красное лицо выражало спокойное радушие. Матушка Дюшен была настоящей партизанской матерью. Детей у них с мужем не было, и всю свою деятельную доброту они отдавали совершенно чужим «малышам», «мальчикам». Починить или постирать одежду, подкормиться в лихие дни, провести несколько дней в покое на чердаке — все это партизаны получали у матушки Дюшен. Когда маќи уходили на операции, она места себе не находила от беспокойства: не попали бы в беду ее «малыши», не ранен ли кто из них, нет ли, не дай бог, убитых... Муж матушки Дюшен, тощий, маленький, похожий на подростка, во всем беспрекословно слушался ее. Несколько раз немцы таскали матушку в гестапо — были у них серьезные подозрения, что она помогает партизанам, укрывает их у себя,— но матушка Дюшен так бесстрашно и насмешливо вела себя на допросах, так мужественно переносила побои, так умела, по собственному выражению, «отбрёхиваться», что гитлеровцы, ничего не добившись, с угрозами прогоняли ее.

— Что ж вы стоите, мальчики? Садитесь за стол. Дюдюль, Ишá, снимайте котелок, похлебка уже сварилась,— командовала матушка Дюшен.

Только тут Даня заметил, что кроме хозяев в кухне находятся еще двое. Они притулились в углу, возле очага, но там лежала такая плотная тень, что глаз не сразу различал сидящих. Услышав приглашение матушки Дюшен, оба приблизились к столу. Один был коренаст, малого роста, с густыми черными бровями, сходящимися у переносицы. Внешностью он тотчас же выдавал свое восточное происхождение. Он и был греком, этот неизвестно как попавший на юг Франции маќи, сам выбравший себе такую кличку — Ишак. Впрочем, по-французски

она звучала лучше — Ишá. Его товарищ Дюдюль, чернявый, крупный, прятавший за очками выпуклые черные глаза, показался Дане французом-южанином.

— Ты откуда будешь, малыш? — обратилась к Дане матушка Дюшен.

Даня хотел было ответить, но Жюль Охотник поспешно его перебил:

— Сейчас все узнаете, матушка Дюшен. Сейчас будет такое... такое...— Охотник просто захлебывался от предвкушаемого удовольствия.— Дюдюль, иди сюда, посмотри внимательно на новичка! Что ты в нем замечаешь? Ничего? Ну ладно, тогда ты, Дени, погляди на Дюдюля. Разглядел его? Что ты о нем скажешь?

Даня пожал плечами. Что можно сказать? Партизан, как все партизаны,— в залатанных брюках цвета хаки и такой же рубашке. Чумазый, видно, близорукий. А что еще? Чего это Жюль чудит? Вся сцена начинала казаться ему глуповатой. К тому же отчаянно клонило в сон. Эх, поскорее бы добраться до чердака, залечь!..

А Жюль между тем держался торжественно, точь-в-точь мэр города.

— Подойдите оба сюда, пожмите друг другу руки, ребята. Момент великий, запомнится вам на всю жизнь. Вы земляки, друзья мои, оба русские, оба из Советского Союза...

— Русский?!

— Из Союза?!

Два восклицания раздались одновременно. Даня шагнул к Дюдюлю. По-новому смотрел он сейчас на черные блестящие глаза под очками, на улыбающееся лицо.

— Ты из каких русских? — уже по-русски, напрямик спросил Даня (может, рано еще он обрадовался?).

— Из обыкновенных, советских,— по-русски же ответил Дюдюль.— Я коммунист. А ты?

— Комсомолец. Ты откуда? Как сюда попал?

— Ленинградец. Студент-геолог из горного института. А попал, как все — драпал из лагеря. Да ты меня можешь Костей звать. Дюдюль — моя здешняя кличка.— Костя-Дюдюль изо всех сил тискал руку Дани.— Послушай, вот здорово, что мы здесь встретились! А ты кто, откуда?

— Полтавский. Из девятого класса. Немцы увезли на работы, и я тоже по твоей дорожке.— Теперь и Даня мог вполне отдаться своей радости. Встретить здесь,

в южной зоне, в партизанском отряде, своего — вот это удача!

А кругом стояли матушка Дюшен, ее муж, Ишá и Жюль — и все четверо, не понимая языка, глубоко, всем сердцем чувствовали и разделяли радость двух русских юношей, нашедших друг друга на чужбине, да еще в макú.

4. РЕМОНТ У МАТУШКИ ДЮШЕН

Гонг. Гонг.

Низкий медный голос заполнял чердак матушки Дюшен, звал, настораживал, заставлял надеяться, что сейчас, сию минуту, люди услышат что-то значительное, важное.

«Французы, с вами говорят французы!»

Лондонское радио!

В этот час вся Франция жадно слушала передачу. Это был единственный источник сведений о войне, сводок о продвижении на Восточном фронте, о «тайных» сражениях внутри Франции.

Но, как назло, именно сегодня шли обычные слова о патриотическом долге, о самопожертвовании...

Даня с досадой щелкнул по наушникам, а Ишá, лежавший на соломенном матраце у стены, чертыхнулся.

— А ну их к лешему, этих лондонцев! Опять все то же... А послать нам оружие, лекарства, одежду — на это их не хватает! Стоило вам, ребята, столько времени налаживать эту штуку, добывать новые батареи, чтобы потом слушать эти пустые слова! — раздраженно добавил он.

— Ты забываешь, что кроме обычной трепотни они передают шифрованные указания о парашютистах, о связях и прочем,— возразил Костя-Дюдюль.— Командир обязан все это знать. Он и приказал наладить передатчик. А мы выполняем приказ, мы солдаты.— Дюдюль хлопнул по плечу Даню.— Данило, несчастный, корпел, корпел, чтобы все организовать в наших бедняцких условиях.

— Ты тоже корпел не меньше,— отозвался Даня.— Мне-то проще, а вот тебе, Костя, пришлось переходить на новую специальность. Молодчина, справился неплохо!

— Знаешь, за войну пришлось столько специальностей освоить,— засмеялся Дюдюль.

У него была необыкновенно мягкая, привлекательная улыбка, а сейчас, когда он обращался к Дане, видно было,

как ему близок стал полтавский паренек и как он дорожит этой новой дружбой.

Ишá, наблюдавший за ними, сказал ворчливо:

— Не понимаю, чтó вы там болтаете, вижу только, что вы с Дюдюлем совсем стали неразлучны, водой не разольешь.

— Тебе не нравится наша дружба, Ишá? — Даня мельком глянул на грека.— Но мы же все трое отличные товарищи и все вместе дружим...

Ишá только усмехнулся в ответ. Да и Даня, говоря так, невольно лукавил перед самим собой. Костя-Дюдюль — мягкий, добрый ленинградец Костя — был ему намного ближе и милее резковатого, болтливого Ишá. И детство и отрочество у Дани и Кости было похожее. Оба они увлекались спортом, читали одни книги, смотрели одни и те же фильмы. Оба росли в интеллигентных семьях, оба жили интересами своей страны. И если Костя был несколькими годами старше Дани, прошел два курса горного института и страшную школу войны, то он никогда и ничем не давал это почувствовать своему младшему товарищу. И потом Костя был ленинградцем, как Лиза, он перед войной жил недалеко от Новой Голландии. Дружба с Костей была нужна Дане еще и потому, что он как будто приближался к Лизе, мог больше думать о ней.

Костя же (его фамилия была известна только командиру отряда) испытывал к Дане удивлявшее его самого чувство старшего брата. Ему хотелось быть рядом с Даней в минуту опасности, оберегать его, помогать. Ему нравился этот прямой, чистый мальчик, требовательный к себе, добрый к другим, нравились его горячность, его нетерпимость ко всякой фальши. А то, что школьник Даня знал и читал почти столько же, сколько он, студент, хорошо понимал искусство, тоже сближало, заставляло Костю еще больше дорожить их крепнущей дружбой.

Все трое (третьим был Ишá) они жили на чердаке матушки Дюшен. Все трое всякий день отправлялись на сборный пункт отряда и там проходили трудную науку партизанской войны. Ишá и Дюдюль считались уже опытными бойцами, а для Дани все было ново. Под руководством Жюля Охотника он учился владеть оружием, окапываться, ползать по-пластунски, стрелять из пулемета. Жюль уже несколько раз брал его с собой в разведку и хвалил командиру новичка за понятливость.

Зима была тяжелая и голодноватая. Крестьяне подкармливали партизан, но того, что они давали, для шестидесяти здоровых парней, занимающихся физическими упражнениями и боевыми операциями, было маловато. Раза три-четыре отряд Байяра удачно отбивал у бошей несколько машин с продовольствием. Ходили макѝ и к торговцам-коллаборационистам — реквизировать у них в наказание за работу с бошами табак и продовольствие. И все-таки всего этого было недостаточно, и партизаны с нетерпением ждали весны. Всем казалось, что с теплом придут какие-то перемены, что союзники непременно откроют второй фронт, что Лондон наконец пришлет оружие и все, что нужно партизанам для успешной борьбы.

Байяр приказал Дане во что бы то ни стало наладить рацию. И вот в один из ненастных вечеров на чердаке матушки Дюшен заговорил лондонский диктор.

«Французы, к вам обращаются французы!» — опять и опять повторял Лондон.

Даня сидел в наушниках, когда Дюдюль дернул его за рукав. На чердачной лестнице раздавались шаги. Кто-то тяжело подымался к трем друзьям. Это была матушка Дюшен. Рывком, не постучав, она распахнула дверь.

— Мальчики, только что в деревню прикатили боши на мотоциклах. Целый отряд. Остановились у церкви, совещаются. Видно, хотят остаться на ночь. Пришла вас предупредить.

Три партизана хватаются за автоматы. Костя смотрит на Даню: побледнел, но держится хорошо. Матушка Дюшен скатывается по лестнице вниз.

— Что будем делать? Пробиваться? — шепчет Даня.

— Трое против отряда? — Ишá пожимает плечами.

— Не пори горячку. Матушка Дюшен что-нибудь придумает,— тоже шепотом говорит Дюдюль.

Ишá хмуро проверяет затвор своего автомата. Опять те же шаги на лестнице. Матушка Дюшен — в дверях.

— Они остаются в деревне на ночь. Только не паниковать, ребятки. Постараемся их сюда не пустить.

— Удрать еще можно? — спрашивает Костя.

— Поздно. Они уже у дома.— Матушка Дюшен тычет пальцем в окно.— Но вы не тревожьтесь. Положитесь на меня.

Она уходит, и тотчас же на втором этаже, под чердаком, начинается беготня, шум передвигаемой мебели, звон ведер. В чердачное окно партизаны видят, как по дороге

идут фрицы-мотоциклисты в шлемах. Это эсэсовцы. Они приближаются к дому. В это мгновение опять приоткрывается дверь, и, перепачканная краской, с огромной кистью в руках, снова появляется матушка Дюшен.

— Что это?

— Как видите, у меня внизу ремонт,— невозмутимо отвечает матушка Дюшен.— Белю потолки, крашу полы — шагу не ступить, не то что расположиться на ночь...

Из-за плеча матушки Дюшен Даня заглядывает в комнату второго этажа. Там невообразимый кавардак: горами составлена мебель, на полу — лужи известки.

Даня с восторгом смотрит на старую женщину — придумать такое! И все это за несколько минут! Ай да матушка Дюшен!

А матушка Дюшен уже спешит вниз навстречу эсэсовцам. Разместиться на ночлег? Она разводит руками, весь ее вид выражает сожаление.

— Да, конечно, пожалуйста, но в доме ремонт. Вряд ли господам будет удобно. На втором этаже только что начали белить потолки...

«Господа» все же входят в дом, заглядывают на второй этаж: в самом деле, там не устроишься.

— Остаемся на первом,— решает усатый фельдфебель.— Смеркается, пора на отдых.

Матушка Дюшен закусывает губы: вот черт, она-то надеялась, что фрицы вообще не захотят остановиться в доме. Что ж, делать нечего, придется прислуживать немцам, чтоб они, чего доброго, не вздумали сновать по дому.

Эсэсовцы вынимают из ранцев провизию.

— Хозяйка, живо ужин! И давайте все, что́ у вас есть: молоко, вино, сыр!

Наверх, на чердак, начинают доноситься вкусные запахи жареной колбасы, лука, оладий. Три партизана глотают слюнки: как давно они не пробовали колбасы и оладий! Внезапно чердачная дверка приоткрывается. Партизаны отскакивают в угол, наводят на дверь автоматы.

— Тише, малыши, не подстрелите свою матушку,— И матушка Дюшен просовывает сквозь щель несколько основательных бутербродов с немецкой колбасой.

— Это я понимаю! Поставила нас на немецкое довольствие! — Иша́ с восторгом вонзает зубы в бутерброд.— После такой жратвы мне сам черт не страшен!

Внизу между тем эсэсовцы требовали то того, то другого. Матушка Дюшен жарила, варила, наливала вино, что-то рассказывала фрицам, то спускалась в подвал за молоком, то бежала наверх якобы за платяной щеткой, а в это время успевала передать что-нибудь поесть своим трем «малышам».

Один из солдат наблюдал за ней некоторое время, потом вдруг сказал сквозь зубы:

— Мне эта старуха подозрительна, господа. Уж очень она суетится. Здесь, мне говорили, район неблагополучный в смысле партизан. Уж не прячет ли она у себя этих бандитов!

Он подозвал к себе матушку Дюшен:

— Послушайте, хозяйка, у вас в доме нет никого постороннего? Только вы и ваш муж? А партизан вы не прячете?

— Вы что! Чтоб я пустила в дом таких головорезов!— Матушка Дюшен искренне возмутилась.— Дева Мария, да они мне весь дом спалят!

— Все-таки пойду проверю,— поднялся фриц.

Матушка Дюшен спрятала руки под фартук: ну, сейчас начнется...

Однако второй солдат сказал ворчливо:

— Ложись-ка ты спать, Вернер. Всюду тебе партизаны мерещатся. Накличешь их еще, сам же будешь не рад...

И Вернер, подумав секунду, улегся на подстеленную шинель.

Наступила глубокая ночь. В доме спали десять фашистских солдат. Зато три партизана на чердаке не смыкали глаз. Что делать? Как выбраться из западни?

На этот раз матушка Дюшен появилась тихо, как тень.

— Пожалуй, лучше вам отсюда уходить. Один фриц мне очень не понравился. Впрочем, я ему тоже. В общем, я уже проверила: часовые расставлены только вдоль улицы, а на задах, в стороне огородов, фрицы постов не выставляли.

Она оглядела своих «малышей».

— Берите ваши автоматы, спускайтесь на второй этаж. Боковой дверкой пройдете на сеновал, оттуда спрыгнете в сарай. Из сарая выберетесь на огород, а там уж и поле недалеко! Ну, малыши, желаю удачи! Не забывайте вашу матушку!

Нет, они не забыли матушку Дюшен, храбрую французскую женщину, которая в ту ночь спасла им жизнь.

5. НА ЛЕТНИХ КВАРТИРАХ

Едва повеяло весной, командир Байяр приказал отряду перебазироваться на летние квартиры. Зимними операциями своего отряда командир был не удовлетворен: несколько захваченных вражеских машин, разгромленный взвод мотоциклистов, один подорванный железнодорожный состав, отбитая немецкая атака — разве это настоящий успех для маки́!

Урон немцам нанесен незначительный, да и практики у новичков отряда явно недостаточно. С другой стороны, попробуй зимой собрать по тревоге шестьдесят восемь (к зиме их было уже шестьдесят восемь) партизан, размещенных в деревне, на риге и на двух фермах! Нет, пора разбить настоящий лагерь, закрепиться в лесу, выставить караульные посты, вести постоянные занятия с бойцами!

«Летние квартиры», куда перебирались маки́,— это были тщательно, со всех сторон обследованные разведчиками и командованием леса Ла Грезинь, не очень глухие, вовсе не обширные, но достаточные для того, чтобы в них мог укрыться лагерь франтиреров со всем своим имуществом, двумя грузовиками и легковой машиной, отбитой у немецких штабных.

Посланные разведчики донесли, что дорога свободна. Безлунной мартовской ночью партизаны в последний раз собрались у фермы Грандье — КП Байяра. Недолгие сборы (какое имущество у маки́!), и в путь на грузовиках без огней по темным проселочным дорогам.

В Ла Грезинь до войны приезжали охотиться местная аристократия и богатые туристы. В лесах еще водились кабаны, лисы, зайцы и множество дичи. Сейчас твердый, похожий на слюду снег еще лежал по оврагам и северным склонам, но в самом лесу было уже сухо, нога утопала в прошлогодней листве, и на кустах слабо мерцали какие-то пушистые помпоны, или вдруг мягко трогали щеку побеги, похожие на мохнатых гусениц. Тото, шофер командира, хорошо знал местные дороги и без аварий и поломок довел до места машины, людей и вооружение. Ед-

ва приехав ночью, принялись разбивать лагерь. Палаток мало, а приказ — размещаться по четыре человека. Четвертым Костя, Ишá и Даня взяли очень молодого парня по прозвищу д'Артаньян. Рыжий, курносый и насмешливый, он представился друзьям как «потомственный бродяга, а по убеждениям — коммунист». О себе сказал кратко, что был недолгое время военным курсантом, а потом по собственному разумению охотился за немцами: выслеживал поодиночке, накидывал на них нечто вроде ковбойского лассо и уничтожал.

— Кино — великий фактор прогресса,— объяснил он, посмеиваясь.— Именно кино и научило меня таким вот номерам с лассо. Ничего, получается.

— Что ж, ты и у нас в отряде пользовался таким ковбойским приемом? — спросил его Даня.

Д'Артаньян кивнул.

— Только, чур, ребята, меня не выдавать. Еще не уверен, как посмотрит на это командир.

Трое партизан промолчали. Кажется, не очень поверили д'Артаньяну. Заливает парень, рисуется, работает под американского ковбоя.

Однако в лесу д'Артаньян оказался умелым и сообразительным товарищем. Первым высмотрел в темноте удобное и сухое местечко для шалаша под двумя старыми дубами, ловко орудовал топором, вместе с Костей поставил остов шалаша из молоденьких деревьев и показал друзьям, как его оплетать ветками. Словом, когда другие макѝзары только еще ставили палатки или искали места для шалашей, наша четверка давно уже оборудовала свой просторный и удобный «дом» и теперь помогала выгружать из машины имущество отряда. Жюль и Костя валили деревья, устраивали пулеметные гнезда и заграждения.

И вот наконец жизнь, о которой мечтал Даня: лес, партизаны, целый городок в лесу; КП капитана тоже шалаш, только побольше. Байяр приказал выставить посты охранения. Часовым выдавались дежурный автомат и свисток на случай тревоги. Одним из первых был назначен в караул Даня. Он навсегда запомнил эту ночь в лесу, пахнущую снежком, с бормотанием ручья в распадке и еле заметным свечением еще далекой зари. Много ему думалось в эту ночь, многое вспоминалось. И когда сладко зевающий, еще не совсем проснувшийся Вино явился его сменить, Даня даже с некоторым сожалением усту-

пил ему место и передал автомат и свисток. Неделя прошла в ежедневных строевых занятиях. О немцах не было слышно, макизары начинали уже ворчать: «Вот завел командир в дебри, боши сюда, конечно, не сунутся. Так и будем отлеживаться в шалашах, нагуливать жирок».

Однажды днем возвратился с поста Ишá. Зашел в шалаш, сказал позевывая:

— Только что пропустил твою Цаплю, Русский. Прибыла на велосипеде из города. Потребовала, чтоб ее провели прямехонько к командиру. Видел бы ты ее: ни на кого не глядит, нос задран кверху, точно взяла в плен самого Гитлера.

Даня был удивлен, даже немножко раздосадован: Николь здесь, в лагере? Значит, ей уже сообщили, что они в Ла Грезинь? Но тогда почему она отправилась к Байяру, а не сюда к нему? (Даня даже самому себе не желал признаваться, зачем так часто ездила из Альби в дом Дюшенов Николь. Впрочем, это было ясно всем, даже матушке Дюшен, которой очень полюбилась длинноногая Цапля).

— Она ничего не передавала? — спросил он Ишá.

— Ни словечка. Наверно, сменила тебя на Байяра. Все-таки командир, а не какой-то там простой макú,— поддел его Ишá.

В этот день Дане предстояло удивиться еще больше: зайдя часа через три по какому-то делу на КП, он узнал, что Николь уехала, так и не повидавшись с ним. Что такое? Обиделась на него за что-то?

Он добросовестно старался припомнить, что происходило и что говорилось в последнюю их встречу у Дюшенов, но так и не смог вспомнить ничего обидного для Николь. А может, ей просто надоело работать официанткой в ресторане «Святой Антоний»? Ведь Даня даже не спрашивал ее никогда, не тяготит ли ее эта работа, не устает ли она играть добровольно взятую на себя роль. Не спрашивал — может, в этом все дело? Какой же он недотепа и тупица!

Даня еще долго и с удовольствием честил бы себя за тупость, если бы его вместе с Дюдюль, Ишá и д'Артаньяном не вызвали на командный пункт.

У КП уже собралось человек двадцать партизан. Капитан Байяр и его заместитель лейтенант Лидор вышли из шалаша. У обоих был озабоченный и вместе с тем торжественный вид.

— Сегодня днем наша связная в Альби сообщила очень важное известие,— начал командир.— В старую городскую тюрьму привезли двадцать пять политических — участников Сопротивления. Все двадцать пять приговорены к смерти. Расстрелять их должны в самые ближайшие дни...

— Освободить! — рявкает, не дождавшись окончания речи, Жюль Охотник.— Вызволить! Мы их освободим!

— Освободить! — кричат Даня, Иша́, Дюдюль, д'Артаньян.

— Вызволить! Освободить! К черту решетки! Штурмуем тюрьму! — надрываются партизаны.

Байяр знаком приказывает замолчать. В наступившей тишине разносится его хрипловатый бас:

— Командование вполне согласно с вами, товарищи. Командование решило попытаться освободить узников. Однако еще нет разработанного плана. Между тем надо торопиться, остались буквально считанные часы. Наши разведчики тотчас же отправятся в Альби, выяснят обстановку. Будем действовать в зависимости от их донесений. Операцию назначаем на ближайшую ночь. О часе оповестим дополнительно.

— Браво-о! — не выдерживают партизаны и машут шапками, пилотками, беретами.

Вот оно, настоящее дело!

— Кто из вас знает хоть немного немецкий? — вызывает Байяр.

Вперед выходят Дюдюль, Даня, Охотник.

— А ругаться по-немецки умеете?

Дюдюль усмехается.

— Это сколько угодно. В немецких лагерях стража поносила нас с утра до вечера самыми последними словами.

— Уж это верно. Научились,— подтверждает Охотник.

Даня только кивает.

Байяр что-то отмечает у себя в блокноте, показывает своему заместителю, молодому Лидору.

— Правильно. Именно троих.

Лидор командует:

— Здесь остаются Охотник, Дюдюль и Русский. Остальные до вечера свободны. Всем проверить оружие, шоферам — состояние машин!

6. ВЕСЬ РОЗОВЫЙ АЛЬБИ

Велосипеды они оставили у въезда в город. Спрятали в придорожной канаве.

— Идти поодиночке. Стараться не терять друг друга из виду,— распоряжался Дюдюль, хорошо знавший город.— Дени идет к «Святому Антонию», узнает у Николь новости, а мы с Охотником покрутимся возле тюрьмы.— Он пощупал карман.— Эх, растяпа я, не захватил ни бумаги, ни карандаша! А ведь как было бы важно зарисовать тюрьму и все подходы к ней!

У Дени была секунда колебания. Потом он вынул из внутреннего кармана куртки блокнот. Тот самый. Протянул его Косте.

— Там и карандаш. На первых страницах кое-что нацарапано, ты не обращай внимания. Там еще много чистых листков. Словом, рисуй что надо.

— Важное что-нибудь писал? — мельком осведомился Дюдюль.

— Нет. Ничего особенного. Пустяки.

И блокнот перекочевал в Костин карман.

— Встретимся через два часа у памятника Лаперузу. Там тихий сквер и никого не бывает в эти часы.

«Нет, Костя не будет читать, даже не заглянет, он не таковский»,— уговаривает себя Даня, шагая по тихим узким улочкам городка.

Но что-то беспокойно ворочалось и скребло внутри, и минутами Дане казалось, что он предал самого себя.

В этот послеобеденный час, под нежным весенним солнцем, Альби был весь розовый. Розовела колокольня мощного древнего собора Святой Цецилии, розовел средневековый мост через Тарн, и даже быстрые змеистые струйки в реке тоже отблескивали розовым.

На маленькие площади выходили кирпичные и деревянные дома шестнадцатого столетия, на каштанах набухали почки, и все кругом было на редкость мирным и безмятежным. Не хотелось верить, что этот розовый городок окружают полторы тысячи немцев, что охраняются все мосты и дороги и немецкие патрули ходят по древним улочкам. Свирепствуют убийцы-гитлеровцы, расстреливают, арестовывают патриотов, и розовая тюрьма-крепость не памятник средневековья, а место жестоких пыток и уничтожения.

Редкие прохожие, старомодные и провинциальные,

окидывали Даню любопытными взглядами. Сейчас, кроме бошей, в Альби не было приезжих, все жители хорошо знали друг друга, и незнакомец невольно привлекал внимание. По виду Даня ничем не отличался от простого ремесленника — недаром д'Артаньян одолжил ему свои вельветовые брюки. И все-таки он торопился поскорее добраться до «Святого Антония».

Наверно, Николь поджидала посланных из отряда. Едва Даня успел спросить хромого господина Риё о «племяннице», как она выскочила ему навстречу.

— Ты? А я думала, приедет сам Байяр. Впрочем, это даже лучше.

Она потащила его в дальний конец гостиничного коридора.

— В этих номерах у нас живут гестаповцы, но сейчас никого нет. Наверно, все ушли на допросы. Слушай, это ужасно, они все палачи! — Она всплеснула руками, прикрыла лицо. Потом опомнилась.— Это потом. Важно, что они многое выболтали, и я услышала. Времени у нас в обрез. Все нужно провернуть не позже сегодняшней ночи, понимаешь? На рассвете всех этих несчастных должны расстрелять. Мне удалось через Риё познакомиться с одним тюремщиком, его зовут Равак, и он сочувствует Сопротивлению. Однако он не уверен, будет ли дежурить именно сегодня ночью. На всякий случай он дал мне запасной ключ от камеры второго этажа и сообщил заключенным, что макизары придут их освобождать. Политические занимают ту камеру, которая выходит окном на дворец Берби. Вот план, который он мне нарисовал. Правда, тут все очень схематично. Надо бы подробнее...

Николь лихорадочно сует Дане бумажку. Кажется, и в самом деле у нее лихорадка. Бледна до синевы, прыгающие губы.

— Сейчас же ступай во дворец Берби. Там музей Тулуз-Лотрека, здешнего уроженца. Из окон музея тюрьма как на ладони. Виден даже внутренний двор. Если будешь что-то зарисовывать в музее, это никого не удивит. Тулуз-Лотрек — знаменитый на весь мир художник. Слышал о таком? Знаешь? Ну, да ведь ты образованный, все на свете знаешь,— насмешливо вставила Николь.

— У меня, видишь ли, нет ни карандаша, ни бумаги,— смущенно признался Даня.— Если бы ты могла...

— Вот так образованный — без карандаша и бума-

ги! — опять поддела его Николь, но тут же принесла то, что он просил.

— Ночью, конечно, увидимся,— решительно сказала она.— Правда, Риё ни за что не хочет меня отпускать. Говорит, это риск, в случае неудачи я завалю и себя и его. Но я непременно убегу. А теперь ступай.

...Бородатый карла, большеголовый и коротконогий, стоял на портрете вполоборота и смотрел через пенсне иронически и проницательно. Тулуз-Лотрек. Художник, прославленный на весь мир. Художник острый, искристый, порой беспощадный. Дане нужно как можно скорее зарисовать старинный фасад тюрьмы, видный из окон дворца Берби, кусок пустого двора, караульную будку у внутреннего входа, хорошо просматривающиеся из музея, часовых снаружи и у дверей тюрьмы. Но как не взглянуть на лошадей Тулуз-Лотрека, похожих на куртизанок, и куртизанок, похожих на породистых лошадей? И на портрет рыжей певицы Иветт Гильбер, приятельницы художника, много раз повторенный Тулуз-Лотреком.

«Папа был прав: удивительный, пронзающий художник».

Пора было вернуться к окнам. Вон там, позади замшелой старой стены,— камера смертников. Окошко смотрит сюда, на дворец. Значит, если войти через внутреннюю дверь, надо подняться на второй этаж и повернуть направо...

В залах музея не было ни души. Даже сторож куда-то отлучился. Даня спокойно докончил набросок тюрьмы. Глаза его увидели часы на колокольне Святой Цецилии. До встречи у памятника Лаперузу оставалось пять минут.

7. В ПОЛНОЧЬ

В темном, тихом городе прозвучало двенадцать ударов. Полночь. У ворот тюрьмы только что сменился караул. Едва разводящий и часовые скрылись за поворотом улицы, к тюрьме подъехал грузовик. Из кабины вышли высокий немецкий офицер в форме СС и солдат-шофер. Толчками и бранью они подняли двух лежащих в кузове растерзанных и, видимо, сильно избитых парней, вытащили их и поволокли к воротам.

— Что ж вы стоите как столбы?! — набросился офи-

цер на часовых.— Открывайте скорее, не видите, что ли, мы привезли этих бандитов партизан! Ленивые вы свиньи, пригрелись тут! Пошевелиться им уже лень! Одни рискуют жизнью, не спят ночей, вылавливают врагов великого рейха, а другие, скоты этакие, отсиживаются в теплых местечках! Отправить вас всех на Восточный фронт, сразу поймете, что́ к чему!

Шофер тоже добавил крепкие слова.

Часовые испуганно смотрели на разбушевавшегося офицера и не двигались с места. Офицер окончательно рассвирепел:

— Вы что, оглохли? Долго мы здесь будем стоять, остолопы? Ганс, что мне делать с этими идиотами? Сию же минуту откройте ворота и вызовите начальника тюрьмы. Надо этих типов отправить как можно скорее под замок, понятно?

— Начальника нет, господин офицер,— со страхом пробормотал наконец один из часовых.— Он должен прибыть на рассвете с другими господами офицерами.

— На рассвете?! И ты думаешь, мы будем тут стоять и дожидаться его до рассвета? Значит, он уезжает на всю ночь, ваш комендант? Отлично! Все это будет известно командованию! А сейчас — открывайте ворота!

Часовые не посмели ослушаться: уж если самому начальнику тюрьмы достается, значит, этот эсэсовец большая шишка.

Ворота распахнулись, и два партизана под конвоем эсэсовца и его шофера вошли в тюремный двор. Лампочка у караульной будки осветила физиономии «бандитов»: один был совсем молодой, рыжий и курносый, у другого черные брови срослись над переносицей, и смотрел он хищной птицей.

Часовые собирались уже захлопнуть ворота, но кто-то, невидимый в темноте, сильным ударом сбил их с ног, и в мгновение ока оба были туго, с головой, закатаны в большие куски брезента. («Эх, до чего же мне жаль этот брезент! Такой славный брезент — промасленный. И дождь его не берет!» — горевал за час до операции старик Вино.)

Между тем офицер осыпал бранью двух автоматчиков, охраняющих внутренний вход в древнее угрюмое здание тюрьмы. Однако на автоматчиков брань не подействовала. Они продолжали стоять у дверей, направив свои автоматы на ночных посетителей.

— Не приказано. Не было распоряжения открывать,— упрямо твердил один. Другой незаметно нажал кнопку сигнала тревоги. Двор, тюрьму, все закоулки наполнил захлебывающийся пронзительный звон. Тотчас же раздался топот многих ног, встревоженные голоса, команда — отовсюду сбегалась тюремная стража.

— Давай! — кинул по-русски чернявый шофер в очках и первый бросился на автоматчика. Рукояткой пистолета офицер ударил второго. В руках партизан сверкнули ножи.

Короткая свирепая возня. С недвижных врагов сдернуты автоматы. Теперь — двери.

— Иша́, ты!

Чернобровый партизан налегает крутым плечом на дверь.

А сзади, от ворот, уже бегут темные фигуры, помогают выломать чем-то тяжелым двери, вместе с офицером и его спутниками врываются в тюрьму. Характерный бас Байяра слышен даже сквозь непрерывный звон:

— Охотник и пятеро — к воротам! Никого не впускать и не выпускать, кроме наших. Остальные — за мной! Быстро!

За дверью уже теснятся жандармы, солдаты, тюремщики. Вид офицера-эсэсовца и его спутников на миг сбивает их с толку — они еще не решаются наброситься на пришельцев. Этим замешательством пользуются все четверо: взлетают по лестнице, мчатся по ярко освещенному коридору второго этажа.

— Что ж вы? Хватайте их! Стреляйте! — вопит по-немецки чей-то голос.

Под сводчатым потолком оглушительно грохочут выстрелы. Жандармы кидаются в погоню.

— Направо! Направо! — задыхаясь, кричит офицер.— Их камера в том крыле.

Они сворачивают за угол. Внизу уже трещат автоматы, звенят стекла, что-то тяжело падает — там идет настоящее сражение: Байяр и его люди обстреливают тюремную стражу, штурмуют вход и лестницу.

Офицер на бегу оглядывается: следуют ли за ним те трое? Глаза его внезапно встречают чьи-то глаза. За выступом стены спрятался жандарм. Дуло его пистолета нацелено прямо в голову офицера. Укрыться? Негде. Коридор весь просматривается. Тогда конец?

В тот же миг жандарм нелепо взмахивает обеими ру-

ками и опрокидывается навзничь. Пистолет его стреляет в потолок, а сам он исчезает, точно унесенный вихрем.

Офицер добегает до правого крыла тюрьмы. Вот она, камера. Вот он, ключ. Дверь камеры распахивается. Изможденные бородатые люди — целая толпа — устремляются навстречу вошедшему. И вдруг отшатываются. На лицах страх, разочарование.

Юноша в кровоподтеках, в разорванной рубашке вскрикивает:

— Ага, вы пришли за нами ночью, потому что вы боитесь народа! Вы расстреляли мою девушку, можете сейчас расстрелять меня и всех нас, но все равно вам не победить! Народ отомстит за нас!

Офицер видит его неукротимые, женственно красивые глаза.

— Марсель Кламье?! Сын нотариуса из Лаона?!

Юноша вглядывается в него, узнает:

— Что? Дени? Ты — в эсэс?! — Он презрительно сплевывает.— Какая низость! Так, значит, это ты выдал мое имя бошам? До сих пор они знали только мою партизанскую кличку — Атеист!

Но в дверях уже стоят рыжий и черный партизаны и чернявый шофер. Шофер кричит:

— Сумасшедший! Это же маскарад! Он свой, маки́! И мы тоже маки́! Быстрее, быстрее бегите! Дорога́ каждая минута!

В ответ — восторженный вопль. Заключенные бросаются к дверям. Некоторые не могут идти — их подхватывают товарищи. Марсель подбегает к Дане.

— Это правда? Какое счастье! Ты возьмешь меня к себе?

Вместо ответа Даня хватает его за руку и тащит за собой. Все скатываются по лестнице вниз. Там уже слышны только отдельные выстрелы — партизаны управились со стражей. На ступеньках — недвижные тела. Заключенные и маки́ пересекают двор, минуют ворота. На темной улице их ждут темные грузовики.

— Скорей, скорей! — подгоняют их командиры.

Вдали воет сирена — в немецких казармах услышали стрельбу.

Байяр и его заместитель Лидор поспешно пересчитывают людей. Нельзя терять ни минуты. Семерых раненых капитан велит отвести в свою машину. Остальные набиваются — тело к телу — в грузовики.

Даня, его друзья и Марсель оказываются рядом, в одном грузовике. Вплотную к Дане стоит длинный тонкий паренек в комбинезоне, с огромным пистолетом у пояса. В темноте Дане не видно его лица. Грузовики двигаются тихо, крадучись, на спусках идут на свободном ходу, чтоб не шумел мотор. На неровной сельской дороге кузов трясет и подбрасывает. Сосед в комбинезоне тычется головой в Данино плечо.

— Извини, Дени,— бормочет он.— Это я не нарочно, честное слово!

— Николь?! — вырывается у Дани.

Его перебивает веселый голос д'Артаньяна:

— Ну как, Русский, понравился тебе мой номер с лассо?

— Какой? Где? — спрашивает Даня.

— А с жандармом, который собирался тебя прихлопнуть. Ух, как он у меня поехал! Прямо в окно второго этажа!

— Так это тебе я обязан жизнью? — Даня потрясен.

Д'Артаньян смеется.

— Не мне — кинематографу. Кино — великий фактор прогресса!

8. У «СВЯТОГО АНТОНИЯ»

Маленькая, позеленевшая от времени бронзовая статуя богоматери смотрела на них из травы. В круглом фонтанчике журчала, поигрывала вода, и закатный луч дробился в струе, вспыхивая то оранжевым, то зеленым.

В этот час — между обедом и ужином — за столиками в ресторане Риё «Святой Антоний» почти не было посетителей. Только госпожа Риё, пышноволосая меланхоличная блондинка, вязала поодаль, не обращая никакого внимания на молодую пару. «Племянница» мсье и мадам Риё пользовалась полной свободой и могла принимать у «Святого Антония» кого ей было угодно. К тому же юноша, сидевший с ней за столиком, выглядел вполне прилично: синий костюм, галстук спокойных тонов, аккуратно зачесанные темные волосы, и даже уголочек белейшего платка выглядывал из нагрудного кармана. Видно, мальчик из хорошего, интеллигентного дома.

Госпожа Риё, наверно, не поверила бы, если бы ей сказали, что под синим пиджаком у мальчика спрятан за-

ряженный пистолет, а на поясе у заднего кармана брюк — граната. Мальчик пришел в город вооруженный до зубов. После нападения на тюрьму боши свирепствовали. Они объявили, что крупные силы противника прорывались в город, и теперь патрули дежурили почти на всех улицах. Если бы они придрались к посетителю «Святого Антония» произошла бы «суматоха», как любили говорить партизаны капитана Байяра.

Еще утром все друзья сбежались к шалашу, где жили Русский, Ишá, Дюдюль, д'Артаньян и новый их товарищ — Марсель. Все желали присутствовать при туалете Дани, все подавали советы, и каждый приносил Русскому что мог: кусок хорошего мыла, одеколон, бритву и, наконец, самую главную драгоценность всякого партизана — крепкие носки. Даня отбивался изо всех сил.

— К чему все это, ребята? Не нужно мне, даю слово. Забирайте все обратно!

— Бери, бери. Надо, чтоб ты выглядел точно принц из сказки. Идешь ведь не в разведку, не к бошам, а к девушке! К де-вуш-ке! На сви-да-ни-е! Это же событие,— уговаривали партизаны.

Все началось еще накануне, когда вернулся ездивший в Альби Костя-Дюдюль.

Дернуло же его сказать при Ишá:

— Видел Николь у «Святого Антония». Она велела тебе непременно прийти завтра после обеда в сад при гостинице. Непременно, понимаешь, это она подчеркнула. Ей нужно сообщить тебе что-то очень важное.

Этого было достаточно. Любопытный и болтливый, как сорока, Ишá тотчас же разнес по всему лагерю: завтра Русский отправляется на свидание со своей девушкой. На этом свидании у них все должно решиться. Что именно должно решиться, ни сам Ишá, ни другие партизаны не смогли бы объяснить, но людям в макú было приятно думать, что на свете кроме войны, крови и жестокостей продолжают существовать и существуют любовь, свидания, молодые девушки. Все жаждали быть хоть чем-нибудь сопричастными этому свиданию и молодой любви. К тому же всем без исключения нравился «маленький Русский» — храбрый и верный товарищ, разделявший с ними почти полгода все лишения, трудности и ратные дела. Николь лично знали только самые близкие товарищи Дани. Зато почти всем в отряде было известно, что долговязая подружка Русского, подавальщица из «Святого Антония»,

навела отряд на славное дело — освобождение политических, смертников из альбийской тюрьмы. Знали, что именно Николь сумела обработать тюремщика так, что он согласился помочь маки́. Некоторые видели Николь, когда она приезжала к Дане. От полноты сердца несколько человек притащили подарки даже Николь. Старик Вино испек ей какую-то особенную коврижку, Жюль передал Дане собственноручно подстреленную лисицу на «зимний воротник», Иша́ сунулся было с какой-то ленточкой, но Даня так рявкнул на него, что грек поспешно ретировался. Ведь он был главным виновником всей этой суеты в отряде, и Даня про себя негодовал и злился:

«Зачем это я понадобился так срочно Николь? Не могла приехать сама, если уж я так нужен! И Костя тоже хорош! Знает, что Иша́ первый трепач, и бухает при нем! Сделал меня посмешищем целого отряда!»

Слухи дошли даже до Лидора. Обычно Лидор неохотно давал увольнительную в город — боялся за своих маки́. Но тут беспрекословно отпустил Даню, только сказал на прощание:

— Помни — девушки способны погубить нашего брата. Не засиживайся долго, в городе кишат боши.

Поэтому в Альби Даня прибыл в довольно нелюбезном настроении.

— Ты меня вызывала? В чем дело? — начал он, едва поздоровавшись и не замечая, что на Николь ее лучшее платье и голубая, очень идущая ей косынка.

В противоположность Дане, Николь была отчаянно, как-то залихватски весела.

— Идем, идем со мной в наш ресторан. Сегодня ради такого торжественного дня я приготовила роскошный ужин. То есть, конечно, приготовляла не я, а мадам Риё, но я сказала ей, что у меня сегодня особенный день, и она обещала сделать для меня и моего друга особенный салат,— без умолку трещала она, ведя Даню в зеленый, благоухающий жасмином садик «Святого Антония».

— Особенный день? Роскошный ужин? Да в чем же, наконец, дело? — все еще раздосадованно спрашивал Даня. Что еще придумала эта шалая долговязая девчонка?

В садике царили спокойствие, уединение, невозмутимая тишина. Стены, увитые плющом и розами, отделяли посетителей Риё от всего остального мира. И как не вязались с этой тишиной, с этим спокойствием нервное воз-

буждение Николь, ее размашистые жесты, когда она открывала бутылку игристого местного вина и закуривала первую в жизни сигарету.

— Хочу поздравить тебя сегодня,— начала она, как только они уселись за столик и разлили вино по бокалам.— Наконец-то я тебя освобождаю, Дени. Освобождаю от себя, от своего присутствия, от своих наездов. Подумай, какая радость: ты избавляешься от необходимости видеться со мной, терпеть все мои глупости, мои выходки, мой отвратительный характер! Ну, радуйся же, смейся, Дени! Послушай, теперь, когда уже все позади, сознайся: тебе было здорово противно водиться со мной?

— Ничего не понимаю?— Даня и правда не понимал.— Зачем этот ужин? Почему ты меня поздравляешь? И с каким таким избавлением?

— О небо, а я еще считала этого парня умным! — комически всплеснула руками Николь.— Ну как ты не понимаешь, я же тебе все ясно сказала. Я уезжаю, Дени. Уезжаю, насовсем, взаправду, навсегда.

Николь залпом выпила свой бокал. Глаза у нее были совсем шальные.

Даня все не верил.

— Уезжаешь? Что это тебе вздумалось? Это глупо, Николь, честное слово, глупо. Байяр хотел доложить о тебе командованию. Ты так хорошо работала с Байяром, со всеми нами... А это дело с тюрьмой — ведь это ты его провела, если говорить правду. Ты шутишь, Николь. Скажи, что шутишь!

— Шучу ли я, шучу ли я?..— запела Николь.— Нет, мой храбрый маки́, мой пират, я не шучу. Меня вызывают. Я, видишь ли, важная, незаменимая персона. Сопротивление без меня погибнет, увянет, перестанет существовать... Гюстав пишет, я нужна им для большого дела. Кажется, что-то вроде шифровок. Словом, я должна ехать. И моя дорогая, уважаемая сестрица тоже считает, что там я буду более на месте, чем здесь.

Даня начинал верить. Ему сделалось не по себе: Николь, Цапля Николь вправду уезжает? Как же так?

Николь испытующе смотрела на него.

— Кстати, еще новость: Жермен и Гюстав женятся. И очень скоро.

— Когда же? — машинально спросил Даня. Мысли его были далеко.

— Как только бошей вытурят из Парижа. В первый же день победы.

— Ага, значит, и ты теперь поверила в близкую победу,— обрадовался Даня.— А помнишь, в тот день, когда мы с тобой бродили по Парижу, ты еще сказала...

Черт! Даня готов был откусить себе язык. И дернуло же его заговорить о той прогулке!

Николь схватила его руку горячей рукой.

— Ты помнишь ту прогулку, Дени? Ты ее запомнил?

— Ну конечно, Николь. Это была чудесная прогулка. Только потом — этот красный переплет...

— Послушай, Дени, тебе будет жаль, если я уеду? Только говори мне чистую правду: тебе будет жаль?

— Конечно, Николь,— опять как можно естественнее сказал Даня.— Мне будет очень не хватать тебя.

Николь нервно скручивала салфетку. Точно выжимала ее.

— Послушай, Дени, если тебе правда так жаль и ты не хочешь, чтобы я уезжала, ты скажи. Может, я как-нибудь сумею устроиться. Напишу Гюставу, что я и здесь могу работать, быть полезной. Словом, останусь.

Она смотрела на Даню не мигая. «Скажи, ну скажи, чтобы я осталась!» — приказывал, требовал, молил ее взгляд.

Нет! Нет, как и тогда, в Париже, Даня не мог лгать Николь. Не мог. Не хотел.

— По-моему, Николь, не стоит,— трудно выговорил он.— По-моему, следует ехать, если так велит Гюстав. Ведь ты и в самом деле отлично работаешь, Николь. Ты такой хороший товарищ. Мы с тобой так дружили, так слаженно действовали...— Он ненавидел себя в эту минуту. Ненавидел свой тон, свои слова.

Николь отбросила салфетку.

— Ты прав, как всегда, Дени.— Голос ее звучал чуть насмешливо.— Я поеду. Ты дал мне хороший совет. И мы в самом деле были славными товарищами. Жаль, что расстаемся мы насовсем.

Сейчас Николь казалась спокойной. Как садик мадам Риё. Как бронзовая фигурка в траве.

— Но почему насовсем, Николь? Вот кончится война, и мы увидимся. Ты приедешь к нам в Полтаву или я — в Париж.

— Ты сказал «к нам»? К кому?

Даня чуть отвернулся. Невыносимо было смотреть на Николь.

— К нам, в наш полтавский дом.

Николь немного помедлила.

— У меня для тебя что-то есть, Дени. На память. Вернее, не тебе, а той девочке, о которой ты мне рассказывал. Лиза — так ведь ее зовут?

— Так,— пробормотал Даня.

— Вот, возьми.— Николь сняла с шеи воздушную косынку.— Ее носила моя мать. Это самое дорогое, что у меня есть. Отдай ее Лизе, Дени.

— Но зачем же...— начал Даня.

Николь его удержала:

— Не отговаривай меня, Дени. Я хочу послать Лизе самое свое дорогое. Мы же с ней ровесницы, и у нас... у нас...

Николь угловато взмахнула рукой и, не договорив, выбежала из сада.

Даня не видел, когда именно Тото увез ее на поезд Тулуза — Париж. Через Бриё.

9. ОН СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ

На первый взгляд это было совсем не похоже на полтавскую весну и все-таки похоже. Похоже — шумной возней птиц в кустах, острыми пиками новой травы, пронзающей прошлогодний прелый лист, потемневшими, точно потными стволами дубов и тополей, всем могучим, сладким, победным дыханием земли. Не похоже — колючей цепкой зеленью роз, вьющихся по стенам старых домов, струистой лиловой дымкой над горами, пеной боярышника на дорогах, а главное, виноградниками. Вчера еще голые, корявые, как пальцы ревматиков, лозы вдруг, в одну ночь, выпустили скомканные матерчатые листы и пошли волнистым изумрудным морем скатываться с гор и холмов.

Никогда еще не соприкасался Даня так близко с природой, никогда еще не ощущал так сильно и так зримо каждый, даже самый маленький шажок весны. И эта близость делала его по-звериному чутким, зорким, восприимчивым. Природа была под руками, под головой, на уровне его глаз, рта, носа. Все пять его чувств были настороже, готовы вобрать в себя то новый запах, то ворсистость

первого листа, то горьковатый вкус салата из одуванчиков, который приготовлял к обеду бывший повар Вино. Даня со смехом уверял Костю-Дюдюля, что у него прорезалось шестое чувство: «Назовем его чувством природы. Оно у меня сейчас работает вовсю».

И еще в эту весну он очень сильно ощущал собственное повзросление. Далеко позади осталось полтавское детство, и хоть постоянно носил он в себе отца, мать и Лизу, но именно детство — дом, игры — все это уже перестало для него существовать. Что-то похожее на игру, опасную, увлекательную, было в Германии, на заводе, но и там он оставался несмышленышем, сосунком. Потом наступила парижская, неуверенная в себе юность, присматривание к другим, примеривание себя к уровню других, первые выводы, первые уроки жизни и самый суровый урок — смерть Павла. А сейчас здесь, в горах, пришло что-то новое, крепнущее с каждым днем, определяющееся с каждым новым делом, затвердевающее на глазах, как затвердевает жидкая масса металла, вылитая в форму. Зрелость? Нет, конечно, еще не она. Но и не прежняя зеленая юность.

Даня и раньше почти никогда не смотрелся в зеркало; Евдокия Никаноровна, бывало, шутила, что сын пошел не в нее — она любила повертеться у зеркала. Сейчас зеркало в отряде есть только одно — у Марселя. Где удалось Марселю раздобыть это зеркало — неизвестно, но в час бритья по утрам к нему — целая очередь, хотя многие партизаны давно запустили густые бороды или же бреются «наизусть». Даня однажды посмотрелся — увидел чужое, с выступающими скулами лицо, хмурые, очень взрослые глаза, обветренную, задубевшую, тоже чужую кожу. Только рот оставался детским — уголками вверх, добродушный и наивный. В зеркале был новый, незнакомый Даня.

— Тебя не узнать,— говорил Марсель, заглядывая Дане в лицо своими женственными глазами.— У нас дома, в Лаоне — помнишь? — ты был совсем другой: не человек, а куколка человека, голенький, совсем птенчик. А сейчас — у-у, сейчас ты настоящий мужчина!

— Даже не представляю себе, как это он был птенцом, да и был ли когда вообще,— посмеивался, щурясь сквозь очки, близорукий Костя-Дюдюль.— Вон какие мы стали закаленные бойцы! Дома небось не узнают, а? — Он наклонялся к Дане.

Тот невольно вспыхивал: ему чудилось, Костя на что-то намекает... Блокнот? Но блокнот Костя давно вернул, бегло сказав, что ничего записывать не понадобилось. И все-таки Дане иногда казалось, что с того дня в розовом Альби Костя сделался как-то по-особенному ласков и внимателен и что это неспроста. Сам же Даня совершенно бросил писать. И некогда было, и не до того, и все, что он записывал когда-то у профессора Одрана, казалось ему теперь, в отряде, тоже чем-то наивным и детским. «Выбрасывать или жечь, конечно, незачем — может, когда-нибудь покажу Лизе»,— думал он, и пока запрятал блокнот на самое дно своего вещмешка.

— Так как же, Данька, узнают или не узнают нас домашние? — продолжал приставать Костя.

Он радостно улыбался, заранее представлял себе ленинградский дом, свое возвращение... Счастливый Дюдюль! Даня же при мысли о возвращении чувствовал болезненный укол в сердце. Увидит ли он своих? И когда это будет? Ну, не сметь! Давай, Данька, подумаем о чем-нибудь другом. Думай, Данилка, отвлекись чем хочешь... Вспомни, к примеру, ту ночь в отряде, когда ты и Дюдюль вместе с командованием отряда дежурили неподалеку от горного кряжа на небольшой вырубке — ждали самолета, который наконец-то обещали лондонские руководители. Долго-долго выпрашивали партизаны у лондонского начальства оружие. Лондонцы подбадривали макизаров, отделывались звучными словами о патриотизме, о долге настоящих французов, о защите родины. Но дать оружие «красным», большей частью коммунистам и социалистам, медлили. Побаивались, это ясно. И все-таки кому-то из командиров маки́ удалось убедить, чтоб прислали хотя бы малую толику оружия. А то ведь до тех пор партизаны воевали чуть ли не голыми руками.

Три кучи хвороста уже наготове. Ночь. Проходят часы. Нервничают люди. Глаза рыщут по огромному, чуть синеватому полотнищу неба. Полотнище усеяно звездами. Пустота, тишина. Напряжен слух. Никому не хочется даже перешептываться. И вдруг шум мотора врезается в эту тишину. Еле слышное вначале рокотанье пронзает каждого.

Рокот все громче. Все вскакивают на ноги, мгновенно вспыхивают три костра, пламя взметывается вверх, как жадные, ждущие руки. Самолет разворачивается, кружит, взмывает, опускается, снова удаляется, застав-

ляет ахнуть, потом возвращается. И все эти секунды в людях то вспыхивает радость, то разочарование и отчаяние. Внезапно сразу среди тихой ночи в синеющем небе раскрываются светлые купола парашютов. Они летят к лесу вместе со своим бесценным грузом. Люди не выдерживают, радостно кричат, приветствуют небесные дары.

Отправляются на поиски огромных шелковых узлов, повиснувших на деревьях. Один, два, три... десять... пятнадцать... Обрезаны стропы, контейнеры осторожно спущены на руках и тут же, на месте, вскрыты, потому что людям не терпится посмотреть, какое богатство попало к ним в руки. Достаточно ли они теперь снаряжены для битв? Командиры понимают их нетерпение и не мешают.

— Этот автомат — мне!

— А эта винтовка мне как раз по руке!

— Пулеметом займется Дюдюль — это у него хорошо выходит!

— Довольно, довольно! Насмотрелись — дайте теперь взглянуть и другим,— говорят командиры, точь-в-точь как детям, когда они рассматривают рождественские игрушки.

Парашюты и их содержимое грузят бережно на тачки и везут в лагерь, на «летние квартиры» партизан.

А в лагере какое торжество, какой восторг! Люди проснулись, выскочили кто из палаток, кто из шалашей, сгрудились возле тачек, пересчитывают, ощупывают каждый автомат, каждый пистолет. Подумать только — два пулемета, тридцать автоматов, три ручных миномета, двадцать пистолетов, гранаты, толовые шашки, много взрывчатки, патронов... О, это был такой праздник для всех в отряде! Дане тогда же дали, правда временно, пистолет — первое в его жизни оружие. «Сначала пусть научится по-настоящему стрелять,— сказал снайпер Жюль Охотник,— а уж потом можно будет дать ему оружие насовсем». У самого Жюля «магали» с оптическим прицелом, подаренный ему каким-то другом-охотником, глубоким стариком, для которого макѝ — уже несбыточная мечта. Вот сначала из своего «магали», а потом и из пистолета Жюль учил Даню стрелять. И настал наконец день, когда Жюль доложил командиру Байяру, что «новенький Русский» обучен и можно доверить ему оружие.

Вот он, пистолет, тяжелый, в приятно пахнущей и скрипучей кожаной кобуре, висит на поясе Дани. Можно в любую минуту его потрогать, ощутить его тяжесть. Даня потихоньку дотрагивается до кобуры.

— Ты что? — спрашивает сидящий рядом Марсель.
— Ничего.

В их палатку набились все соседи. Пришел даже командир Байяр. В углу, откинувшись к парусиновой стенке, сидел со своей гитарой д'Артаньян. Глубокий, мягкий аккорд...

До вчера я тебя не знал.
Как зовут тебя, я не знал,
А увидел, за руку взял,
За собою тебя позвал.
Хочешь, землю тебе подарю,
Хочешь, звезды или зарю?
На заре на тебя посмотрю,
Что захочешь, тебе подарю...
Мой кораблик по пруду плывет,
Нас с тобой он на борт берет.
Он бумажный, но он плывет
В ту страну, где любовь живет...

У д'Артаньяна был приятный глуховатый тенор. И откуда только он брал эти грустно-насмешливые песенки и нежные мелодии? У каждого в душе его песни будоражили что-то свое, далекое и томительное.

Снаружи уже начинало смеркаться, и в мутном зеленоватом свете, проникавшем сквозь парусину, у всех были таинственные смугло-зеленые лица. Костров и огней не зажигали: разведка доносила, что кругом бродят крупные отряды немцев, прочесывают леса, обыскивают фермы и селения. После партизанского налета на тюрьму в Альби нацисты усилили свою охоту за франтирерами. Поэтому в отряде ввели дополнительные посты охранения и было приказано соблюдать величайшую осторожность — ничем не выдавать свое присутствие.

— Спой еще что-нибудь,— попросил Байяр.— Хорошая песня...

— Да, да, спой! — подхватило несколько голосов.

Д'Артаньян низко нагнулся над гитарой, задумчиво пощипывал струны. Вот-вот пробьется какая-то полузабытая мелодия...

— Знает кто-нибудь «Сильный ветер»? — спросил он.— Эту песню поют в моих местах крестьянские девушки.

— «Сильный ветер»? — переспросил Вино.— Кажется, я знаю... Начинается так...— Он прочистил горло, приготовляясь петь.

Однако запеть ему не пришлось. Раздался топот бегу-

щих ног, голос Жюля Охотника торопливо спросил кого-то снаружи:

— Где командир? Он срочно нужен!

— Я здесь.— Байяр поспешно выбрался из палатки, и за ним повалили остальные.— В чем дело?

— Тревога, командир. Прибежали ребята — соседи Дюшенов. К ним явились немцы, вытащили наружу матушку и ее мужа, мужа тут же поставили к стенке и расстреляли, а матушку Дюшен начали спрашивать о нас, выкручивали ей руки, били прикладами... Ребята говорят, когда они побежали сюда, немцы собирались поджигать ферму.

— Немцев много? — отрывисто спросил Байяр.

— Ребята сказали — сотня, если не больше.

— Может, это им со страху показалось?

— Нет, это храбрые мальчишки, я их давно знаю, они не перепутают,— возразил Жюль.

— Едем! — скомандовал Байяр.— В лагере останутся двадцать новеньких, десять стрелков и Лидор. Остальные — со мной. Взять три пулемета, один станковый и два ручных, минометы. Охотнику проследить, чтоб не было никакого шума при отправке и в пути. Очень возможно, что боши устроили засаду. Наблюдать за дорогой поручаю Марселю и Русскому.

— Есть, командир!

— Есть наблюдать! — послышалось в ответ.

Все делалось быстро и в тишине. На небе уже бледнел закат.

10. ГИБЕЛЬ ДРУЗЕЙ

Грузовики, полные вооруженными людьми, мчались по крутым и извилистым горным дорогам, не зажигая фар и стараясь не очень шуметь моторами. Тото нажимал на газ: он тоже знал и любил матушку Дюшен, которая и его, несмотря на его седые виски, звала «мальчиком» и «малышом». Тото просто думать не мог без отчаяния, что она попала-таки в лапы бошей! Вырвать матушку, во что бы то ни стало вырвать!

За грузовиком Тото почти вплотную ехал его приятель и напарник Жаку́, с виду тщедушный, похожий на заводную обезьянку, но лихой и отважный парень из Лиона. В кабине Тото сидели командир Байяр и Даня — наблю-

датель. У Жаку́ наблюдателем ехал Марсель. Оба не сводили напряженных глаз с дороги — знали по опыту, что боши могут, например, перегородить шоссе стальным канатом или поваленным деревом. Остановят грузовики, обстреляют из пулеметов или забросают гранатами, и тогда вряд ли кто из отряда уцелеет.

Все быстрее стелется под колеса дорога, все ближе знакомые места. Вон там, за тем поворотом, должна показаться деревушка, а за ней — поле Дюшенов и ферма. И вдруг, когда грузовики были уже у поворота, открылось небо, полыхающее оранжевым, багровым, зеленым... Точно вернулся во всей красе закатный час.

— Боже мой... Пожар! — хрипло сказал Тото.

Байяр бормотнул проклятие.

— Горит ферма Дюшенов. И рядом — сарай. Там наш запас бензина.

— Вот они и использовали этот запас,— отозвался так же хрипло Тото.

— Опоздали?! — Даня сжал в руках автомат, ощупал у пояса гранату. Скорее бы! Скорей!

У опушки близ поворота Байяр приказал остановиться.

Шоферы увели грузовики под деревья. В селение послали разведчиков (одним из них был Иша́).

Партизаны нетерпеливо ждали их возвращения. Уже совсем стемнело. Ни курить, ни громко разговаривать никто не решался.

— Что сделают с нами боши, если поймают? Расстреляют? — шепотом спросил стоящего рядом д'Артаньяна Даня.

— Слишком много чести. Просто повесят,— буркнул тот, не сводя глаз с пожара; розовые блики вспыхивали и погасали в его зрачках.— Эх, жаль, так и не спели мы «Сильный ветер»,— задумчиво прибавил он.

— Еще споем,— сказал Даня.

— Кто знает...

Разведчики появились внезапно, словно из-под земли. Иша́ торопливо доложил что-то Байяру.

— Ребята, по донесениям у бошей три пулемета, а самих около сотни. Что будем делать? Атаковать, я полагаю? — обратился Байяр к своим бойцам.

— Атаковать! И чем скорее, тем лучше! Именно сейчас, ночью! Командуй, Байяр! — раздались со всех сторон приглушенные голоса.

Байяр вызвал Костю-Дюдюля и Жюля Охотника: им

поручалось подавить пулеметы противника, если тот успеет открыть огонь. Впрочем, Байяр очень рассчитывал на внезапность нападения. Остальных людей он разделил на две группы. Одна, под его командой, должна была первой ворваться на ферму и атаковать немцев. Вторая дожидалась поблизости, в укрытии, и только по сигналу Байяра вступала в бой.

— Вперед! Не мешкать! За мной, ребята!

Байяр легко, как мальчик, перескочил через высокий пень на пути и бросился бежать по распаханному полю вниз, туда, где полыхало дрожащее высокое пламя. Партизаны кинулись за командиром. На всю жизнь запомнился Дане этот бешеный бег по рыхлой, оседающей под ногами земле, по каким-то канавам и рытвинам.

Стреляя на бегу, крича как бесноватые, они ворвались во двор фермы, где носились с факелами черные юркие фигурки врагов.

И первое, что увидели партизаны,— было тело матушки Дюшен, распростертое у самых ворот фермы. Она лежала, подняв к багровому небу мертвое побледневшее лицо, огонь уже подбирался к ее седым волосам, а раскинутые руки, казалось, хотели обнять таких дорогих для нее «малышей».

Раздался вопль. Ненависть, жгучее желание вот сейчас, здесь, сию же минуту отомстить за матушку Дюшен, расправиться с убийцами захлестнуло людей.

Дюдюль бросился на землю рядом с матушкой. Бешено застрочил его пулемет, и каждая пулеметная очередь косила немцев. Враги ответили диким ревом. Тотчас же заработали все три их пулемета.

— Ложись! — закричал Байяр.— Надо их обойти! Постарайтесь, ребята! Охотник, д'Артаньян, делайте!

С крыши дома начали падать стропила. Свист огня, стоны придавленных, треск разрывов и выстрелов, татаканье пулеметов — все смешалось.

Даня и д'Артаньян, прижавшись к земле, старались «достать» группу бошей, которые укрылись за выломанной толстой дверью фермы, и оттуда поливали огнем наступающих партизан.

— Эх, обойти бы их сзади — вот было бы здорово! — крикнул д'Артаньян, не отрываясь от своего автомата.

— Есть ход через маленький сарайчик. Ведет во второй двор, я знаю. Оттуда мы их легко снимем! — закричал ему в самое ухо Даня.

Д'Артаньян кивнул, не переставая стрелять.

— Рискнем?

Даня тотчас же пополз вперед к старому сарайчику, в котором, бывало, папаша Дюшен хранил свои вилы и лопаты. Сейчас дверь сарайчика держалась на одной петле.

Д'Артаньян, стреляя, по-пластунски двинулся за товарищем.

Внезапно совсем близко раздался короткий вскрик. Даня обернулся. Рыжая голова д'Артаньяна уткнулась в землю. Он больше не стрелял.

— Ты что, д'Артаньян? Что с тобой? — Даня вернулся, затормошил его.

Он еще не понимал.

Д'Артаньян шевельнул губами.

— Жаль, не спели «Сильный ветер»,— разобрал Даня, и рыжая голова поникла.

Даня злобно заплакал. Он обливался злыми, отчаянными слезами, он выкрикивал самые страшные, какие мог придумать, угрозы и проклятия и полз, полз к сарайчику. С трудом удалось ему пробраться внутрь. Весь сарайчик простреливался насквозь, пули стучали по стенам, по каменному полу, но Даня в горячке их даже не замечал. Он упорно протискивался в тесное разбитое оконце, которое выходило на второй двор. И когда наконец ему удалось протиснуться и он очутился в этом втором дворе, перед ним, словно из-под земли, вырос немецкий солдат и ствол немецкого автомата уперся ему в живот.

— Хенде хох! — скомандовал немец.

Даня поднял руки. Сказал быстро, по-немецки:

— Я подохну, но мне наплевать! Ты и твои приятели подохнете вместе со мной. Все взлетите!

Немец невольно вскинул глаза. В одной руке партизан держал гранату, в другой — поблескивало выдернутое кольцо. Солдат рывком подался назад и начал пятиться к сарайчику. Еще какой-нибудь метр, и он проскользнет внутрь, даже может успеть захлопнуть за собой эту висящую дверь. Но, прежде чем исчезнуть, он еще разрядит свой автомат прямо в живот партизана.

К несчастью для немца, то же самое приходит в голову и Дане. Он соображает куда быстрее солдата. Кричит что есть силы своим:

— Ребята, берегись! Граната!

Он размахивается. Оглушительный грохот — и ни сол-

дата, ни тех, что прятались за толстой дверью фермы. Только доносятся откуда-то вопли да с треском, рассыпая кругом огненный ливень, падает последняя балка с крыши. И тела, тела, тела на земле, у стен, у фермы или у того, что недавно было фермой...

На заре в лагере хоронят друзей. Матушку Дюшен, веселого рыжего ковбоя д'Артаньяна, храброго Жюля Охотника, которого убила шальная пуля, и еще многих партизан. У длинной братской могилы стоят бойцы — обожженные, перевязанные, окровавленные, черные,— дорого досталась им победа! Но «малыши» отомстили за матушку Дюшен и других.

Величаво, горестно, грозно звучит «Партизанская песня»:

Ты слышишь ли, друг, воронья тяжелый полет?
Ты чуешь ли горе вокруг и вражеский гнет?
К оружью, рабочий, крестьянин, не бойся угроз,
Пусть знает недруг проклятый цену крови и слез!
С равнины и с гор, из шахт на простор выходите, друзья,
Копье и гранаты, а нет их — лопаты берите, коль нету ружья!

11. «ОСТАП»

Всего несколько недель прошло с той ночи, а Дане кажется, что промчались годы и годы. Тряска на грузовике, пешие марши через горы, леса, болота, бродячая, беспокойная, в постоянной спешке жизнь, когда не знаешь, под каким кустом будешь спать, на какой поляне варить в походном котле суп и будет ли этот ночлег и этот суп вообще. Сирены, свист пуль, гул в небе, грохот разрывов, гранаты, мины — все было, есть и неизвестно, сколько еще продлится. Книги, музыка, спортивные состязания — когда это было, да и было ли? Когда Даня читал в последний раз? Кажется, в книжной лавке близ площади Этуаль? А когда он гулял с Николь по Парижу? Тоже в незапамятные времена, быть может, даже в какой-то прошлой жизни...

И все-таки, если бы ему предложили уйти, вернуться к прошлому, он не согласился бы. Очень многое сейчас согревало ему душу здесь, в отряде. Братство людей подполья, препятствия, поддерживающие силу духа, цель, которая существует каждый день, возбуждение побед, удачных вылазок. А главное, самое главное — мысль, что наконец-то он в строю, сражается, как все, мстит, как все, фашизму — за себя, за всех своих, за свою землю, чтоб в мире наконец настала справедливость.

Вот он задумался, стоя на краю обрыва. Синеют долины, далеко уходя в горы. Под ногами Дани куст желтого жасмина, уже покрытого бутонами, и волосатые листья камнеломки.

Благоухает и звенит всеми голосами весна. Тонко поют комары, жужжат мухи, из-под ног шныряют и на миг замирают на горячей спине камня ящерицы, бегут, строят свою хеопсову пирамиду муравьи.

Вчера еще лагерь напоминал военный бивуак — люди возвратились после удачного дела на железнодорожной ветке... Даня тоже участвовал в операции, закладывал с Дюдюлем взрывчатку, вместе со всеми обстреливал уцелевшие вагоны, возле которых бегали, беспорядочно стреляли, укрывались под железнодорожной насыпью фашисты, нес на себе раненого Вино. А сегодня партизаны «на каникулах», как говорит Ишá. Отсыпаются, лениво бродят по лагерю, занимаются бритьем, мытьем, стиркой.

Полдень. Царит глубокая тишина. Только иногда где-то далеко запоет петух, захрапит кто-нибудь из бойцов или начнет насвистывать песню. Партизанский лагерь сейчас — островок покоя, в котором люди постепенно проникаются растительной мощью природы. Да так проникаются, что даже их собственная судьба на время перестает их интересовать, отходит на второй план. А на первом — весна. Солнце.

И вдруг...

— Русский, тебя вызывает к себе командир Байяр!

В шалаше командира Даня козыряет Байяру, вытягивается. Ему во что бы то ни стало хочется во всем походить на настоящего военного.

Байяр с удовольствием оглядывает его: аккуратная куртка, под нею голубая майка, вправленная в вельветовые штаны, какие носят плотники. А главное — выправка, уверенность.

«Малыш» Русский стал всамделишным бойцом, это видно с первого взгляда, да и бедняга Жюль не мог им нахвалиться. Впрочем, Байяр сам видел его в деле: стреляет отлично, ведет себя хладнокровно. А эта «акция» с побегом из тюрьмы? Оказалось, Русский может отлично изображать немецкого офицера. Ух, как он ругался по-немецки, как распекал растерявшуюся стражу! И потом, в тюрьме, действовал с таким присутствием духа, что, когда разбиралась операция, Байяр перед всеми партизанами

объявил ему благодарность. Вот что значит русский, комсомолец!

Все это думает Байяр за те несколько секунд, покуда молодой партизан вытянувшись стоит перед ним.

— Есть дело, Русский,— говорит он наконец.— Знаешь отряд Леметра, который действует по соседству с нами, в южной части департамента?

— Так точно, слышал.

— Расположены они сейчас где-то в районе Монтань Нуар,— продолжал Байяр.— Точное их местонахождение мне неизвестно, тем более что они все время меняют свою базу. У них там командир очень беспокойный, не то что я.— Он смеется.— Я пробовал связаться по телефону с одним ресторатором в Мазамэ, он наш друг и всегда нам помогает, но он ответил, что «тетушка Мари его давно не навещала»,— значит, понимай так, что партизаны Леметра у него давно не появлялись. Разведка же доносит, что в стороне Монтань Нуар пока спокойно, боши сидят по городам и в горы предпочитают не соваться. Словом, бери с собой дружка Марселя Атеиста — так, кажется, кличут этого лаонца? — и отправляйтесь оба в отряд Леметра. Явитесь к командиру и сообщите ему на словах, что послезавтра, в семь вечера здесь, у нас, будет совещание командиров сектора. И что я лично прошу его прибыть на это совещание. Запомнил? Повтори!

— Просить командира Леметра прибыть сюда послезавтра на совещание командиров сектора, которое назначено в семь вечера,— повторил Даня.

— Правильно,— кивает Байяр.— Я вижу, ты совсем привык к нашему существованию, а? — улыбаясь, спрашивает командир.— Знаешь, на тебе лежит большая ответственность, парень.

— Ответственность, командир? Какая? — Даня удивлен.

— Ты же русский, а русские, как известно, бьют теперь на всех фронтах фашистов. В вашей Москве то и дело салюты в честь побед. Вот наши ребята и смотрят на тебя, как на образцово-показательного бойца. Ждут, что ты всегда, при любых обстоятельствах, будешь победителем. Что? Трудно? Я тебя понимаю, парень, чертовски трудно быть примерным, да еще образцово-показательным.— Байяр опять весело смеется. Потом спохватывается:— Чуть было не забыл! Надо же вам знать их пароль. А то, если явитесь к ним без документов, без письменного при-

каза, да еще без пароля, ваше дело будет плохо: партизаны Леметра запросто могут вас прихлопнуть.

Он роется в карманах, вытаскивает какие-то бесконечные бумажки, наконец отыскивает среди вороха бумаг нужную, бормочет:

— Хоть и не положено записывать такие вещи, как пароль, но этот пришлось записать, а то нипочем бы не запомнить. Странный пароль. Странное какое-то слово. Непонятно, что оно вообще значит...

— Странный пароль? — удивляется Даня.

Байяр кивает.

— Какое-то азиатское, что ли, слово. Необычное, я бы сказал.

Он подносит бумажку к глазам и по складам читает:

— «Ос-тап».

12. «ЗАМОК ФЕИ СНОВ»

Даня вздрагивает.

— Как? — спрашивает он, не веря своим ушам.— Как вы сказали?!

— Ага, значит, и тебе это слово кажется трудным? И ты его не понимаешь? — с удовлетворением говорит Байяр.— А я-то думал, что только я такой тупица...— И он раздельно повторяет:— «Ос-тап». «Ос-тап».

Теперь Даню бросает в жар. Он спрашивает непослушными губами:

— Кто... Кто сказал вам этот пароль? Откуда его передали?

Байяр пожимает плечами.

— Передал несколько дней назад связной Леметра.— Он вдруг замечает смятение Дани.— Что с тобой? Это слово что-нибудь значит? Может, оно русское? Тогда объясни мне, твоему командиру. Ты обязан объяснить!

Даня торопится. Изо всех сил торопится...

— Это не слово, командир... то есть не то слово, как вы думаете, не то значение, я хочу сказать,— путается он.— Понимаете, это имя. Имя одного литературного героя из книги знаменитого русского писателя-классика. Может, вы слышали — Гоголь.

— Гоголь? Знаменитый писатель? — поднимает брови Байяр.— Кажется, что-то припоминаю. И что же означает «Остап»? Помни, парень, ты обязан мне сказать как

коммунист коммунисту. Никаких уверток, слышишь?

Нет, Байяр ничего не понял, решительно ничего. Да и как ему понять все, что вдруг нахлынуло на Даню, его нетерпение, страстную тревогу, в которую его повергло это имя. Байяр опять рассматривает непонятное слово, ждет вразумительного ответа. И вдруг, уже без всякой субординации, Даня выхватывает из его руки бумажку.

— Дайте я посмотрю...

Бумажка у него. Написано латинскими буквами «Ostap». Почерк совершенно незнакомый.

Даня переводит дыхание. Берет себя в руки.

— Простите, командир, вы знакомы с Леметром? Видели его когда-нибудь?

Байяр начинает сердиться: вот так дисциплина! Нет, с этими макизарами не создашь настоящего войска!

— Еще вопросы? Разве это положено? Бойцу следует без всяких разговоров тотчас же выполнять приказ командира, а не вступать в разговоры! — Напряженное лицо Дани перед ним, он смягчается.— Ладно, делаю, как для русского, исключение. Нет, Леметра я не видел никогда. Знаю только, что это исключительной храбрости человек, хотя и немолодой. Командование отзывалось о нем очень хорошо.

— Еще одно слово, командир. Леметр — русский?

Байяр качает черной головой.

— Не думаю. Кажется, он давно в ФТП. Правда, в отряде у него, по-моему, есть русские, как у меня... Постой же, погоди, куда ты? — пытается он остановить молодого бойца, но тот выскакивает из шалаша.

Он уже далеко, и командир может сколько угодно пускать ему вслед крепкие партизанские слова — он их не услышит.

Марселя с его ложа из настеленных кучей еловых веток Даня подымает криком:

— Скорей бери свою пушку, и идем!

— Куда? Зачем? — Марсель никак не может проснуться — так сладко спится после вылазок.

Даня бросает ему в лицо пригоршню воды из котелка. Вода ледяная, из источника.

— Вставай же, я тебе говорю. Скорей!

Он с яростью тормошит товарища. Марсель бормочет:

— Ты псих! Определенно психованный! — но покорно берет свой автомат и следует за Даней.

Оба грузовика ушли в Альби. Узнав об этом, Даня

чуть не заплакал. Он побежал к Тото: не подвезет ли он их с Марселем? Нужно очень срочно попасть в Мазамэ — поручение самого командира. К несчастью, у Тото отчаянно болел зуб, он был в отвратительном настроении и отказался наотрез.

— Послушай, Тото, я давно вожу машину,— вступился Марсель. Он видел убитое лицо Дани, и ему хотелось во что бы то ни стало помочь другу.

— Что? Доверить машину командира такому молокососу?! Ну уж нет, это ты оставь! — срезал его Тото.

В отряде есть несколько велосипедов. Взять их? Но дорога почти все время вьется по горам, велосипеды пришлось бы тащить на себе — значит, задерживаться. Взамен велосипеда Даня выпросил у Вино в дорогу автомат — мало ли кто может встретиться в пути.

— А теперь ходу!

И Даня с Марселем, повесив автоматы на плечо, быстро направились извилистой горной тропинкой в сторону Мазамэ.

Впрочем, «направились» — это не то слово. «Помчались», «понеслись» более точно определило бы их темп. Земля, казалось, сама летела им под ноги. Марсель едва-едва поспевал за другом, но старался изо всех сил. Несколько раз он пробовал спрашивать Даню, на какой это пожар они торопятся, но в ответ слышал что-то невразумительное. Да и как бы смог Даня объяснить Марселю то смутное ожидание каких-то необычайных встреч, необычайных событий, что едва брезжило в нем самом? И все-таки это смутное вызывало страстное желание как можно скорее попасть в отряд командира Леметра и во что бы то ни стало отыскать автора странного пароля. «А вдруг... А если...» И, боясь додумать, он начинал вдруг так задыхаться, чувствовал такое сердцебиение, что приходилось на несколько секунд останавливаться, переводить дыхание.

Кругом, как свежевыпавший снег, белело, искрилось пышное апрельское цветение. Жимолость, боярышник, какие-то мелкие белые розы — все это омывалось горными ручьями, все шелестело, журчало, издавало одуряющий аромат. Изрытая потоками красная земля была обнажена, то и дело приходилось перепрыгивать с камня на камень, переходить пенистые, извивающиеся прихотливые ручьи. Солнце уже начинало уходить за горы, и на всем покоился нежный розовый отблеск. Далеко внизу

светлой вьющейся ниткой бежала дорога. Острые глаза Дани заметили на дороге лошадь с тележкой, двигавшейся в том же направлении, что и они.

— Спустимся, попросим, чтоб подвезли,— предложил он Марселю.

— А не опасно, Русский? — усомнился тот.— Вдруг попадем прямо в лапы бошам или кому-нибудь из их шайки?

— Кто не рискует, тот не выигрывает,— отвечал Даня французской поговоркой и пустился вниз так, что только камни летели из-под ног.

Дени и Марсель скатились на дорогу прямо к самой тележке. В тележке ехал, попыхивая черной трубочкой, старый старичок, похожий на птицу с диковинным клювом. Его лошадь, мохнатая и рослая, удивительно напоминала Фулетт, ту самую Фулетт, у волосатых ног которой спали несколько холодных ночей на ферме два беглеца — Даня и Павел. Воспоминание это пришло к Дане, когда он и Марсель уже сидели в тележке и старик рассказывал им, что едет из-под Корда со свадьбы дочери. Все бы хорошо, и муж попался славный, меткий охотник, неплохой имел доход от продажи дичи, да вот на третий день после свадьбы взял да и подался в маки́. Сказал, что невтерпеж ему смотреть на бесчинства бошей и на то, что все парни воюют, а он разгуливает по лесам с охотничьим ружьецом да постреливает дичинку. Пусть уж это ружьецо лучше послужит чему-нибудь толковому. Вот дочурка теперь прямо исходит слезами.

— Я говорю ей: «Ничего не поделаешь, Мари, война, я сам еще в ту войну воевал с бошами, до сих пор мне при виде их морд плеваться хочется. Понятно, что вся молодежь спит и видит — поскорее разделаться с этими кровопийцами. Да разве молодухе на третий день после свадьбы втолкуешь? Она думала, что молодой муж так и будет навек пришит к ее юбке. Вот и плачет и плачет... Вы тоже, видно, из маки́, ребята?»

— Вроде того, дедушка,— отозвался Марсель.— А что слышно в ваших местах насчет бошей? Заявляются они к вам?

— Сам-то я живу возле Сидобра, там у нас скалисто, горы кругом, немцы такие места стараются стороной обойти. Правда, раньше наведывались, забирали птицу, молоко, виноград, винцо всё выкачивали, а теперь, когда у нас появились макизары, стали остерегаться. Знают, что

командир наших маки́ за все заставит их расплатиться, ничего им не простит.

— А кто командир ваших маки́? — быстро спросил Даня.

— Не могу тебе сказать, дружок, не слышал ни имени, ни прозвания. Знаю только, что ребята из отряда зовут его храбрецом и однажды он ко мне и моей старухе зашел напиться. Видный такой, хоть и седой. Говорит по-ученому, парижским говором, так что старуха моя почти вовсе его не понимала, а я так, с пятого на десятое. Правда, оба мы поняли, что очень он вежливый, справляется о здоровье старухи (она у меня вот уже пять лет парализованная лежит), потом поблагодарил — это за воду-то! — и попросил, коли мне не трудно, взять в нашей сельской лавке кое-что по карточкам для его ребят. Ну, я, конечно, отлично знаю, что карточки у всех маки́ липовые, они их сами мастерят, а печать тащат где-нибудь на почте или в мэрии и прикладывают, чтоб было похоже на всамделишную карточку. Ну, думаю, все же надо им помочь, да и старуха моя говорит, что обязательно надо, хотя бы ради такого хорошего командира. Вот, значит, я и купил по их липовым карточкам сахару, масла, хлеба на всю компанию...

Старик еще много и охотно говорил, но Даня его уже плохо слушал. «Седой... Седой?.. Нет, значит, не то... Значит, ошибка...» — повторял про себя, и мучительное разочарование охватывало его все сильнее. Ему уже казалось, что незачем так спешить в отряд Леметра. Да и самого командира видеть тоже не обязательно. Остап? Наверно, случайное совпадение. Возможно, в отряде есть украинец, он и подсказал пароль. Что ж, можно повидаться с земляком, поговорить об Украине, но это все не то, не то...

Поэтому, когда старик предложил остановиться переночевать в знакомой пещере, Даня, к изумлению Марселя, сразу согласился. «Ну и странный этот Дени! — удивлялся про себя Марсель.— То гонит, как на скачках, то вдруг решает остановиться на всю ночь. Таинственная, непонятная славянская душа!»

Быстро смеркалось. Сизой тучей возникли на горизонте Монтань Нуар — отроги Севенн. Дорога пошла круто вверх, и Мими — так звали лошадь старика — все медленнее, все труднее тянула тележку с тремя седоками.

— Здорово она ленивая,— сказал о лошади старик.—

У нас в Сидобре все знают: самая ленивая коняга — у папаши Рошана.

Все чаще им встречались скалы и неровные площадки, усыпанные гранитными обломками причудливой формы. В сумерках впереди чудилась то огромная птица на холме, то человеческий профиль.

Вскоре они очутились среди сплошного нагромождения скал, камней и чудом уцепившихся за камни колючих кустарников. Изредка попадалась небольшая расчищенная полянка. На одной из таких полянок — горных лысин — папаша Рошан остановил Мими и легко спрыгнул с тележки.

— Приехали! — провозгласил он.— Ну-ка, мальчики, попробуйте найти пещеру сами. Называется она «Замок феи снов». Она здесь, в этом вот районе.— Он очертил в воздухе своей трубочкой большой круг.—Вы поищите, а я пока распрягу Мими.

Марсель и Даня, уже давно живущие среди природы, не сомневались, что легко найдут «Замок феи снов». Но прошло десять минут... двадцать... полчаса, а они все еще кружили по одному месту, все продирались сквозь колючки держидерева, перепрыгивали через огромные валуны, карабкались на скалы — пещеры не было и в помине.

— Ну, сдаетесь? — закричал им издали старик.

Он уже давно распряг свою ленивую конягу и пустил ее пастись среди полянки, а сам сидел на пеньке и покуривал трубочку.

— Сдаемся! Сдаемся! — закричал Марсель.— Не знаю, как вы, друзья, а я умираю с голоду и мечтаю залезть в этот ваш «Замок феи», чтоб соснуть.

— Если сдаетесь, идите сюда и смотрите,— сказал папаша Рошан.

Он поднялся, подошел к зарослям держидерева на краю поляны и раздвинул два куста, росшие у самой выступающей скалы. Открылась темная широкая щель, в которую легко мог пролезть даже тучный человек.

Внутри «Замка» было просторно, сухо и приятно пахло сухим листом. Большая охапка этого листа лежала у входа рядом с вязанкой хвороста.

— Ага, и постели приготовлены, и топливо есть! Запасливые ребята, знают, что им еще понадобится «Замок феи»! — заметил старик.

— Кому он может понадобиться? — наивно спросил Даня.

— Как кому? Маки́, разумеется. Они же зимовали в пещерах. В здешних местах среди скал много тайников. Некоторые так хорошо запрятаны, что, если не знать, никто не отыщет.

И, продолжая рассказывать о таинственных местных пещерах, в которых, по преданиям, водятся феи и духи, папаша Рошан ловко и быстро сложил из сухих листьев три пышных тюфяка. Потом с сомнением поглядел на хворост.

— Стоило бы, конечно, развести огонек, подогреть утку, которую дала мне в дорогу дочка моя Мари, да опасаюсь, как бы не явились на огонек незваные гости.

— Конечно, не надо, не надо никакого огонька, папаша Рошан,— поспешил сказать Марсель.— Мы с вашей уткой прекрасно справимся и так... если... если, конечно, вы собирались нас угостить ею,— прибавил он, смутившись.

Папаша Рошан засмеялся, увидев его покрасневшее лицо.

— У нас по-здешнему говорят: «Утка, мол, глупая птица — на двоих мало, а на одного стыдно». Значит, будем делить ее на троих.— И отправился вынимать из тележки свое угощение.

Кроме утки в тележке нашлись круглый пшеничный хлеб, большая оплетенная соломой бутыль легкого вина и кусок масла, которого партизаны давненько-таки не пробовали. А у Дани и Марселя были с собой сухие галеты, сыр и немного чернослива. Все это, сложенное вместе, составило такой превосходный ужин, что, по словам Марселя, который до войны ездил с родителями в Париж, даже в самом дорогом ресторане «Максим» им не подали бы ничего вкуснее.

Они сидели на теплых, нагретых солнцем камнях у входа в пещеру. Темный купол неба над головой, сияние тихих звезд... Чуть слышно попискивали, устраиваясь на ночь, птицы, начинали петь первые цикады, и под ногами шелестели невидимые насекомые. Несуществующей, далекой казалась в эту ночь война, и, кладя рядом со своим лиственным тюфяком пистолет, Даня невольно подумал, что здесь, в пещере, это самая диковинная и какая-то на редкость неуместная вещь. «Замок феи снов»... «Феи снов»...» — думал он, засыпая.

Он уснул мгновенно и так же мгновенно проснулся от глухих далеких ударов. Что это — гром, обвалы в горах?

Он приподнялся: в щели чуть серело небо — был самый ранний час рассвета, солнце еще пряталось за горами. В пещере было темно, и Даня не сразу заметил, что Марсель и папаша Рошан тоже не спят — сидят на своих лиственных постелях и чутко прислушиваются.

В горах то грохотало, то неравномерно хлопало, точно сказочный гигант пастух пробовал такой же гигантский кнут.

— Гроза? — ни к кому не обращаясь, спросил Марсель.— Если гроза, то далеко отсюда. Сюда она не скоро придет.

Старик повернулся, и листья под ним зашуршали.

— Ошибся, дружок, не гроза это.— Папаша Рошан говорил точно сквозь зубы, и Даня увидел в темноте пещеры красный огонь его трубки.— Это взрывы, стрельба. Я старый солдат, меня не обманешь. Кидают гранаты, толовые шашки. Стреляют. А кто стреляет и в кого, сказать нетрудно.

— Макú? — бросил Даня.

— Да. Видно, пока я гулял на свадьбе, наши ребята схлестнулись с бошами.

Папаша Рошан проворно выбрался из пещеры. За ним последовали оба партизана. Чуть розовело над горами небо там, где должно было появиться солнце, а кругом все было затянуто молочным туманом, и с травы свисали крупные капли росы. Теперь сквозь взрывы уже ясно слышалось татаканье пулемета и ружейная пальба.

Старик привел Мими и начал поспешно запрягать ее в тележку. Он был мрачен и старался не смотреть на обоих юношей. Даня и Марсель тоже молча помогали ему. Когда лошадь была впряжена, папаша Рошан поманил к себе партизан.

— Вот что, ребята, если вы уж непременно решили добраться до здешних ваших дружков, придется вам дальше топать на своих на двоих. Они, конечно, там, где сейчас вся эта заваруха, в горах. Только я лично советовал бы вам переждать здесь, в пещере, или, скажем, у меня на чердаке. А мне надо поспешить к моей старухе, ведь я оставил ее на соседку, она у меня совсем беспомощная... Так что решайте, ребята, пока я еще не уехал.

Марсель и Даня переглянулись.

— Спасибо, папаша Рошан, мы решили идти,— сказал Даня.

— Ну, как знаете, как знаете, ребята,— забормотал

старик.— Может, это и правильно. Я в ваши годы тоже, наверно, побежал бы туда, где бьются мои товарищи, а теперь... Так помните: в случае чего, на ферме папаши Рошан всегда найдется для вас угол и кусок хлеба с маслом.

— Спасибо, папаша Рошан,— сказал и Марсель.

Мими уже тронулась резвой рысцой — почуяла, что близко дом, да и тележка стала намного легче.

13. КОМАНДИР ЛЕМЕТР

Два партизана снова одни среди гор. Нет, впрочем, не одни, потому что горы кругом живут, горы говорят голосами автоматов, пулеметов и гранат, горы откликаются многоголосым эхом, они плотно, густо заселены в этот туманный рассветный час. Молочные реки тумана наполнили все выемки и впадины, растеклись по оврагам и долинам, залили скалы и каменистые холмы.

В этой белой реке нетрудно заблудиться, утонуть, потерять друг друга. Тем более что разобрать, где выстрелы, а где эхо, почти невозможно.

— О, черт, я не понимаю, откуда стреляют! — говорит Марсель, с трудом продвигаясь среди тумана.— Все время кажется, что палят и справа и слева.

Автомат бьет его по спине, он досадливо поправляет его.

— И мне тоже так кажется,— признается Даня.

На минуту они останавливаются, прислушиваются. Стрельба все ближе.

Частит пулемет, оглушительно взрываются то ли шашки, то ли гранаты.

— По-моему, вон за той скалой залегли фрицы,— неуверенно цедит Марсель.

Но как раз в это мгновение густые клочья тумана закрывают скалу, о которой он говорит. Опять все занавешено, и неизвестно, куда идти.

— Знаешь, кажется, папаша Рошан был прав: надо было нам отсидеться в «Замке феи». А то подстрелят нас здесь свои же маки́!

У Марселя очень мрачный голос. И правда, не очень-то веселое дело погибнуть от пули товарищей, бесславно, ни за что сложить голову в этом проклятом тумане.

И, как будто для того чтобы подтвердить его слова, кругом начинают отвратительно посвистывать пули.

Они свистят и падают совсем близко, некоторые ударяются о камни, и каменные брызги разлетаются во все стороны, грозя вонзиться в юношей.

— Ложись! — свирепо командует Даня.

Только что в разрыв тумана он увидел далеко внизу, на белой нитке шоссе, горящие грузовики. Черный дым клочьями подымался к горам. Даня показал Марселю грузовики.

— Немецкие машины! Я их сейчас же отличу! Это маки́ напали на бошей! — возбужденно воскликнул Марсель.— Только бы разошелся туман, тогда мы сразу разберемся, где наши. Может, сумеем им помочь! — И почти тотчас же радостно закричал:— Гляди, он расходится! Туман расходится!

В самом деле, кругом сразу посветлело, как на снимке, опущенном в проявитель. Стали отчетливо видны далекие и близкие горы, вьющиеся по ним дороги и шоссе внизу с горящими грузовиками. Грузовиков было два. Там, возле них, шло, по-видимому, настоящее сражение. Серо-зеленые фигурки немцев перебегали с места на место, прячась то за деревьями, то за горящими машинами. По немцам беспрерывно бил партизанский станковый пулемет. Очевидно, под защитой этого пулемета несколько партизан проскользнули к шоссе, подобрались к машинам и бросили не то гранаты, не то шашки. Даня и Марсель услышали мощный взрыв и увидели взлетевшие в воздух фигурки немцев.

Уцелевшие боши бросились к ближайшему леску по другую сторону шоссе.

Стрельба то затихала, то вдруг возобновлялась с новой силой.

— Давай к тем вон кустам,— шепчет Даня. Он кивает на темные заросли ежевики неподалеку.

Когда лежишь вот так, на открытой всем выстрелам лужайке, тень кустов кажется спасительной. Они быстро и бесшумно ползут к ежевике. Почему-то совсем близкие кусты оказываются очень далекими. Десять метров. Двадцать. Двадцать пять... Они уже у самых колючих веток.

Даня приподымается. Марсель — тоже. В это мгновение кто-то рявкает на них из-за кустов:

— Хальт! Хенде хох!

Черное дуло автомата смотрит прямо на них.

— О, черт! Фрицы! — стоном вырывается у Марселя.

Даня молчит, лицо у него мертвеет. Он подымает руки.

Из-за кустов показывается здоровенный детина в выгоревшем синем комбинезоне и пилотке. На его бородатой физиономии — злорадное торжество.

— Эй, Испанец, скорей сюда! Я держу двух бошей! — орет он с чистым провансальским выговором.— Скорее, а то как бы не удрали!

Первым опомнился Даня.

Не опуская из предосторожности рук (вдруг прихлопнет!), он обрушился на владельца автомата:

— Ты что, спятил? На своих уже кидаешься! Если сам не можешь отличить маки́ от бошей, так бери с собой кого-нибудь поумнее!

— Он просто еще никогда настоящих бошей в глаза не видел! — подхватил насмешливо Марсель.— Еще не встречался, видать, с ними!

Детина в комбинезоне ошеломленно переводил взгляд с одного на другого, но автомата не опускал и по-прежнему держал обоих партизан под прицелом.

— Что здесь происходит? — раздался недовольный голос, и рядом с детиной из-за кустов появился очень смуглый, тоже заросший бородой человек с крючковатым носом и недобрыми черными глазами.— В чем дело, Верзила?

— Ага, ты пришел, Испанец, это очень хорошо. Поможешь мне разобраться,— пробормотал Верзила.— Понимаешь, возвращаюсь я с операции, вдруг вижу — ползут по земле эти двое. Кому здесь ползти? Ну, думаю, это те боши, с грузовиков, которые удрали. Крикнул им, чтобы сдавались, навел на них автомат, а они орут, что из маки́ и чтобы я не смел стрелять. Вообще орут мне всякие мерзости,— прибавил жалобным тоном Верзила.

— Это еще надо проверить, из маки́ они или, может, просто шпионы,— сказал Испанец, зло оглядывая Даню и Марселя.— На мой взгляд, никакие они не маки́! Вон как чистенько выбриты оба, какие франтики. Не похоже, что дерутся с бошами и живут в зарослях, как мы. Впрочем, мы все это сейчас выясним,— прибавил он угрожающим тоном.— Ваши документы.

— Нет у нас никаких документов, сам знаешь, если ты партизан. И нечего нам грозить,— сказал Даня.— Мы из отряда Байяра с поручением к вашему командиру. Приказано лично передать командиру Леметру.

Испанец все так же злобно покосился на него.

— Ага, с поручением к командиру? Даже имя

его тебе известно? Тогда, может, скажешь и пароль?

— Пожалуйста! Пароль «Остап». Теперь ты скажи отзыв.

— «Овернь»,— пробормотал нехотя Испанец и переглянулся с Верзилой.

— Кажется, ребята не врут, они действительно из наших,— сказал тот, наконец-то опуская свой автомат.— Поведем их к командиру, пускай лично передадут ему, что приказано.

Испанец возмущенно проворчал:

— Как к командиру?! Ты что, не слышал, что ли, что он ранен?! Там у него сейчас доктор Клозье. Он не велел никому беспокоить Леметра.

Что-то вдруг больно кольнуло Даню.

— Ваш командир ранен? Опасно? — поспешно спросил он.

— А тебе какая забота? Следи лучше за своим Байяром,— грубо отвечал Испанец.

— Ну что ты так взъелся на парня? — миролюбиво сказал Верзила.— Мы же все товарищи, все под пулями ходим, вот ему и беспокойно за нашего командира, тем более все партизаны кругом знают — командир он каких мало...— Он обратился к Дане:— Ранили его в ногу, а опасно или нет, еще неизвестно. Только сейчас привели к нему доктора.

— Если в ногу, так он, верно, сможет выслушать то, что нам поручено,— вмешался Марсель.— А если нет, мы через доктора можем передать.

— Пускай уж сам доктор Клозье решает, допускать вас к командиру или не допускать,— отрубил Верзила и зашагал по горной тропинке вверх, к виднеющимся невдалеке лесистым склонам.

Внизу, на шоссе, все еще догорали грузовики. Испанец и Верзила наперебой принялись обмениваться впечатлениями только что проведенной операции.

Верзила, снайпер, хвалился, что ему удалось снять двух шоферов-бошей. Испанец — тот бросал толовые шашки, и это его работу слышали издали Даня и Марсель. Если бы не рана командира, операцию можно было бы считать блестящей — уничтожено больше тридцати фрицев, а со стороны партизан — только трое легко раненных и один убитый. Захвачено два станковых пулемета, двенадцать парабеллумов и несколько автоматов. Кроме того, в одном из грузовиков оказалось много продовольствия.

— Неплохое дельце! Неплохое было дельце,— повторял захлебываясь Верзила.— Будут боши помнить макизаров!

Между тем они всё дальше углублялись в лес. В укромной впадине, густо заросшей карликовыми дубами и буками, притулилась к скале, видимо, бывшая пастушеская хижина — грубо сложенное из камней строение с низкой крышей, покрытой мхом и соломой. Окон в хижине не было. У единственной двери толпились партизаны, еще не успевшие снять с себя ружья и автоматы. У всех сквозь неостывший азарт боя на лицах было заметно напряжение и тревога. Разговаривали шепотом и даже курить не решались.

— Как командир? — спросил, проталкиваясь к хижине, Верзила.— Что сказал доктор?

— Только что вынул пулю из ноги,— тихо ответило несколько голосов сразу.— Крови-то, крови вышло — Парасоль не успевал выносить!.. Спрашиваешь, что сказал доктор? Ты что, не знаешь Клозье, что ли? Из него ведь слова не вытянешь. Как будто что-то задето в ноге — нерв или сухожилие. Словом, кажется, командир будет на всю жизнь хромой.

— Он в сознании? — Даже у Испанца в голосе слышалось волнение.

— В сознании. Даже подшучивает над доктором,— с видимым удовольствием вступил в разговор белесый маленький партизан, весь увешанный гранатами на поясе своей вельветовой куртки.— Доктор ему пулю вынимает, боль, наверно, адская, а Леметр вдруг говорит: «Давайте я вам помогу, Клозье, эта нога моя старая знакомая, я знаю ее лучше вас». Клозье на него цыкнул, а Парасоль, который многих раненых лечил, когда был на своей медицинской практике, говорит, что никогда еще такого мужественного пациента не видел. Молодчина наш командир! — заключил белесый партизан и даже языком прищелкнул в знак наивысшего одобрения.— А это кто с тобой? Новенькие волонтеры?— спросил он, только тут заметив Даню и Марселя.

— Связные из отряда Байяра со срочным поручением лично к Леметру,— объяснил Верзила.— Пойду спрошу доктора, можно ли командиру разговаривать.

Испанец сказал брюзгливо:

— Что там разговаривать! Пускай идут, быстро докладывают, что им поручено, и сейчас же выкатываются обратно. Надо дать командиру покой.

— И я так думаю,— кивнул Верзила.— Идемте, ребята, и постарайтесь не задерживаться.

Он первым на цыпочках вошел в хижину, за ним последовали Даня и Марсель. На мгновение Даня ослеп: после дневного, туманно-рассеянного света его осветило яркое сияние по крайней мере десятка карбидных фонарей, развешанных по всем четырем стенам хижины. «Наверно, так много фонарей, чтоб делать операцию»,— успел подумать Даня. В следующее мгновение он увидел двух людей в белых халатах, которые стояли к нему спиной и что-то делали, нагнувшись над сколоченной из досок кроватью. Того, кто лежал на кровати, Дане видно не было — его загораживали собой доктор и второй человек в белом халате, видимо студент-медик Парасоль, о котором говорил белесый партизан.

Верзила, войдя, так и замер у порога. Он смешно, по-гусиному, вытягивал длинную шею, чтобы увидеть раненого, но и у него ничего не выходило.

Между тем доктор смазывал рану йодом, присыпал чем-то и время от времени командовал Парасолю:

— Марлевые шарики!.. Пинцет!.. Салфетки!

Парасоль спросил очень тихо:

— Не обнаружили чувствительности в мягких тканях?

— Была команда не трепаться,— так же тихо отвечал ему Клозье.— Помоги мне лучше завязать этот узел.

Раненый не подавал голоса. Люди в хижине затаили дыхание. Даня смотрел, как быстро и ловко двигались умные руки Клозье. Вот он закрепил узел на повязке, обрезал лишнее ножницами и, бережно уложив ногу, которая стала похожа на запеленатого ребенка, отодвинулся от кровати. Даня увидел серебристую щетку волос, плотно прижатых к подушке, загорелую полоску лба. Потом... потом глаза его встретились с глазами командира Леметра. Яркие фонари, стены, белые халаты — всё вдруг закружилось, поплыло...

Даня одним прыжком перемахнул хижину, у кровати упал на колени.

— Наконец-то! — слабо произнес по-русски раненый.

Даня обхватил обеими руками дорогую серебряную голову.

— Ты?! Ты! Папа! Господи!..

И припал к отцу.

14. ДОМА

— А пилотки на вас, знать, не нашенские?

Оба — отец и сын — молча кивнули. Они знали заранее — именно с пилоток начинались вопросы: откуда вы, братцы, где вам их выдали, чего там, так далеко от дома, делали, куда сейчас путь держите?

В начале пути Даня и Сергей Данилович так радовались своим, с таким упоением слушали русскую речь, раздававшуюся кругом, что не только охотно отвечали, но и сами напрашивались на разговор. Но сейчас, когда промелькнули названия «Кочубеевка», «Божково», когда до Полтавы оставалось час-полтора езды...

Оба приклеились к окну. Смотрели молча, жадно на пустые серые поля, на желтеющие купы деревьев, а главное, главное — на белые мазанки. Их было много — ярких, целехоньких, таких нарядных издали. Значит, не все выжжено, не все загублено, не все живое перебито. Вот бежит мальчонка, босой, белоголовый, совсем довоенный пацан. И вон сколько хаток, похожих на белых барашков, улегшихся на выгоне! И глубоко внутри начинала шевелиться надежда, обдавала жаром: «А может... все-таки...» Но чуть ловил глаз черную обугленную трубу, другую, третью — и сразу становилось тяжко, душно, Даня начинал судорожно теребить ворот куртки, а Сергей Данилович отворачивался: слишком хорошо читал он в лице сына.

Случайный попутчик по купе не сразу понял, что им не до него. Только что оба — и отец и сын — охотно сообщали ему, велика ли Полтава и почему зовется степным городом, а сейчас уткнулись в окно — и молчок.

— Так есть, спрашиваю, в вашей Полтаве вузы? — громко, точно глухим, повторил он.

— Ах да, вузы,— кивнул отец,— конечно, вузы... Даня, это «Божково». Ты готов? — он вытащил из-под скамьи потрепанный чемоданчик, скатанную шинель, а Даня потянулся, не глядя, за своим вещмешком.

— Прибываете, значит, в родные края? — никак не унимался попутчик.— И живые, целые прибываете. Вот радость-то для ваших встречающих!

И опять наглухо заперлись оба лица, опять никакого отклика, и спутник наконец-то что-то сообразил:

— Ну, счастливо, счастливо же вам, братики! Шоб вернуться до ридной хаты та до ридной маты!

Вокзал? Нет, вокзала не было. Была груда кирпичей, сожженные ремонтные мастерские по другую сторону путей да кое-как расчищенный перрон. Таясь друг от друга, они оглядели всех женщин на перроне. Чего они ждали? Ведь даже телеграммы решили не посылать — им уже было известно, что в Полтаве немцы сожгли более четырехсот домов, что выжжен весь центр, что угнали больше двадцати тысяч человек. И все-таки...

— Ну, пошли же! — с сердцем сказал Даня.

И они пошли, почему-то отбивая шаг, как в военном строю. Сергею Даниловичу это было, наверно, больно (раненая нога мучительно ныла), но он быстро шагал рядом с сыном. Их обогнало несколько военных машин. Подыми они руку — их, наверно, посадили бы, но ни один из них не догадался или не захотел. Подымались к центру по Пролетарской, по бывшему Привокзальному району. Раньше здесь было много зелени, скввериков, каких-то киосков с напитками, мелких лавчонок. Сейчас — одни только полоски огородов, где еще пряно пахли укроп, лук, конопля. У Дани вдруг заболела голова, стала совсем как чугунная — от запахов, что ли, или от не по-осеннему жаркого солнца? И лезло в эту болящую голову что-то совсем несуразное. Например, что он не успел почистить ни себе, ни отцу сапоги и теперь пыль покрывает их густо, точно серой замшей. Или: понравится ли Лизе та голубая французская косынка, которая лежит рядом с блокнотом на самом дне вещмешка? Надо ли было прятать так глубоко подарок Николь? Николь сказала, что это самая дорогая ее вещь. Мама всегда говорила, что девочки обожают тряпки. Говорила? Почему говорила?! Почему в прошедшем?!

— Моста нет,— хрипло сказал отец.

— Электростанции тоже,— пробормотал Даня.

Сзади оставался зеленый и как будто совсем прежний Подол с дремотными старыми домишками и крутым изгибом Ворсклы. Справа, на холме, белел такой знакомый Крестовоздвиженский монастырь.

— Уцелел,— кивнул на него Сергей Данилович.

И то, что уцелел монастырь, который оба они опять-таки знали еще в детские годы, обрадовало, давало какую-то надежду. Постой, постой, а вот же хатка Шовкуненко, старика сапожника Шовкуненко! Когда-то, в незапамятные времена, он чинил Данины футбольные бутсы и ворчал, что на хлопца не напасешься обувки. Нет, не

надо спрашивать, где теперь Шовкуненко. Скорей, скорей мимо хатки.

— Музей...— опять сказал Сергей Данилович.

Даня вздрогнул. Как, этот обугленный остов — тот самый музей, похожий на расписной ларец, где обитал Остап! Где прошло столько счастливых часов его, Даниной жизни?!

Октябрьская — пустая, в битом кирпиче, с единственным сохранившимся Домом артистов. Только вдали золотится орел на обелиске Славы в Корпусном саду. И опять что-то утешительное есть в том, что блестит, золотится орел на выстоявшем обелиске Славы, издалека, точно маяк, светит обоим путникам. И отец с сыном все прибавляют и прибавляют шаг, теперь они почти бегут. Вот улица Парижской коммуны и гигантские осокори, знавшие Данины цепкие, сильные руки и ноги, не раз возносившие мальчишку на самую вершину. Сейчас они шелестят, точно хлопают ладошками листья. Радуются, что вернулся Даня? Узнали его? Дальше красивая и тихая Панянка, улица, круто спускающаяся к железной дороге. А вот, словно великанская бочка, лежит на боку, среди щебня, поваленная водонапорная башня. Взорванная. А вот...

— Кутузовка,— кивает Сергей Данилович на черный железный скелет.

Это все, что осталось от большой трикотажной фабрики на углу.

Отведя глаза, они сворачивают на Советскую. Совсем близко придвинулся холм с белым монастырем. На той стороне сады: Ботанический, Архиерейский, Госпитальный. В стенах зияют пробоины. Душные лопухи проросли сквозь кирпич. Душное, пыльное солнце бьет в глаза. Отец и сын не смотрят друг на друга. Под ногами ступенчатый тротуар, в котором Даня знает каждый выступ, каждую щербинку. Гигантская старая акация и скамейка под нею. Новая скамейка... Дом двадцать четыре? Нет такого дома по Советской улице. Говорите, каменный, двухэтажный, с железным козырьком над крыльцом? Говорите, справа был старинный ручной звонок с табличкой «Прошу повернуть»? Нет такого звонка! Нет такой таблички! Нет такого крыльца! Ничего нет. Только лопухи. Жирные лопухи меж кирпичами.

Даня наконец-то взглянул на отца. Осунулся отец. Запали глаза, согнулись плечи.

— Что ж... Надо было этого ожидать... Такие бомбежки...— выдавил он через силу.

Сергей Данилович молча кивнул.

— Послушай, папа, может, Нестеренки остались? — Даня шагнул к вросшему в землю соседнему домишку.

Старая груша заслонила домишко своей матерчатой блестящей листвой.

— Когось шукаете? — высунулась из двери женщина в клеенчатом переднике.— Нестеренко? Нема таких. Кажете, Гайда? Маты та дочка́? Не, не чула. Мы з Кобеляк писля вийны приихалы.

— Послушай, папа, вон в той хатке, внизу, жила бородатая старуха Захарченко. Может, она еще там...

Но не было и бородатой старухи. Они стояли под акацией, ветерок возился в пыльных осенних ветках, из окон на них смотрели чужие любопытные глаза: не часто увидишь здесь, на Советской, такие чудны́е пилотки.

— Может, Шухаеву поищем, или Горобца, или Мартыненко? — перечислял Даня.

Он говорил каким-то повышенным, раздраженным тоном. Что ж, так вот и стоять под этой акацией, так и ждать неведомо чего? С жестокостью молодости он и не подумал, что Сергей Данилович просто не в силах идти рыскать по городу, что у него давно дрожат и ноют ноги.

В противоположность сыну, отец отвечал очень тихо, словно бы нехотя:

— Люба Шухаева еще в самые первые месяцы войны, кажется в июле, уехала куда-то в Сибирь, к родным. Даже если она сейчас здесь и мы ее разыщем, что она сможет нам сказать?.. Мартыненко был, как и я, с первых дней в армии. А Горобец...— Он махнул рукой,— разве ты не знаешь, они же здесь всех евреев уничтожили!

Сергей Данилович и говорит-то через силу. Казалось, ему неохота и даже как-то совестно объяснять сыну давным-давно известное всем. Неужто же не ясно?

Однако Даня не желал сдаваться.

— А школа? Наша школа? Может, там найдем когонибудь из прежних твоих товарищей, из учителей? Вдруг Самойленко или Лев Владимирович здесь?

Сергей Данилович кивнул покорно.

— Что ж, пойдем.

Они вышли из-под акации, и опять их глаза уперлись в железобетонный остов Кутузовки.

Маленькая женщина в белом халате вынырнула из-за разбитой стены госпиталя и, заслонясь рукой от солнца, стала разглядывать двух военных. Сергей Данилович и Даня поравнялись с ней, рассеянно скользнули взглядом, пошли дальше. И вдруг вдогонку срывающийся голос:

— Ой, матерь божия, владычица! Никак Сергей Данилыч! Товарищ Гайда?! Неужто обозналась? Ой, господи!

Оба враз обернулись. Женщина в белом халате догоняла их, торопясь и задыхаясь. Была она еще молода, но с серым изможденным лицом в мелких морщинах у глаз и рта.

— Тая? Таиса, ты? — вглядевшись в это лицо, неуверенно спросил Сергей Данилович, и глаза тотчас ответили ему градом слез.

— Я! Я это! Живые! Обое живы! Даня-то какой вырос! Я было не признала, шапочки на вас какие-то такие... Только помстилось, будто Сергей Данилыч,— плача, выговаривала Таиса.— Ой, уж вы простите, слеза-то больно частая у меня...

— Таиса, где Евдокия Никаноровна? Где Лиза?

Сергей Данилович спросил и замер. Даня стоял рядом.

Таиса вдруг села на груду кирпичей.

— Евдокия Никаноровна? Лизанька?— испуганно переспросила она и вдруг застонала:— Ох, да не пытайте вы мене, за ради господа бога,— и положила голову на кирпичи.— Нет их, голубочек! Нет их, моих ридных!

— Как нет?! — Даня грубо схватил ее за плечи, встряхнул.— Почему нет? Где они?!

Таиса замотала головой:

— Ой, не можу я! Нипочем не можу! Нехай Сашко вам скажет и что у него есть — принесет. Он от Лизы наказ такой имел, чтоб вас дожидать.

— Что? Какой Сашко? Кто такой Сашко? — дрожал Даня.

— Та Лизин хлопчик. Сынок Лизин. Каразин, значит, Сашко.

15. ЛИЗИН ХЛОПЧИК

Фабзайцы все были тощие и чумазые. И откуда взялось столько ребят?

Общежитие металлозавода — барак, щелястый и грязноватый.

— Вам Саньку Каразина?

И пошло где-то внутри барака перекатываться гулко и неразборчиво:

— Кара...ина!.. Сань-ку-у... Гу-у-у...

— Сань, к тебе-е-е!..

Под лавочкой густо насыпана семечковая шелуха. Они сидели оба — отец и сын. Ждали. Чемодан и вещмешок взяла Таиса. И она же привела их обоих сюда.

И отец и Даня уже все знали. Таиса не выдержала — рассказала. Все рассказала им. Они не плакали, только оба вдруг так устали, так устали, что ни двинуться, ни пошевелить рукой. И все-таки заставили себя прийти сюда и вызвать «Лизиного хлопчика».

Ведь по словам Таисы, хлопчик этот был с Лизой до последней минуты и «наказ от нее имел — вас дожидать». Вокруг толпились ребята, разглядывали их пилотки, ремни, обмундирование,— они ничего не замечали.

— Вот он, Санька. Прибёг.

К ним вытолкнули высоконького мальчишку, такого же неухоженного, как все они, глазастого и узколицего. Сергей Данилович увидел на мальчишке свой довоенный пиждак — серый в темную полоску. Пиджак был стянут тоненьким, видно девчоночьим, пояском: только так мальчишка мог его носить. Даня встал, шагнул к нему.

— Ты... знал Лизу?

Лицо Саньки вдруг залилось краской. Ожили глаза.

— Дядя Сережа?! Даня?! — Он ухватился за обоих, повис на них всем телом.— Думал, не дождусь!..

— Позабирали их всех шестнадцатого июня, в сорок третьем году это было, в среду, кажется. Я на каштане нашем тогда это число вырезал: только каштан тот спалили. Да я и так запомнил: после Ляли Убийвовк это было. Немцы тогда всех похватали. Лизу и Колю дома забрали, а Веру, когда она с работы шла, на улице прямо. В среду это было.

— Ты был при этом?

— Не. Не был. Я тогда «чистим-блистим» ходил.

— Что?

— Сапоги немцам драил. Пацаны наши тогда на это дело ух как кинулись! За хорошие места дрались, бывало. Самое хорошее место — ресторан для офицеров на Октябрьской, потом у Красных Казарм, да вообще у казарм. Коля тогда сам мне ящик сколотил, сам ваксы разной наварил, с блеском, у матери щеток понабрал. Лиза сперва-то ни в какую! «Я, говорит, не хочу, чтобы его опасности подвергать. Он еще маленький. Не дам, и всё». Тут Коля ее уговаривать. Ну, поддалась, согласилась. А я уж понял, что к чему. Другие пацаны просто себе промышляют, а я не просто. Мы от одноногого задания получали.

— От какого одноногого?

— Был такой. На кладбище жил. Считался чи сторожем, чи могильщиком. А сам на партизан работал. Связной, что ли, называется? — обратился Саша к Сергею Даниловичу.

Тот только кивнул. И он и Даня боялись пропустить слово из рассказа, который для них обоих был сейчас самым важным в жизни.

— Его потом тоже немцы застрелили,— продолжал Саша, часто-часто облизывая губы.— Мне такое задание давали от него: «Сидай у ресторана, ворон не считай, а считай, сколько офицеров прошло туда да есть ли больших званий офицеры; которые часто ходят, примечай». А то у казарм садился с ящиком. Барабанную дробь на ящике выкомариваю, а сам смотрю, какие машины во дворе, сколько их, с каким грузом. Или узнаю, какой полк стоит, сколько орудий пригнали. Если трудно упомнить, на ящике ваксой отмечал. Приду, ящик поставлю и сразу говорю, чего видел у немцев, сколько чего насчитал. Лиза с Колей сейчас подхватываются — и на кладбище, а то на Подол. Там у них тоже связь была. Конечно, они от меня таились, думали, маленький, гляди, проболтаюсь. Только я все сам давно понял и про себя замечал. А как же! Сперва, когда меня Лиза взяла в дети, была она такая скучная, никуда не ходила, со мной только занималась да салфетки для тети Муси вязала. А тут вдруг стала куда-то уходить, с Колей шепчется, шепчется. Домой приходит румяная, объявляет: «Ну, наши уже наступают, скоро немцам конец!» Или про то, что разгромили их под таким-то и таким-то городом, или что высадились англичане в Африке. Тетя Муся спрашивает: «Кто тебе это сказал?

Откуда узнала?» А Лиза смеется: «Сорока на хвосте принесла».

А я уж все знаю, какая сорока. Они с Колей у одного парня на Подоле собрали приемник и слушали там Москву. Ну, наверно, не просто слушали, а записывали и после другим передавали. Я, например, замечал: расскажет Лиза вечером про наши победы, а утром пацаны, которые «чистим-блистим», уже все знают. А один раз Лиза взяла меня с собой на кладбище. Сказала: на могилку мамы-Дуси — поклониться. Но только мы вошли в ворота, выскочил из сторожки одноногий и давай Лизу песочить: «Неаккуратно працюете! Людей можете подвести. Геройствуете, а о людях не думаете! Я вот доложу, вас и близко к работе не подпустят!» Лиза стоит, как виноватая, хочет ему что-то сказать, а он скачет на своей ноге, не дает ей говорить. Наконец сказала: «Больше этого не будет, товарищ Големба, слово даю комсомольское». Как ушли мы с ней, спрашиваю: «Это ваш партизанский командир? Да, Лиза?» А она мне: «Не выдумывай глупостей! Это завартелью, где мы салфетки вяжем. Ругается, что неаккуратно вяжем». Вижу — заливает Лиза. Ну, не хочешь говорить — пожалуйста. Я и без тебя все прекрасно знаю!

— Почему, почему, за что их забрали?! — не выдержал, перебил мальчика Даня.

— Почему? За что? — Саша пожал худенькими плечами.— Ты лучше спроси, почему не забрали кого-то. Тут знаешь какое время подошло? — Он гордо взглянул на Даню.—Тут вся земля на немцев пошла. Выйдут на улицу немецкие патрули — и сгинут без следа. Полицаев то и дело убитыми находят. Велят немцы сложить копну пшеницы, а копна возьмет да и сгорит. Привезут солдатам ихним картошки — картошка тут же сгниет. Баржа с хлебом на реке — потонет. Кто дырку в барже сделал, неизвестно. Ну, немцы и стали на всех кидаться. А тут еще листовки, в деревнях — партизаны. В мае, в самом начале, забрали Лялю Убийвовк и тех ребят, которые с ней в группе были.

— Лиза знала ее?— это спросил Сергей Данилович.

Саша тяжело перевел дух. Помотал головой на тонкой шее.

— Не. Даже не видела ее никогда. Только знали, и она, и Коля, что есть в Полтаве такая дивчина, «Непокорен-

ная». Листовки ихние я сам видел у Лизы. Не знаю, куда она потом их девала. Когда Лялю и других забрали, мы сначала ничего не слышали. А после — это уже совсем весной было — слух прошел, что всех их немцы порешили. Помню, пришла Лиза домой, села на койку и сидит. Тетя Муся ей: «Лизуша, поди поешь, я тут пшенку сварила, тебе оставила». А Лиза все молчит. Я ее за руку взял, а она как закричит: «Ее убили! Убили! Их всех убили!» — и упала, забилась. Тут и Коля вернулся — он уже знал про это. Велел нам не трогать Лизу. Он и сам был как старый старик тогда. Очень переживал. Лиза, как немного отошла, говорит: «Нужно показать немцам, что Ляля не погибла, что таких, как Ляля, у нас тысячи». И опять с Колей убежала куда-то. И вскорости после этого самолет сбросил бомбу в аккурат на тот ресторан на Октябрьской, где гуляли немцы-офицеры.

— И ты думаешь, что...— почему-то шепотом спрашивает Даня.

Саша строго смотрит на него. У него сейчас совсем взрослое лицо.

— Во-первых, не думаю, а знаю. Я еще в четверг прознал, что в субботу в ресторане будет офицерский вечер. Они даже оркестр какой-то свой выписали. Конечно, сказал про это нашим. Лиза и Коля меж собой переглянулись, ничего не гукнули даже. А я еще до того у Коли ракетницу видел. Спросил, где взял, а Коля меня — за чуб: «Будешь много знать, скоро состаришься». И пошел за перегородку чего-то там стряпать. Он мастер был, Коля-то: и свечи варил, и мыло, и ваксу, и что хочешь мог руками поделать. Только в тот раз он не мыло и не свечи делал, а что-то другое. Целую ночь не ложился. Его даже Маруся тогда спросила, чего он делает, а он сказал: «Фейерверк».

Ну, я тогда и внимания не обратил. С Марусей мы все шутили, она же вовсе глупенькая была. Потом, когда уже бомба попала прямехонько в ресторан и всех немцев там уничтожила, стали говорить, что кто-то пустил ракету, чтоб показать нашему летчику, куда бомбить. Тогда и я все понял. Понял, почему у Лизы и у Коли такое настроение сделалось хорошее, почему в воскресенье они поздравляли друг друга.

Саша вдруг замолчал, отвернулся. Стало слышно, как потрескивает, остывая, Таисина железная печурка.

— Ну? — вымолвил наконец Даня.— Ну?

Саша вскинул на него глаза.

— Все,— сказал он сухо.— В среду утром за ними пришли. Два гестаповца и два полицая. Меня дома не было, я с ящиком опять на Октябрьскую пошел. Вернулся — тетя Муся без памяти и без языка лежит (они ее стукнули за то, что Колю не давала взять), а Маруся в Лизином шарфике вальс исполняет.

ПИСЬМА, ЗАРЫТЫЕ ПОД СИРЕНЬЮ

Снова пустырь, заваленный таким же битым кирпичом, снова лопухи. Только улица уже другая — Панянка. Она идет параллельно Советской, и с нее тоже хорошо виден Крестовоздвиженский монастырь. Поздний вечер. В зеленоватом небе холодно блестит луна, серебрит листья сирени.

— Копай здесь,— показывает Саша.— Я тогда под сиренью все зарыл. Большое дерево снарядом беспременно снесло бы или сами его спалили бы, а куст — кому он нужен?

— Может, отложим, Даня, до завтра? — это спрашивает, но неуверенно, Сергей Данилович. Нет, не проходит тяжкая, все тело сковывающая усталость. Клонится, клонится долу серебряная голова. Видно, оставаться теперь этой усталости в нем до самого конца. А может, кажется Сергею Даниловичу, что раскапывают они дорогую могилу?

Даня мотает головой: он одержимый.

— Нет, нет, папа! Надо сейчас.

Саша прихватил от Таисы лопату. В тишине засыпающей улицы лопата громко, слишком громко скребет по кирпичу. У, сколько его, целые горы! Не верится, что еще совсем недавно здесь, в пяти шагах, стоял домик Валашниковых и при нем — сиреневый садишко.

Они торопятся. Сергей Данилович и Саша руками помогают оттаскивать кирпич от сиреневого куста. Вот показалась земля.

— Я все в клеенку, в клеенку завернул. Со стола клеенку взял и завернул,— бормочет Саша. Его бьет дрожь. Слышно, как постукивают зубы.— Вот здесь, здесь, ближе к стволу, копать надо.

Даня сбрасывает рубашку. В лунном свете у него

бледно-голубое лицо, резко перечеркнутое бровями. Слышно, как он тяжело дышит. Позванивает, поблескивает лопата, растет яма под сиреневым кустом, растет земляной холм рядом.

— Постойте! Давайте теперь я руками.— Саша лезет под куст, шарит в чуть припотевшей, еще теплой земле. Шарит так долго, что у Дани заходится сердце.

— Что? Нету? — шепчет он.

Саша не отвечает. Возится.

— Есть! — вдруг говорит он глухо и вылезает из-под куста. В руках у него небольшой тугой пакет, перевязанный проволокой.

— Целый. Только земля набилась.— Он начинает стряхивать с пакета налипшую землю, но Даня не дает. Выхватывает пакет у него из рук.

— Дай мне! И пошли! Скорей пошли! — отрывисто говорит он. Это — как приказ.

И ни отец, ни мальчик не смеют его ослушаться.

* * *

Вот он, небрежный, рассеянный, летящий куда-то почерк, за который ей так часто доставалось в школе! Вот они, чуть отсыревшие в клеенке самые разные, невесть откуда набранные листки — то тетрадные, то телеграфные бланки, то счета, то вывернутые наизнанку и разглаженные старые конверты (видно, не хватало бумаги), густо-густо исписанные кругом.

Даня читал, скорчившись на койке Таисиной сестры. Колени к подбородку, в руке — военный фонарик (электричества у Таисы еще не было, а керосин — на исходе.

Пальцы, сжимавшие фонарик, давно онемели, затекло все тело — он не замечал. Читал и снова возвращался к первым письмам. Вдруг впивался глазами в одну какую-нибудь букву или слово и застывал на нем и не в силах был перевести взгляд на следующее. А внутри уже с первой же прочитанной строки все ныло, горело, звало: «Лиза, Лиза, я здесь! Я вернулся! Я с тобой. Лиза, девочка, ты не могла уйти!»

На соседней койке очень тихо лежал отец. Даня уже давно отдал ему те листки, где говорилось о смерти матери. Смерть! Потеря, уход из жизни. Нет, не те слова.

Наверно, и отец так же звал, так же молил вернуться свою Дусю и не мог поверить, что ее больше нет. И такая же горькая, безысходная любовь разрывала ему сердце. И еще — боль за сына, боль за девочку, которую он давно считал своей дочерью.

Но и поглощенные своим горем, отец и сын часто взглядывали в тот угол комнаты, где на составленных стульях крепко и счастливо спал под шинелью Сергея Даниловича Лизин хлопчик.

Предстояло его растить, беречь, делать Человеком.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая 16
Часть вторая 86
Часть третья 140
Часть четвертая 220

Кальма Н.

К17 Книжная лавка близ площади Этуаль: Роман.— М.: Сов. Россия, 1985.— 304 с., ил.

Роман об участниках французского Сопротивления. Книга рассказывает о судьбах людей, об их благородстве, самоотверженности и патриотизме.

К $\frac{4803010102-256}{М-105(03)85}$ КБ—46—38—1984 **Р2**

Для детей старшего школьного возраста

Н. Кальма

КНИЖНАЯ ЛАВКА БЛИЗ ПЛОЩАДИ ЭТУАЛЬ

Редактор
К. К. ПОКРОВСКАЯ

Художественный редактор
И. И. РЫБЧЕНКО

Технические редакторы
Л. А. ФИРСОВА, Г. О. НЕФЕДОВА

Корректор
Н. В. БОКША

ИБ № 3872
Сдано в наб. 09.10.85. Подп. в печать 18.04.85.
Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. п. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,17. Уч.-изд. л. 16,51.
Тираж 100 000 экз. Заказ 1424. Цена 65 к.
Изд. инд. ЛД-5.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
144003, г. Электросталь Московской области,
ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

65 к.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

Н. Кальма

КНИЖНАЯ ЛАВКА БЛИЗ ПЛОЩАДИ ЭТУАЛЬ